

А.Грин

АЛЫЕ ПАРУСА
БЛИСТАЮЩИЙ МИР
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ
РАССКАЗЫ

Классики
и
современники

А.Грин
АЛЫЕ ПАРУСА • БЛИСТАЮЩИЙ МИР
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ • РАССКАЗЫ



А.Грин

АЛЫЕ ПАРУСА
•
БЛИСТАЮЩИЙ МИР
•
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ
•
РАССКАЗЫ



Москва
«Художественная литература»

1987

P2
Г85

Классики и современники

Советская литература



Текст печатается по изданию:

Грин А. Собр. соч. в шести томах,
т. 3, 4, 5. М., Правда, 1980

Художник
М. Дорехов

Грин А. С.
Г85 Алые паруса; Блестящий мир; Золотая цепь;
Рассказы. — М.: Худож. лит., 1986. — 512 с. (Классики
и современники. Сов. лит.)

Редкий дар романтической фантазии отличал замечательного русского советского писателя Александра Грина (Александра Степановича Гриневского; 1880—1932). Все три романа и девять рассказов, вошедшие в этот сборник, проникнуты тонким психологизмом, гуманны и поэтичны.

Г 4702010200-294 55-86
028(01)-87

ББК 84P7

© Состав, оформление.
Издательство «Художественная литература», 1986 г.

АЛЫЕ ПАРУСА

Феерия

Нине Николаевне Грин
подносит и посвящает

Автор

ПБГ, 23 ноября 1922 г.

1

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Лонгрен, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу.

Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой, он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее, у детской кровати — нового предмета в маленьком доме Лонгрена — стояла взволнованная соседка.

— Три месяца я ходила за нею, старик, — сказала она, — посмотри на свою дочь.

Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.

— Когда умерла Мери? — спросил он.

Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы — будь теперь они все вместе, втроем — был бы для ушед-

шей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.

Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы, заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.

Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мери сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.

— У нас в доме нет даже крошки съестного, — сказала она соседке. — Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа.

В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисс к ночи. «Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень».

Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза, — сказала она, — и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморось сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было нетрудно. К то-

му же, — прибавила она, — без такого несмышлениша скучно.

Лонгрэн поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, заноса ножку через порог, Лонгрэн решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.

Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки — искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов — словом, того, что он близко знал, что, в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрэн добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он, после смерти жены, стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам: «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «поменьше» — на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.

Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрэна — игрушки — менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары

и съестные припасы он закупал в городе — Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство рращения девочки.

Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, поглядывая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни — дикие ревостишия. В передаче детским голосом и не везде с буквой «р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.

Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.

Рыбачьи лодки, повищенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.

Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрэн выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где, на самом конце этого дощатого мола, подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочу-

щий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, — так силен был его ровный пробег, — давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.

В один из таких дней, двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола, спиной к нему стоявшего, куря, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено-плещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.

— Лонгрэн! — закричал смертельно перепуганный Меннерс. — Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит; брось причал!

Лонгрэн молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее из рта, чтобы лучше видеть происходящее.

— Лонгрэн! — взывал Меннерс, — ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!

Но Лонгрэн не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрэн только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. «Лонгрэн, — донеслось к нему глухо, как с крыши — сидящему внутри дома, — спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрэн крикнул:

— Она так же просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!

Тогда крики умолкли, и Лонгрэн пошел домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит перед угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.

— Спи, милая, — сказал он, — до утра еще далеко.

— Что ты делаешь?

— Черную игрушку я сделал, Ассоль, — спи!

На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его

рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери, — им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен молчал. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Меннерсу — большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они — поступил в ушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лонгрэн утопил Меннерса!» Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став

полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.

Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, перемимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз-навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.

К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой, наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями о б щ е с т в е н н о г о м н е н и я; она перестала, наконец, оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: — «Скажи, почему нас не любят?» — «Э, Ассоль, — говорил Лонгрэн, — разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». — «Как это — у м е т ь?» — «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.

Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, оставив банки с клеем, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, — забраться к нему на колени и, вертясь в бережном коль-

це отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях — лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще, — диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрэн, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность — в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты — словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрэн также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем может быть слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. — «Ну, говори еще», — просила Ассоль, когда Лонгрэн, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.

Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрэн обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. — «Эх, вы, — говорил

Лонгрэн, — да я неделю сидел над этим ботом. — Бот был пятивершковый. — Посмотри, что за прочность, — а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрэна стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы.

Всю домовую работу Лонгрэн исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисс лежал всего в четырех верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрэн отпускал ее в город.

Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрэн сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лонгрэном для оклейки паровых кают — игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала на паруса, употребив что было — лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный ве-

сельный цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного, — размышляла Ассоль, — она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде: свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. — «Ты откуда приехал, капитан? — важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: — Я приехал... приехал... приехал я из Китая. — А что ты привез? — Что привез, о том не скажу. — Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта — далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», — подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: «Ах, господи! Ведь случись же...» — Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.

Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и

орешник мешали ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущим прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-фу-у-у», побежала изо всех сил.

В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось.

Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Серые кудри складками выпадали

из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком — выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вяло-прозрачным, если бы не глаза, серые как песок и блестящие как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.

— Теперь отдай мне, — несмело сказала девочка. — Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?

Эгль поднял голову, уронив яхту, — так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был оваян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой близне кожи. Полуоткрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.

— Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, — сказал Эгль, поглядывая то на девочку, то на яхту. — Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?

— Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?

— У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом — между

моей левой пяткой и оконечностью палки. — Он стукнул тростью. — Как зовут тебя, крошка?

— Ассоль, — сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.

— Хорошо, — продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. — Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины: что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов... как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты... Такая как есть. Я, милая, поэт в душе — хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?

— Лодочки, — сказала Ассоль, встряхивая корзинкой, — потом пароход да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.

— Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбегала — ведь так?

— Ты разве видел? — с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. — Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?

— Я это знал.

— А как же?

— Потому что я — самый главный волшебник.

Ассоль смутилась: ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действитель-

ностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь — девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт.

— Тебе нечего бояться меня, — серьезно сказал он. — Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. — Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, — решил он. — Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет». — Ну-ка, — продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству — следствие всегдашней работы — было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты), — ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне, откуда ты, должно быть, идешь; словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как невымытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговорю снова.

Подумав, он продолжал так:

— Не знаю, сколько пройдет лет, — только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая; и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах,

в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. — «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» — спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. — «Здравствуй, Ассоль! — скажет он. — Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали». Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.

— Это все мне? — тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. — Может быть, он уже пришел... тот корабль?

— Не так скоро, — возразил Эгль, — сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом... Что говорить? — это будет, и кончено. Что бы ты тогда сделала?

— Я? — Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. — Я бы его любила, — поспешно сказала она, и не совсем твердо прибавила: — если он не дерется.

— Нет, не будет драться, — сказал волшебник, таинственно подмигнув, — не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!

Лонгрэн работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.

— Ну, вот... — сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца. — Слушай, что я тебе расскажу... На берегу, там, далеко, сидит волшебник...

Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и — в обратном порядке — погоня за упущенной яхтой.

Лонгрэн выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая:

— Так, так; по всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть... Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно.

Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо, мгновение — и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала:

— Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?

— Придет, — спокойно ответил матрос, — раз тебе это сказали, значит, все верно.

«Вырастет, забудет, — подумал он, — а пока... не стоит отнимать у тебя т а к у ю игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов: издали — нарядных и белых, вбли-

зи — рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж?! Добрая шутка! Ничего — шутка! Смотри, как сморило тебя, — полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я: будут тебе алые паруса».

Ассоль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо.

— Дай, хозяин, покурить бедному человеку, — сказал он сквозь прутья. — Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отравя.

— Я бы дал, — вполголоса ответил Лонгрен, — но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку!

— Вот беда! Проснется, опять уснет, а прохожий человек взял да и покурил.

— Ну, — возразил Лонгрен, — ты не без табаку все-таки, а ребенок уснул. Зайди, если хочешь, попозже.

Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и съязвил:

— Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудак-чудаковский, а еще хозяин!

— Слушай-ка, — шепнул Лонгрен — я, пожалуй, разбудю ее, но только затем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!

Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой, — для себя, разумеется, — сидели рослые женщины с густыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал:

— И не дал мне табаку. — «Тебе, — говорит, — исполнится совершеннолетний год, а тогда, — говорит, — специальный красный корабль... За тобой. Так как твоя участь выйти за принца. И тому, — говорит, — волшебнику — верь». Но я говорю: — «Буди, буди, мол, табаку-то достать». Так ведь он за мной полдороги бежал.

— Кто? Что? О чем толкует? — слышались любопытные голоса женщин. Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой:

— Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке; вот человек рассказывает. Колдун был у них, так понимать надо. Они ждут — тетки, вам бы не прозевать! — заморского принца, да еще под красными парусами!

Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз:

— Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!

Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высовывая языки. Вздыхнув, девочка побежала домой.

II

ГРЭЙ

Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.

Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величествен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов — серебристо-голубых, фиолетовых и чер-

ных с розовой тенью — извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией; эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем.

Отец и мать Грэй были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть — воображаемое продолжение галереи — начиналась маленьким Грэем, обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка: Артур Грэй родился с живой душой, совершенно несклонной продолжать линию фамильного начертания.

Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, т. е. человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную — роль провидения, намечался в Грэе еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, т. е. попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил:

— Зачем ты испортил картину?

— Я не испортил.

— Это работа знаменитого художника.

— Мне все равно, — сказал Грэй. — Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.

В ответе сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.

Грэй неумоимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита, мадеры, хереса. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба, столетний темный дуб бочки лоснился как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинках пузатые бутылки зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими ножками: везде — плесень, мох, сырость, кислый, удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда, под вечер, солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего Аликанте, какое существовало во время Кромвеля, и погребщик, указывая Грэю на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших глазах.

— Ну, вот что, — говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком, — видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое не один пьяница дал бы согласие вырезать

себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке сто литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил дачу, назвал ее «Рай», и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, от разрыва сердца, — так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: — «Съем ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду, останешься жив», но и то, по зрелом размышлении...

— Кажется, опять каплет из крана, — перебивал сам себя Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым, светлым лицом. — Да. Хорошо рассудив, а главное, не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: — «Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях». «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю»! Как понять? Выпьет, когда умрет, что ли? Странно. Следовательно, он святой, следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки. Допустим, что «рай» означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука. Чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик,

хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой — на небе. Есть еще третье предположение: что когда-нибудь Грэй допьется до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош.

Убедившись еще раз в исправном состоянии кра-на большой бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал:

— Эти бочки привез в 1793 году твой предок, Джон Грэй, из Лиссабона, на корабле «Бигль»; за вино было уплачено две тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.

— Я выпью его, — сказал однажды Грэй, топнув ногой.

— Вот храбрый молодой человек! — заметил Польдишок. — Ты выпьешь его в раю?

— Конечно. Вот рай!.. Он у меня, видишь? — Грэй тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. — Вот он, здесь!.. То тут, то опять нет...

Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа.

Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших

стен придавали работе характер торжественного служения; веселые, толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром; мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры; там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами; там — репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики.

На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую, скупую точность, которая кажется вдохновением. Грэй не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение; он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки; на плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушке. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси (так звали служанку), плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому перепуганному лицу.

Грэй замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.

— Очень ли тебе больно? — спросил он.

— Попробуй, так узнаешь, — ответила Бетси, накрывая руку передником.

Нахмутив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи (сказать кстати, это был суп с бараниной) и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость

от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный как мука Грэй подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.

— Мне кажется, что тебе очень больно, — сказал он, умалчивая о своем опыте. — Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же!

Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств наперерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Грэем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку.

Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грэя истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другие истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской: «Бетси, это твое. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд». Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грэй должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом.

Его мать была одною из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души, поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портниками, доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонно-

стей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына; грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств; глаз видит и не узнает помещения: таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.

Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения, — эта Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге — их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну. Она прощала ему все: пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды.

Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми, если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.

Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил — не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опа-

саясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудно искоренимые. В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец — в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи; сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.

Таким образом, Грэй жил в своем мире. Он играл один — обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри, с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребями, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромно-пестрых диких цветов. Грэй часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником.

Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и, тем получив стройное выражение, стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части своего сада — просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол — во множестве садов и ных, и вдруг увидел их ясно, все — в прекрасном, поражающем соответствии.

Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створок; надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грэя проникнуть в библиотеку, его поразили пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цвет-

ном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину, между шкапов были проходы, заваленные горами книг. Там — раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами, там — свитки, перевязанные золотым шнуром; стопы книг угрюмого вида; толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших как кора, если их раскрывали; здесь — чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты; разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкапных стекол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе.

Обернувшись к выходу, Грэй увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Высоко поднявшийся бугшприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта и выше бугшприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательнее была

в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. Она выражала все положение, даже характер момента. Поза человека (он расставил ноги, взмахнув руками) ничего, собственно, не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе, невидимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепались ветром; белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух; богатство костюма выказывало в нем капитана, танцующее положение тела — взмах вала; без шляпы, он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал — но что? Видел ли он, как валится за борт человек, приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грэй, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошел, став рядом, неизвестный невидимый; стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грэй знал это. Но он не погасил воображения, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык; раздался шум как бы долгих обвалов; эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это Грэй слышал внутри себя. Он осмотрелся: мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии; связь с бурей исчезла.

Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлебываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают фосфориче-

ские глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы; утихающее волнение грозно шатало корпус; обезлюдевший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом; экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там еще корабли-пираты, с черным флагом и страшной, размахивающей ножами командой; корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения; военные корабли с солдатами, пушками и музыкой; корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных; корабли с мрачной тайной и бунтами; корабли открытий и корабли приключений.

В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуги и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека. Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел, скажем, из Лиссабона в Шанхай, по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями; плывал и останавливался, где хотел; распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом; большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея.

Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли, по праву душевных событий, главное место в блистающем сознании Грэя. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновен-

ным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе то Южный Крест, то Медведица, и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твердой груди.

Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. В скорости из порта Дубельт вышла в Марсель шкуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грэй, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.

В течение года, пока «Ансельм» посещал Францию, Америку и Испанию, Грэй промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть — для настоящего и будущего — проиграл в карты. Он хотел быть «дьяволом» моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купанье, с замирающим сердцем, прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. Понемногу он потерял все, кроме главного — своей странной летящей души; он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил темным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепетным серебром рыб.

Капитан «Ансельма» был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грэй он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грэй скажет ему, избегая смотреть в глаза: — «Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям; у меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук; все эти леера, ванты, брашпили, тросы, стеньги и саллинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал, мысленно же, следующую речь: — «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном «Роза-Мимоза». Этот выдуманный Гопом одеколон более всего радовал капитана и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял: — Да. Ступайте к «Розе-Мимозе».

Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грэй шел к цели с стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что непридержанный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил по его лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор пока не

стал в новой сфере «своим», но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.

Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут». Когда Грэй спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал:

— Слушай внимательно! Брось курить! Начнется отделка щенка под капитана.

И он стал читать — вернее, говорить и кричать — по книге древние слова моря. Это был первый урок Грэя. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лодией и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил: «Мы».

В Ванкувере Грэй поймало письмо матери, полное слез и страха. Он ответил: «Я знаю. Но если бы ты видела, как я; посмотри моими глазами. Если бы ты слышала, как я; приложи к уху раковину: в ней шум вечной волны; если бы ты любила, как я — всё, в твоём письме я нашел бы, кроме любви и чека, — улыбку...» И он продолжал плавать, пока «Ансельм» не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, двадцатилетний Грэй отправился навестить замок.

Все было то же кругом; так же нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов; ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся.

Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, вступенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы не далее как вчера, встречали этого Грэя. Ему сказали, где мать; он прошел в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на поседевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием: ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца. — «О плаваю-

щих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных», — слышал, коротко дыша, Грэй. Затем было сказано: — «и мальчику моему...» Тогда он сказал: — «Я...» Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась. Она похудела: в надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну; короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слезы в глазах — вот все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. — «Я сразу узнала тебя, о, мой милый, мой маленький!» И Грэй действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений, но про себя — во всем, что он утверждал, как истину своей жизни, — видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли.

Грэй пробыл в замке семь дней; на восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ, — здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием, — теперь я буду плавать отдельно, на собственном корабле». Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но Грэй, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все вместе, двадцать четыре человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили и съели все, что было на буфете и в кухне.

Прошло еще мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был «Секрет», купленный Грэем; трехмачтовый галиот в двести шестьдесят тонн. Так, капитаном и собственником корабля Артур Грэй плывал еще четыре года, пока судьба не привела его в Лисс. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной

смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится с своими игрушками.

III

РАССВЕТ

Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грэй «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лисса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка.

Десять дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай, одиннадцатый день команда провела на берегу, в отдыхе и винных парах; на двенадцатый день Грэй глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски.

Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения; среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом.

В сопровождении боцмана Грэй осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер, просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и вымести трюм. Но дело не развлекало Грэя. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально: его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда.

Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки пара-

доксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях.

Табак страшно могуч; как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смиряет их бешенство, так и табак: смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже; они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грэя, утратив наконец после трех трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа; когда исчез душевный туман, Грэй очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь; за бортом в сне черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грэй, подняв голову, прищурился на золотой уголь звезды; мгновенно через умопомрачительность миль проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива; иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе; ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей; на баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грэй свистнул; огонь трубки двинулся и поплыл к нему; скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного.

— Передай Летике, — сказал Грэй, — что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки.

Он спустился в шлюп, где ждал минут десять. Летика, проворный, жуликоватый парень, загремев о борт веслами, подал их Грэю; затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грэй сел к рулю.

— Куда прикажете плыть, капитан? — спросил Летика, кружа лодку правым веслом.

Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание

нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести.

Грэй взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо журчал; звякали и плескали весла, все остальное было морем и тишиной.

В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определенное выражение, но Грэй сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их ни называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грэй; он мог бы, правда, сказать: — «Я жду, я вижу, я скоро узнаю...» — но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения.

Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб; это была Каперна. Грэй слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грэй повернул к берегу. Здесь тихо прибывало водой; засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние, нависшие выступы; это место ему понравилось.

— Здесь будем ловить рыбу, — сказал Грэй, хлопая гребца по плечу.

Матрос неопределенно хмыкнул.

— Первый раз плаваю с таким капитаном, — пробормотал он. — Капитан дельный, но непохожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его.

Забив весло в ил, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулась чаща. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол; повалив дерево, Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя; в отступившем мраке высветились трава и ветви; над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух.

Грэй сел у костра.

— Ну-ка, — сказал он, протягивая бутылку, — выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную.

— Простите, капитан, — ответил матрос, переводя дух. — Разрешите закусить этим... — Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал: — Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную.

Пока капитан ел и пил, матрос искоса поглядывал на него, затем, не удержавшись, сказал:

— Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?

— Это не интересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.

— А вы?

— Я? Не знаю. Может быть. Но... потом.

Летика разматал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер, к великому восхищению команды:

— Из шнура и деревяшки я изладил длинный хлыст и, крючок к нему приделав, испустил протяжный свист. — Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. — Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался — и его сомы съедят.

Наконец, он ушел с пением:

— Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, осет-

ры, хлопнись в обморок, селедка, — удит Летика с горы!

Грэй лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли; в этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его; она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая; пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей; от яркого волнения спешит к тайным намекам; кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло и все бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышление о судьбе вдруг жалуется гостем образ совершенно неподходящий: какой-нибудь пруттик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грэй, но был «где-то» — не здесь.

Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, просырал и затек. Бледно светились звезды; мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться; следующие два часа были для Грэя не более тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманым рыбам — что там? Но там, само собой, ничего не было.

Проснувшись, Грэй на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди ярких ветвей и пылающую синюю даль; над горизонтом, но в то же время и над его ногами висели листья орешника. Внизу обрыва — с впечатлением, что под самой спиной Грэя — шипел тихий прибой. Мелькнув с листа,

капля росы растеклась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть.

Летики не было; он увлекся; он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грэй вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава; влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грэю среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку.

Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее как в пяти шагах, свернувшись, подобрал одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Ассоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке; у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку; раскинувшаяся юбка обнажала колени; ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полузакрытого темной прядью; мизинец правой руки, бывшей под головой, пригнулся к затылку. Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой фавна с картины Арнольда Беклина.

Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он и н а ч е увидел ее. Все стронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни, тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее; ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.

Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грэй все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке: спали темные волосы, спало платье и складки платья; даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грэй вошел в его теплую подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал: — «Капитан, где вы?» — но капитан не слышал его.

Когда он наконец встал, склонность к необычайному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грэй повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса. Летика, разинув рот, смотрел на занятия Грэя с таким удивлением, с каким, верно, смотрел Иона на пасть своего меблированного кита.

— А, это ты, Летика! — сказал Грэй. — Посмотри-ка на нее. Что, хороша?

— Дивное художественное полотно! — шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения. — В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурены и еще какую-то толстую, как пузырь.

— Тише, Летика. Уберемся отсюда.

Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грэй медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.

Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль

склона; матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади; он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грэй вдруг сказал:

— Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир?

— Должно быть, вон та черная крыша, — сообразил Летика, — а, впрочем, может, и не она.

— Что же в этой крыше приметного?

— Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.

Они подошли к дому; то был действительно трактир Меннерса. В раскрытом окне, на столе, виднелась бутылка; возле нее чья-то грязная рука доила полуседой ус.

Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположилось три человека. У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами; между буфетом и внутренней дверью зала, за яичницей и пивом помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень, с веснушчатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплет окна.

Едва Грэй вступил в полосу дымного света, как Меннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грэе настоящего капитана — разряд гостей, редко им виденных. Грэй спросил рома. Накрыв стол пожелтевшей в суете людской скатертью, Меннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грэя, то на тарелку, с которой отдирает ногтем что-то присохшее.

В то время, как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно,

Грэй подозвал Меннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Грэева пальца.

— Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей, — спокойно заговорил Грэй. — Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темно-русой и невысокой, в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?

Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Меннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал — единственно из бесплодного желания догадаться, в чем дело.

— Гм! — сказал он, поднимая глаза в потолок. — Это, должно быть, «Корабельная Ассоль», больше быть некому. Она полоумная.

— В самом деле? — равнодушно сказал Грэй, отпивая крупный глоток. — Как же это случилось?

— Когда так, извольте послушать. — И Хин рассказал Грэю о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой. — С тех пор так ее и зовут, — сказал Меннерс, — зовут ее «Ассоль Корабельная».

Грэй машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным, затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар — одновременный удар в сердце и голову. По дороге, лицом к нему, шла та самая Корабельная Ассоль, к которой Меннерс только что отнесся клинически. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнуя-

щих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Меннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они случайно не повернулись, Грэй имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. После того, как он увидел глаза Ассоль, рассеялась вся косность Меннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал:

— Еще могу сообщить вам, что ее отец суший мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. Он...

Его перебил неожиданный дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рывкнул пением, и так свирепо, что все вздрогнули:

Корзинщик, корзинщик,
Дери с нас за корзины!..

— Опять ты нагрузился, вельбот проклятый! — кричал Меннерс. — Уходи вон!

...Но только бойся попадать
В наши палестины!..—

взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане.

Хин Меннерс возмущенно пожал плечами.

— Дрянь, а не человек, — сказал он с жутким достоинством скопидома. — Каждый раз такая история!

— Более вы ничего не можете рассказать? — спросил Грэй.

— Я-то? Я же вам говорю, что отец мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел и еще дитёй должен был самостоятельно поддерживать бременное пропитание...

— Ты врешь, — неожиданно сказал угольщик. — Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. — Хин не успел раскрыть рот, как угольщик

обратился к Грэю: — Он врет. Его отец тоже врал; врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке восемьдесят четыре раза, или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Меннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься — как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, а у нее то же, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле. — «Я тебе что скажу, — говорит она и держится за мое плечо, как муха за колокольню, — моя работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я, — говорит, — так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристают к берегу, отдают причал и честь-честью, точно живые, сядут на берегу закусывать». Я, это, захохотал, мне, стало быть, смешно стало. Я говорю: — «Ну, Ассоль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри: все в работе, как в драке». — «Нет, — говорит она, — я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает б о л ь ш у ю рыбу, какой никто не ловил». — «Ну, а я?» — «А ты? — смеется она, — ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет». Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже! А Хин Меннерс врет и денег не берет; я его знаю!

Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Меннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился:

— Прикажете подать что-нибудь?

— Нет, — сказал Грэй, доставая деньги, — мы встаем и уходим. Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?

— Добрейший капитан, — сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом, — не понять э т о г о может только глухой.

— Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже мое имя. Прощай!

Грэй вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искре в пороховой ступке Бертольда, — одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх — знойному солнцу, — как сделал это однажды мальчиком в винном погребе; затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.

IV

НАКАНУНЕ

Накануне того дня и через семь лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с Алыми Парусами, Ассоль в одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свой товар она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить

и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лонгрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стала, рассеянно наблюдая море.

Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число. — «Вот сколько вы забрали с декабря, — сказал торговец, — а вот посмотри, на сколько продано». И он уперся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков.

— Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить: — «Мне, милая, это больше не выгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны им, а эти изделия не берут». Так он сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мною, так как посоветовал сходить в «Детский Базар» и «Аладинову Лампу».

Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лонгрэн сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжелое настроение, девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала с деланным оживлением:

— Ничего, это все ничего, ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой страшнейший магазин; там куча народа. Меня затолкали; однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, я ничего не помню; под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, по-

смотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно.

Лонгрэн сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, заваленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать нехитрыми изделиями Лонгрэна. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов; миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые.

Ассоль была еще в «Аладиновой Лампе» и в двух других лавках, но ничего не добилась.

Оканчивая рассказ, она собрала ужинать: поев и выпив стакан крепкого кофе, Лонгрэн сказал:

— Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить — на «Фицроя» или «Палермо». Конечно, они правы, — задумчиво продолжал он, думая об игрушках. — Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так, а жаль, право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну.

— Я также могла бы служить вместе с тобой; скажем, в буфете.

— Нет! — Лонгрэн припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу. — Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать.

Он хмуро умолк. Ассоль примостилась рядом с ним на углу табурета; он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопочет утешить его, и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться — значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разглядила его спутанные седые волосы,

поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала: — «Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю». Пока она охорашивала его, Лонгрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийсядохнуть дымом, но, услышав ее слова, густо захохотал.

— Ты милая, — просто сказал он и, потрепав девушку по щеке, пошел на берег посмотреть лодку.

Ассоль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот; затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкапу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обертки с чаем и кофе почти пусты, нет масла, и единственное, на чем, с некоторой досадой на исключение, отдыхал глаз, — был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной из старья юбке, но тут же вспомнив, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла сверток; потом взглянула на свое отражение.

За ореховой рамой в светлой пустоте отраженной комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка. Полудетское, в светлом загаре, лицо было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний; каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль — был совершенно оригинален, — оригинально мил; на этом мы остановимся. Остальное неподвластно словам, кроме слова «очарование».

Отраженная девушка улыбнулась так же безотчетно, как и Ассоль. Улыбка вышла грустной; заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней; она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить.

Пока она шьет, посмотрим на нее ближе — вовнутрь. В ней две девушки, две Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастеровившая игрушки, другая — живое стихотворение, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженный смысл и н о г о порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто не линейно, но впечатлением — определенно человеческое, и — так же, как человеческое — различное. Нечто подобное тому, что (если удалось) сказали мы этим примером, видела она еще с в е р х видимого. Без этих тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения она делала на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда — и это продолжалось ряд дней — она даже перерождалась; физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с Алыми Парусами. Эти минуты были для нее счастьем;

нам трудно т а к уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния.

В другое время, размышляя обо всем этом, она искренно дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности; теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем, случалось, безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживления. Над ней посмеивались, говоря: — «Она тронутая, не в себе»; она привыкла и к этой боли; девушке случалось даже переносить оскорбления, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина, она была непопулярна в Каперне, однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих — лишь на другом языке. Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рева. Ассоль так же подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения, обладай оно всем обаянием Ассунты или Аспазии: то, что от любви, — здесь невысказано. Так, в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильна вывести суровый полк из действий его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной.

Меж тем, как ее голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко; откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвертывать рубец и класть петельный шов с отчетливостью швейной машины. Хотя Лонгрэн не возвращался, она не беспокоилась об отце. Последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто поветриться.

Ее не тербил страх; она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась по-своему, дружелюбно лепеча утром: — «Здравствуй, бог!», а вечером: — «Прощай, бог!»

По ее мнению, такого короткого знакомства с богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение: бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным тням жизни следовало, по ее мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшегося хозяина, ютясь и питаясь по обстоятельствам.

Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости; сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма казалась искусственной, тело, как и сознание, чувствовалось легким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов; оно билось как бы между подушкой и ухом. Ассоль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. Наконец ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть: она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сон, действительно, как бы лишь ждал этой подачи; он пришел, пошептался с Мери, стоящей у изголовья, и, повинуясь ее улыбке, сказал вокруг: «Ш-ш-ш-ш». Ассоль тотчас уснула. Ей снился любимый сон: цветущие деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверканье синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев все это, она побыла еще несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села.

Сна не было, как если бы она на засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желания что-то сделать

согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. Проник рассвет — не всей ясностью озарения, но тем смутным усилением, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был черен; верх просветлел. Извне дома, почти на краю рамы, блестела утренняя звезда. Зная, что теперь не уснет, Ассоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела раму. За окном стояла внимательная, чуткая тишина; она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подалее спали деревья; веяло духотой и землей.

Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая, слушаем мы речи людей, но, если повторить сказанное, поймем еще раз, с иным, новым значением. То же было и с ней.

Взяв старенькую, но на ее голове всегда юную шелковую косынку, она прихватила ее рукою под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать. Все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыль щекотала босые ноги; дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака; дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем, — тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку.

Она шла, чем далее, тем быстрее, торопясь покинуть селение. За Каперной простирались луга; за лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополи и каштаны. Там, где дорога кончилась, перехо-

дя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко завертелась пушистая черная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча соглашаясь с девушкой в чем-то понятном, как «я» и «ты». Ассоль, посматривая в ее сообщительные глаза, была твердо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у нее тайных причин молчать. Заметив улыбку у спутницы, собака весело сморщилась, вильнула хвостом и ровно побежала вперед, но вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенное своим вечным врагом, и побежала обратно.

Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению. Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки — позы, усилия, движения, черты и взгляды; ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж, серея, выкатился перед ней на тропинку. — «Фук-фук», — отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. — «Здравствуй, больной, — сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червем. — Необходимо посидеть дома», — это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдерганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растение и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. — «Страхни толстого пассажира», — посоветовала Ассоль. Жук, точно, не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые — она знала это — говорят басом.

То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. Ассоль чувствовала себя, как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю». «Братцы» величественно гладили ее чем могли — листьями — и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землей, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета. Тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало; лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белизна; пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув среди золотой нити, бросил по океану, к ногам Ассоль, алую рябь.

Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, — глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там — на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный

холм; от поверхности его струились вверх вьющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск.

Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля; уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь; взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы с всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле.

Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула — по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений.

Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспokoйно повертев ножкой, Ассоль проснулась; сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грзя напомнило о себе, но считая его не более как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их; так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана.

На ее пальце блестело лучистое кольцо Грзя, как на чужом, — с о и м не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой. — «Чья это шутка? Чья шутка? — стремительно вскричала она. — Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?» Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением

осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли; но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака, и румянец покрыл Ассоль, а голоса сердца сказали вешнее «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца; держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она — всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеве-рием юности, затем, спрятав за лиф, Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой.

Так, — с л у ч а й н о, как говорят люди, умеющие читать и писать, — Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.

V

БОЕВЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Когда Грэй поднялся на палубу «Секрета», он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность — облачное движение чувств — отражалось в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы; увидев Грэя, он заметил странное состояние капитана.

— Вы, быть может, ушиблись? — осторожно спросил он. — Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт; с премией. Да что с вами такое?..

— Благодарю, — сказал Грэй, вздохнув, как развязанный. — Мне именно не доставало звуков вашего

простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль десять отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все... Да, выгодный фрахт мне нужен как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.

— Что же случилось?

— Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких распросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт; что местный док занят.

— Хорошо, — бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грэя. — Будет исполнено.

Хотя распоряжения капитана были вполне толковы, помощник вытаращил глаза и беспокожно помчался с тарелкой к себе в каюту, бормоча: «Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под черным флагом пирата?» Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грэй спустился в каюту, взял деньги и, переехав бухту, появился в торговых кварталах Лисса.

Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение — мысль, действие — грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии.

Грэй побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках

ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие; в третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грэй был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывая, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавков, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый темный; густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом родстве, подобно словам: «очаровательно» — «прекрасно» — «великолепно» — «совершенно»; в складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя; он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь, с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.

Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков; не было также ни синевы, ни тени — ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грэй так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.

— Довольно образцов, — сказал Грэй, вставая, — этот шелк я беру.

— Весь кусок? — почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грэй молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. — В таком случае, сколько метров?

Грэй кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.

— Две тысячи метров. — Он с сомнением осмотрел полки. — Да, не более двух тысяч метров.

— Две? — сказал хозяин, судорожно подсакивая, как пружинный. — Тысячи? Метров? Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак; прошу вас. Две тысячи... две тысячи по... — Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да», но Грэй был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться. — Удивительный, наилучший шелк, — продолжал лавочник, — товар вне сравнения, только у меня найдете такой.

Когда он наконец весь изошел восторгом, Грэй договорился с ним о доставке, взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо; его товарищ, флейтист, осыпал пение струн лепетом горлового свиста; простая песенка, которою они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грэя, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности; услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных, сообразно его ха-

рактору, этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумал. Миновав переулок, Грэй прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить; высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина; тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.

— Ба, да это ты, Циммер! — сказал ему Грэй, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». — Как же ты изменил скрипке?

— Досточтимый капитан, — самодовольно возразил Циммер, — я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух: виолу и скрипку. На виолончели играю днем, а на скрипке по вечерам, то есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли винцом, э? Виолончель — это моя Кармен, а скрипка...

— Ассоль, — сказал Грэй.

Циммер не расслышал.

— Да, — кивнул он, — с о л о на тарелках или медных трубочках — другое дело. Впрочем, что мне?! Пусть кривляются паяцы искусства — я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи.

— А что скрывается в моем «тур-люр-лю»? — спросил подошедший флейтист, рослый детина с бараньими голубыми глазами и белокурой бородой. — Ну-ка, скажи?

— Смотря по тому, сколько ты выпил с утра. Иногда — птица, иногда — спиртные пары. Капитан, это мой компаньон Дусс; я говорил ему, как вы сорите золотом, когда пьете, и он заочно влюблен в вас.

— Да, — сказал Дусс, — я люблю жест и щедрость. Но я хитер, не верьте моей гнусной лестии.

— Вот что, — сказал, смеясь, Грэй. — У меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не из щеголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или — что еще хуже — в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами, — нет. Соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев; соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не за одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву А. Если вам нравится мое предложение, приезжайте по вечеру на «Секрет»; он стоит неподалеку от головной дамбы.

— Согласен! — вскричал Циммер, зная, что Грэй платит, как царь. — Дусс, кланяйся, скажи «да» и верти шляпой от радости! Капитан Грэй хочет жениться!

— Да, — просто сказал Грэй. — Все подробности я вам сообщу на «Секрете». Вы же...

— За букву А! — Дусс, толкнув локтем Циммера, подмигнул Грэю. — Но... как много букв в алфавите! Пожалуйте что-нибудь и на фиту...

Грэй дал еще денег. Музыканты ушли. Тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму — выполнить срочно, в течение шести дней. В то время, как Грэй вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк; пять парусников, нанятых Грэем, поместились с матросами; еще не вернулся Летика и не прибыли музыканты; в ожидании их Грэй отправился потолковать с Пантенем.

Следует заметить, что Грэй в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рей-

сов, остановок — иногда месячных — в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись «грэизмом» Грэя. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев: черное, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу; не удивительно, что команда «Секрета», воспитанная, таким образом, в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы. Все-таки этот раз Грэй встретил вопросы в физиономиях; самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки.

Пантен, конечно, сообщил им приказания Грэя; когда тот вошел, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натываясь на стулья. Наступал вечер; сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки.

— Все готово, — мрачно сказал Пантен. — Если хотите, можно поднимать якорь.

— Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше, — мягко заметил Грэй. — Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лианы, я расскажу все, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. Ступайте, снимайтесь с якоря.

Пантен, неловко усмехаясь, почесал бровь.

— Это, конечно, так, — сказал он. — Впрочем, я ничего.

Когда он вышел, Грэй посидел несколько времени, неподвижно смотря в полуоткрытую дверь, затем перешел к себе. Здесь он то сидел, то ложился; то прислушиваясь к треску брашпиля, выкатывающего громкую цепь, собирался выйти на бак, но вновь задумывался и возвращался к столу, чертя по клеенке пальцем прямую быструю линию. Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния; он повернул ключ, впустив Летику. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь.

— «Лети-ка, Летика», — сказал я себе, — быстро заговорил он, — когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплеывая в ладони. У меня глаз, как у орла. И я полетел; я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?

— Летика, — сказал Грэй, присматриваясь к его красным глазам, — я ожидал тебя не позже утра. Лил ли ты на затылок холодную воду?

— Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано.

— Говори.

— Не стоит говорить, капитан; вот здесь все записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду.

— Куда?

— Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды.

Он повернулся и вышел с странными движениями слепого. Грэй развернул бумажку; карандаш, должно быть, дивился, когда выводил по ней эти чертежи, напоминающие расшатанный забор. Вот что писал Летика:

«Сообразно инструкции. После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по два окна сбоку; при нем огород. Означенная особа приходила два ра-

за: за водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески».

Затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых Летикой, видимо, путем застольного разговора, так как мемурий заканчивался, несколько неожиданно, словами: «В счет расходов приложил малость своих».

Но существо этого донесения говорило лишь о том, что мы знаем из первой главы. Грэй положил бумажку в стол, свистнул вахтенного и послал за Пантенем, но вместо помощника явился боцман Атвуд, обдергивая засученные рукава.

— Мы ошвартовались у дамбы, — сказал он. — Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят: на него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на «Секрет»? Пантен просит вас прийти, говорит, у него туман в голове.

— Да, Атвуд, — сказал Грэй, — я, точно, звал музыкантов; подите, скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть часа. Пусть соберутся; вы и Пантен, разумеется, тоже слушаете меня.

Атвуд взвел, как курок, левую бровь, постоял боком у двери и вышел. Эти десять минут Грэй провел, закрыв руками лицо; он ни к чему не готовился и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидание невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой.

— Ничего особенного, — сказал Грэй, присаживаясь на трап мостика. — Мы простоим в устье реки

до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк; из него под руководством парусного мастера Блента смастерят «Секрету» новые паруса. Затем мы отправимся, но куда — не скажу; во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольно об этом.

— Да, — сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить. — Так вот в чем дело, капитан... Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.

— Благодарю! — Грэй сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел — нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел — его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен: вяло подержав руку Грэя, он мрачно спросил:

— Как это вам пришло в голову, капитан?

— Как удар твоего топора, — сказал Грэй.— Циммер! Покажи своих ребятишек.

Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул семь человек, одетых крайне неряшливо.

— Вот, — сказал Циммер, — это — тромбон; не играет, а палит, как из пушки. Эти два безусых молодца — фанфары; как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет, корнет-а-пистон и вторая скрипка. Все они — великие мастера обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла — Фриц, барабанщик. У бара-

банщиков, знаете, обычно — разочарованный вид, но э т о т бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли все сделано, капитан Грэй?

— Изумительно, — сказал Грэй. — Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными «скерцо», «адажио» и «фортиссимо». Разойдитесь. Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь. Я вас сменю через два часа.

Этих двух часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его, наконец, до того, что он стал считать мысленно: «Один... два... тридцать...» и так далее, пока не сказал «тысяча». Такое упражнение подействовало: он был способен наконец взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю Ассоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно, хотя бы смутно, понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грэя начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую, кроткую улыбку, как, опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена.

Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому: «Лево четверть румба; лево. Стой: еще четверть». «Секрет» шел с половиною парусов при попутном ветре.

— Знаете, — сказал Пантен Грэю, — я доволен.

— Чем?

— Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь, на мостике. — Он хитро подмигнул, светя улыбке огнем трубки.

— Ну-ка, — сказал Грэй, внезапно догадавшись, в чем дело, — что вы там поняли?

— Лучший способ провезти контрабанду, — шепнул Пантен. — Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грэй!

— Бедный Пантен! — сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться. — Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал.

Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть одному.

VI

АССОЛЬ ОСТАЕТСЯ ОДНА

Лонгрен провел ночь в море; он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блуждания. Тишина, только тишина и безлюдье — вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время; кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне, его ждет не умиравший никогда друг, и возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мери никогда больше не выйдет из две-

рей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает работа.

Когда Лонгрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца; на этот раз однако в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг с раз у увидел Ассоль; вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо — то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лонгрену так непонятно, что он быстро спросил:

— Ты больна?

Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся наконец ее духовного слуха, Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать — что именно; она сказала:

— Нет, я здорова... Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело, но это оттого, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал.

— Что бы я ни надумал, — сказал Лонгрен, усаживая девушку на колени, — ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Кассетом и Лиссом.

— Да, — издали сказала она, сиюсь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильна перестать радоваться. — Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей. — Говоря так, она расцвела неудержимой улыбкой. — Да, поскорей, милый; я жду.

— Ассоль! — сказал Лонгрэн, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе. — Выкладывай, что случилось?

Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу, и, победив ликование, сделалась серьезно-внимательной, только в ее глазах блестела еще новая жизнь. — Ты странный, — сказала она. — Решительно ничего. Я собирала орехи.

Лонгрэн не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок; перечислил все необходимые вещи и дал несколько советов.

— Я вернусь домой дней через десять, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи: — «Лонгрэн скоро вернется». Не думай и не беспокойся обо мне; худого ничего не случится.

После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок за плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом; затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая э т о м у дому, так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лонгрэн мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме; смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими; все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо, величиной с солнце, упало через море к ее ногам.

Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лисс. Ей совершенно нечего было там делать; она не знала, зачем идет, но не идти — н е могла. По дороге ей встре-

тился пешеход, желавший разведать какое-то направление; она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом.

Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забывая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она поставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг; затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменившей, наконец, пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидела того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина; он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. Ассоль обрадовалась.

— Здравствуй, Филипп, — сказала она, — что ты здесь делаешь?

— Ничего, муха. Свалилось колесо; я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?

Ассоль не ответила.

— Знаешь, Филипп, — заговорила она, — я тебя очень люблю, и потому скажу только тебе. Я скоро уеду; наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.

— Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась? — изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.

— Не знаю. — Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, — зеленую в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков и, подумав, прибавила: — Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу. Поэтому, на всякий случай,— прощай; ты часто меня возил.

Она взяла огромную черную руку и привела ее в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову.

— Чудеса, — сказал угольщик, — поди-ка, пойми ее. Что-то с ней сегодня... такое и прочее.

— Верно, — поддержал второй, — не то она говорит, не то — уговаривает. Не наше дело.

— Не наше дело, — сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли.

VII

АЛЫЙ «СЕКРЕТ»

Был белый утренний час; в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки; сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам.

Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони; это запел кларнет. Му-

зыконт, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полной печального, протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе; усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию.

Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся; в нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бесильными щитами огромных складок; слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса; наконец, тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился по реям в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости.

Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел; затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю.

Пока «Секрет» шел руслом реки, Грэй стоял у штурвала, не доверяя руля матросу — он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грэя.

— Теперь, — сказал Грэй, — когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. Заметьте — я не считаю вас глупым или упрямым, нет; вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы,

как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни; они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует, как старинное представление о прекрасном-несбыточном, и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна и иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах.

Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так:

— Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство характеров; я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, кроме нее, может быть именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное — получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения — чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, — тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и — вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим — значит владеть всем. Что до меня, то наше начало — мое и Ассоль — останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?

— Да, капитан. — Пантен крикнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. — Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потоплен-

ное ведро. И дам ему табаку — свой он проиграл в карты.

Прежде чем Грэй, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загредел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грэй оглянулся, посмотрев вверх; над ним молча рвались алые паруса; солнце в их швах сияло пурпурным дымом. «Секрет» шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грэя — ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот; спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели; полный тех мыслей, которые опережают слова.

К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера, крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал — «лечь в дрейф!».

— Братцы, — сказал Грэй матросам, — нас не обстреляют, не бойтесь; они просто не верят своим глазам.

Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел «Секрет» из ветра; судно остановилось, между тем как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках; лейтенант, ступив на палубу корабля, изумленно оглянулся и прошел с Грэем в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к синему крейсеру. По-видимому, этот раз Грэй имел больше успеха, чем с простодушным Пантемом, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мячами, развеялся клочьями над тихой водой. Весь день на крейсере царил некое полупраздничное остолбенение; настроение было неслужебное, сбитое — под знаком любви, о которой говорили везде — от салона до машинного трюма, а часовой минного отделения спросил проходящего матроса: — «Том, как ты женился?» —

«Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно», — сказал Том и гордо закурил ус.

Некоторое время «Секрет» шел пустым морем, без берегов; к полудню открылся далекий берег. Взяв подозрительную трубу, Грэй устался на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала; по странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы; здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и, действительно, едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: — «Опять жучишка... дурак!..» — и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами.

Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. «Секрет» в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка; музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами:

«Налейте, налейте бокалы — и выпьем, друзья, за любовь...» — В ее простоте, ликуя, развертывалось и рокотало волнение.

Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; ее ноги

подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть.

Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был; жители перекликались со двора в двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль.

Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уж которая начинала трещать — яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от нее, а она осталась одна среди пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.

От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смер-

тельно боясь всего — ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи — она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича:

— Я здесь, я здесь! Это я!

Тогда Циммер взмахнул смычком — и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка — все двигалось, кружилось и опало.

Но весло резко плеснуло вблизи нее; она подняла голову. Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала:

— Совершенно такой.

— И ты тоже, дитя мое! — вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. — Вот, я пришел. Узнала ли ты меня?

Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком. Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачиванье шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета», — все было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня — как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте — в комнате, которой лучше уже не может быть.

Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял ее руки и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спря-

тала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебю. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись. В них было все лучшее человека.

— Ты возьмешь к нам моего Лонгрена? — сказала она.

— Да. — И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась.

Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу.

Меж тем на палубе у грот-мачты, возле бочонка, изъеденного червем, с сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял; Пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грэй поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул граненым стаканом, в песне золотых труб, святое вино.

— Ну вот... — сказал он, кончив пить, затем бросил стакан. — Теперь пейте, пейте все; кто не пьет, тот враг мне.

Повторить эти слова ему не пришлось. В то время, как полным ходом, под всеми парусами уходил от ужаснувшейся навсегда Каперны «Секрет», давка вокруг бочонка превзошла все, что в этом роде происходит на великих праздниках.

— Как понравилось оно тебе? — спросил Грэй Летику.

— Капитан! — сказал, подыскивая слова, матрос. — Не знаю, понравился ли ему я, но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад!

— Что?!

— Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан. И пусть счастлива будет та, которую «лучшим грузом» я назову, лучшим призом «Секрета»!

Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грэя; держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье...

1923

БЛИСТАЮЩИЙ МИР

Роман

«Это — там...»
Свифт

Часть I

ОПРОКИНУТАЯ АРЕНА

I

Семь дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке «Солейль» «Человека Двойной Звезды»; еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. Действительно, цирковое искусство еще никогда не обещало так много, — не залучало волнения в область любопытства, как теперь. Даже атлетическая борьба — любимое развлечение выродившихся духовных наследников Нерона и Гелиогабала — отошла на второй план, хотя уже приехали и гуляли напоказ по бульварам зверские туши Грепера и Нуара — негра из африканской Либерии, — раскуривая толстейшие регалии, на удивление и сердечный трепет зрелых, но пылких дам. Даже потускнел знаменитый силач-жонглер Мирэй, бросавший в воздух фейерверк светящихся гирь. Короче говоря, цирк «Солейль» обещал и с т и н н о н е б ы в а л о е. Постояв с минуту перед афишей, мы полнее всяких примеров и сравнений усвоим впечатление, производимое ею на толпу. Что же там напечатано?

«В среду, — говорила афиша, — 23 июня 1913 г. состоится первое, единственное и последнее выступление ранее никогда нигде не выступавшего, паразитического, небывалого, исключительного феномена, именующего себя «Человеком Двойной Звезды».

*Не имеющий веса
Летящий бег
Чудесный полет*

«Настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений.

Человек Двойной Звезды остается висеть в воздухе до 3-х секунд полного времени.

Человек Двойной Звезды — величайшая научная загадка нашего века.

Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19-го по день представления; цены утроены».

Агассиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие объяснения: Несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек; даже изощренный глаз такого пройдохи, как Агассиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего, кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло: Э. Д. — только; ни адреса, ни профессии...

Говоря так, Агассиц принял вид человека, которому известно гораздо более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал:

— Я видел несомненно образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но... да, он — редкость даже и для меня, испытавшего за тридцать лет немало. У нас он не служит. Он ничего не требовал, ничего не просил. Я ничего не знаю о нем. Его адрес мне

неизвестен. Не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как одно-единственное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью. Нам это не нужно. Однако «Солейль» стоит и будет стоять на высоте, поэтому я не мог выпустить такую редкую птицу. Он предложил больше, чем дал бы сам Барнум, воскреснув и явившись сюда со всеми своими зверями.

Его предложение таково: он выступит перед публикой один раз; действительно о д и н раз, ни больше ни меньше, — без гонорара, без угощения, без всякого иного вознаграждения. — Эти три «без» Агассица свистнули солидно и вкусно. — Я предлагал то и то, но он отказался.

По его просьбе, я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем, — без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделяясь в воздух, двинулся через стол, задержавшись над ним, — над этой вот самой чернильницей, — не менее двух секунд, после чего неслышно, без сотрясения, его ноги вновь коснулись земли. Это было так странно, что я вздрогнул, но он остался спокоен, как клоун Додди после того, как его повертит в зубах с трапеции Эрнст Вит. — «Вот все, что я умею, — сказал он, когда мы уселись опять, — но это я повторю несколько раз, с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе. Тогда публика увидит больше. Но за это поручиться нельзя».

Я спросил — что он знает и думает о себе как о небывалом, дивном феномене. Он пожал плечами. — «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они я в л я ю т с я. Так э т о является у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему миллион; он отказался — и даже — зевнул. Я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась

бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публично. — «Время от времени, — сказал он, — слабеет мой дар, если не оживлять его; он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот — единственное ядро, к которому я прикован». Но я ничего не понял; должно быть, он пошутил. Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен, как анатом, и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку тысяч на триста. О всем этом стоит задуматься.

На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агассицем; в одной газете появился даже импровизированный портрет странного гастролера. Усы и шевелюра портрета сделали бы честь любой волосорастительной рекламе. На читателя, выкатив глаза, смотрел свирепый красавец.

Между тем виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты и вдосталь полюбовавшись интересным портретом, спросил: — «Ну, Друд, ты будешь двадцать третьего в цирке?»

Сам отвечая себе, он прибавил: — «Да. Я буду и посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое косное пламя невежественного рассудка, которым чванится «царь природы». И капли пота покроют его лицо...»

II

Не менее публики подхвачена была волной острого интереса вся цирковая труппа, включая прислугу, билетеров и конюхов. Пошел слух, что «Двойная Звезда» (как приказал он обозначить себя в афише) — граф и миллиардер, и о нем вздыхали уже наездницы, глотая слюнки в мечтах ресторанно-ювелирного ка-

чества; уже пытали зеркало балерины, надеясь каждая увлечь сиятельного оригинала, и с пеной на губах спорили, — которую из них купит он подороже. Клоуны придумывали, как смешить зрителя, пародируя новичка. Пьяница-сочинитель Дебор уже смастерил им несколько диалогов, за что пил водку и брэнчал серебряной мелочью. Омраченные завистью гимнасты, вольтижеры и жонглеры твердили единым духом, до последнего момента, что таинственный гастролер — шарлатан из Индии, где научился действовать немного внушением, и предсказывали фиаско. Они же пытались распространить весть, что соперник их по арене — беглый преступник. Они же сочинили, что «Двойная Звезда» — карточный шулер, битый неоднократно. Им же принадлежала интересная повесть о шантаже, которым будто бы обезоружил он присмирившего Агассица. Но по существу дела никто не мог ничего сказать; дымная спираль сплетни вилась, не касаясь центра. Один лишь клоун Арси, любивший повторять: «Я знаю и видал все, поэтому ничему не удивляюсь», — особенно подчеркивал свою фразу, когда поднимался разговор о «Двойной Звезде»; но на больном, желчном лице клоуна отражался тусклый испуг, что его бедную жизнь может поразить нечто, о чем он задумывается с волнением, утратив нищенский покой, добытый тяжким трудом гримас и ушибов.

Еще много всякого словесного сора — измышлений, болтовни, острот, издевательств и предсказаний — застряло в ушах разных людей по поводу громкого выступления, но всего не подслушаешь. В столбе пыли за копытами коней Цезаря не важна отдельно каждая сущая пылинка; не так уж важен и отсвет луча, бегущего сквозь лиловые вихри за белым пятном золотого императорского шлема. Цезарь пылит... Пыль — и Цезарь.

III

23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы без остатка». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстротой треска; последним билетам, еще 20-го, была устроена лотерея,— в силу того, что они вызвали жестокий спор претендентов.

Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, подметил бы несколько необычный состав публики. Так, ложа прессы была набита битком, за приставными стульями блестели пенсне и воротнички тех, кто был осужден, стоя, переминаясь с ноги на ногу. Была также полна ложа министра. Там сиял нежный, прелестный мир красивых глаз и тонких лиц молодых женщин, белого шелка и драгоценностей, горящих как люстры на фоне мундиров и фраков; так лунный водопад в бархате черных теней струит и искрит стрежи свои. Все ложи, огибающие малиновый барьер цветистым кругом, дышали роскошью и сдержанностью нарядной толпы; легко, свободно смеясь, негромко, но отчетливо говоря, эти люди рассматривали противоположные стороны огромного цирка. Над ареной, блистая, реяла воздушная пустота, сомкнутая высоко вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стеклянные люки.

Выше кресел помещалась физиономическая пестрота интеллигенции, торговцев, чиновников и военных; мелькали знакомые по портретам черты писателей и художников; слышались замысловатая фраза, удачное замечание, изысканный литературный оборот, сплетни и семейные споры. Еще выше жалась на неразгороженных скамьях улица — непросеянная толпа: те, что бегут, шагают и проплывают тысячами пар ног. Над ними же, за высоким барьером, оклеен-

ным цирковыми плакатами, на локтях, цыпочках, подбородках и грудях, придавленных теснотой, сжимаясь шестигранно, как сот, потели парии цирка — галерея; сиюсь высвободить хотя на момент руки, они терпели пытку духоты и сердцебиения; более спокойными в этом месиве выглядели лица людей выше семи вершков. Здесь грызли орехи; треск скорлупы мешался с свистками и бесцеремонными окриками.

Освещение а giогно, возбуждающе яркий свет такой силы, что все, вблизи и вдали, было как бы наведено светлым лаком, погружало противоположную сторону в блестящий туман, где, однако, раз останавливался там взор, все виделось с отчетливостью бинокля, — и лица и выражения. Цирк, залитый светом, от укрепленных под потолком трапеций, от медных труб музыкантов, шелестящих нотами среди черных пюпитров, до свежих опилок, устилавших арену, — был во власти электрических люстр, сеющих веселое упоение. Закрыв глаза, можно было по слуху намечать все точки пространства — скрип стула, кашель, сдержанный полутакт флейты, гул барабана, тихий, взволнованный разговор и шум, подобный шуму воды, — шелеста движений и дыхания десятитысячного человеческого заряда, внедренного разом в поперечный разрез круглого здания. Стоял острый запах тепла, конюшен, опилок и тонких духов — традиционный аромат цирка, родственный пестроте представления.

Начало задерживалось; нетерпение овладело публикой; по галереям несколько раз, вспыхивая нервным треском, перекатились аплодисменты. Но вот звякнул и затрепетал третий звонок. Бухнуло глухое серебро литавр, взвыл тромбон, выстрелил барабан; медь и струны в мелькающем свисте флейт понесли воинственный марш, и представление началось.

Для этого вечера дирекция выпустила лучшие силы цирка. Агасиц знал, что к вершине горы ведут крутые тропинки. Он постепенно накаливал душу зрителя, громоздя впечатление на впечатление, с расчетливым и строгим разнообразием; благодаря этому зритель должен был отдать весь скопленный жар души венчающему концу: в конце программы значился «Двойная Звезда».

Арена ожила: гимнасты сменяли коней, кони — клоунов, клоуны — акробатов; жонглеры и фокусники следовали за укротителем львов. Два слона, обвязанные салфетками, чинно поужинали, сидя за накрытым столом, и, княжеским движением хобота бросив «на чай», катались на деревянных шарах. Задумчивое остоленение клоунов в момент неизбежного удара по затылку гуттаперчевой колбасой вызвало не одну мигрень слабых голов, заболевших от хохота. Еще клоуны почесывались и острили, как наездник с наездницей, на белых астурийских конях, вылетели и понеслись вокруг арены. То были Вахх и вакханка — в шкурах барса, венках и гирляндах роз; они, мчась с силой ветра, разыграли мимическую сцену балетного и акробатического характера, затем скрылись, оставив в воздухе блеск и трепет грациозно-шалых тел, одержимых живописным движением. После них, предшествуемые звуком трубы, вышли и расселись львы, ревом заглушая оркестр; человек в черном фраке, стреляя бичом, унизил их, как хотел; пена валилась из их пастей, но они вальсировали и прыгали в обруч. Четыре гимнаста, раскачиваясь под куполом, перебрасывались с одной трапеции на другую жуткими вольтами. Японец-фокусник вытащил из-за ворота трико тяжеловесную стеклянную вазу, полную воды и живых рыб. Жонглер доказал, что нет предметов, которыми нельзя было бы играть, подбрасывая их на

воздух и ловя, как ласточка мух, без ушибов и промаха; семь зажженных ламп взлетали из его рук с легкостью фонтанной струи. Концом второго отделения был наездник Ришлей, скакавший на пяти рыжих белогривых лошадях и переходя, стоя, с одной на другую так просто, как мы пересаживаемся на стульях.

Звонок возвестил антракт; публика повалила в фойе, курительные, буфеты и конюшни. Служители прибирали арену. За эти пятнадцать минут племянница министра Руна Бегуэм, сидевшая в его ложе, основательно похоронила надежды капитана Галля, который, впрочем, не сказал ничего особенного. Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали. Тогда Руна сказала «до свиданья» — с весьма вразумительным холодом выражения, но ослепшее сердце Галля не поняло ее ровного, спокойного взгляда; теперь, пользуясь тем, что на них не смотрят, он взял опущенную руку девушки и тихо пожал ее, Руна, бестрепетно отняв руку, повернулась к нему, уткнув подбородок в бархат кресла. Легкая, светлая усмешка легла меж ее бровей прелестной морщинкой, и взгляд сказал — нет.

Галль сильно похудел в последние дни. Его левое веко нервно подергивалось. Он остановил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, что она немного смягчилась.

— Галль, все проходит! Вы — человек сильный. Мне искренно жаль, что это случилось с вами; что причиной вашего горя — я.

— Только вы и могли быть, — сказал Галль, ничего не видя, кроме нее. — Я вне себя. Хуже всего то, что вы еще не любили.

— Как?!

— Эта страна вашей души не тронута. В противном случае воспоминание чувства, может быть, сдвинуло бы ваше сердце с мертвой точки.

— Не знаю. Но хорошо, что наш разговор переходит в область соображений. К этому я прибавлю, что смотрела бы, как на несчастье, на любовь, если паразит она меня без судьбы.

Руна покойно обвела взглядом ряд лож, точно желая выяснить, не таится ли уже теперь где-нибудь это несчастье среди пристальных взглядов мужчин; но восхищение так надоело ей, что она относилась к нему с презрительной рассеянностью богача, берущего сдачу медью.

— Любовь и судьба — одно... — Галль помолчал. — Или... что вы хотите сказать?

— Я подразумеваю исключительную судьбу, Галль. Знаю, — Руна скорбно двинула обнаженным плечом, — что такой судьбы я... недостойна. — Высокомерие этого слова скрылось в бесподобной улыбке. — Но я все же хочу, чтобы эта судьба была особенная.

Галль понял по-своему ее горделивую мечту.

— Конечно, я вам не пара, — сказал он с искренней обидой и с не менее искренним восторгом. — Вы достойны быть королевой. Я — обыкновенный человек. Однако нет вещи, над которой я задумался бы, прикажи вы мне исполнить ее.

Руна повела бровью, но улыбнулась. Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление. Когда Галль не понял ее, она захотела подвинуть его ближе к своей душе. Так добрые люди любят, посетовав нищему о его горькой доле, заняться анализом своих ощущений на тему: «добрый ли я человек»? А нищему все равно.

— Для королевы я, пожалуй, умнее, чем надо быть умной в ее сане, — сказала Руна. — Я ведь знаю людей. Должна вас изумить. Та судьба, с какой могла бы я встретиться, не смотря на нее вниз, — едва ли возможна. Вероятно, нет. Я очень тщеславна. Все, что я думаю о том, смутно и ослепительно. Вы знаете, как

иногда действует музыка... Мне хочется жить как бы в несмолкающих звуках торжественной, всю меня перерождающей музыки. Я хочу, чтобы внутреннее волнующее блаженство было осмыслено властью, не знающей ни предела, ни колебаний.

Эту маленькую, беззастенчивую исповедь Руна произнесла с грациозной простотой молодой матери, нашептывающей засыпающему ребенку сны властелинов.

— Экстаз?

— Я не знаю. Но слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немощи слов. Довольно, а то вы измените мнение обо мне в дурную сторону.

— Я не меняю мнений, не меняю привязанностей, — сказал Галль и, видя, что Руна задумалась, стал молча смотреть на ее легкий профиль, собирая, для полноты впечатления, все, что о ней знал. Десяти лет она написала замечательные стихи. Семнадцатый и восемнадцатый годы она провела в кругосветном плавании, и ее экзотические рисунки были проданы с большой выставки по дорогой цене, в пользу слепых. Она не искала популярности этого рода — не любила ее. Она великолепно играла; ей по очереди пророчили то ту, то другую славу, — она славы не добивалась. В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой. Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанностей и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это, еще не испытанное ею чувство. Она знала все европейские языки, изучала астрономию, электротехнику, архитектуру и садоводство, спала мало, редко выезжала и еще реже устраивала приемы.

Этот невозмутимый, холодный мир был заключен в совершенную оболочку. По мягкости линий и выраже-

ния ее лицо было лицом блондинки, но под сверкающей волной черных волос давало непостижимое сочетание зноя и нежности. Ее вполне женственная, без впечатления хрупкости, фигура веяла свежестью и весельем ясного тела. Она была чуть пониже Галля; он же, при среднем росте, казался выше благодаря эполетам.

Галль — интеллигентный воин с немного расплывчатым лицом и меланхолическими глазами доброго человека, которым пытался иногда придать высокомерное выражение, передумав о Руне Бегуэм все, что пришло на мысль, обратил внутренний взгляд к себе, но, не найдя там ничего особенного, кроме здоровья, любви, службы и аккуратных привычек, почувствовал печаль смирения. Ему не следовало говорить о любви. Все же в момент третьего звонка, как бы дернутый его трелью за язык, он успел сказать: «Я желаю вам счастья...» Конец фразы: «если бы — со мной...» — застрял в его горле. Он разгладил усы и приготовился смотреть представление.

V

Последний перед выходом «Двойной Звезды» номер назывался «Бессилие оков». Он состоял в том, что широкоплечего, низкорослого человека связали по рукам и ногам толстенными веревками, опутали проволокой; сверх того опоясали кандалами руки и ноги. Затем его накрыли простыней; он повозился под ней минуты две и встал совершенно распутанный; узы валялись на песке.

Он ушел. Наступила глубокая, острая тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Заразительное ожидание проникло из души в душу, напрягая чувства; взгляды, направленные к выходной занавеси, молча вызывали обещанное явление. Музыкан-

ты перелистывали ноты. Прошло минут пять; нетерпение усиливалось. Верхи, потрещав вразброд, разразились залпами рукоплесканий протеста; середина поддержала их; низы беседовали, трепетали веерами, улыбались.

Тогда, вновь заставив стихнуть шум нетерпения, у выхода появился человек среднего роста, прямой, как пламя свечи, с естественной и простой манерой; задержась на мгновение, он вышел к середине арены, ступая мягко и ровно; остановясь, он огляделся с улыбкой, обвел взглядом сверкающую впадину цирка и поднял голову, обращаясь к оркестру.

— Сыграйте, — сказал он, подумав, негромко, но так внятно, что слова ясно прозвучали для всех, — сыграйте что-нибудь медленное и плавное, например, «Мексиканский вальс».

Капельмейстер кивнул, постучал и взмахнул палочкой.

Трубы зарокотали вступление; кружась, ветер мелодии охватил сердца пленом и мерой ритма; звон, трели и пение рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства.

«Двойная Звезда», — каким являлся он взгляду зрителей в эту минуту, — был человек лет тридцати. Его одежда состояла из белой рубашки, с перетянутыми у кистей рукавами, черных панталон, синих чулок и черных сандалий; широкий серебряный пояс обнимал талию. Светлый, как купол, лоб нисходил к темным глазам чертой тонких и высоких бровей, придававших его резкому лицу выражение высокомерной ясности старинных портретов; на этом бледном лице, полном спокойной власти меж тенью темных усов и щелью твердого подбородка презрительно кривился маленький, строгий рот. Улыбка, с которой он вышел, была двусмысленна, хотя не лишена равновесия, и полна скрытого обещания. Его волосы бобрового цвета слабо

вились под затылком, в углублении шеи, спереди же чуть-чуть спускались на лоб; руки были малы, плечи слегка откинута.

Он отошел к барьеру, притопнул и, неспеша, побежал, с прижатыми к груди локтями; так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного. Но со второго круга раздались возгласы: «Смотрите, смотрите». Оба главных прохода набились зрителями: высыпали все служащие и артисты. Шаги бегущего исказились, уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий; его ноги, легко трогая землю, казалось, не поспевают за неудержимым стремлением тела; уже несколько раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая пустоту. Так мчался он, совершив круг, затем, пробежав обыкновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх на высоту роста и замер, остановился в воздухе, как на незримом столбе. Он пробыл в таком положении лишь едва дольше естественной задержки падения — на пустяки, может быть треть секунды, — но на весах общего внимания это отозвалось падением тяжелой гири против золотника, — так необычно метнулось пред всеми загадочное явление. Но не холод, не жар восторга вызвало оно, а смуту тайного возбуждения: вошло нечто из-за пределов существа человеческого. Многие повскакали; те, кто не уследил в чем дело, кричали среди поднявшегося шума соседям, спрашивая, что случилось? Чувства уже были поражены, но еще не сбиты, не опрокинуты; зрители перекидывались замечаниями. Балетный критик Фогард сказал: — «Вот монстр элевации; с времен Агнессы Дюпорт не было ничего подобного. Но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна». В другом месте можно было подслушать: — «Я видел прыжки негров в Уганде; им далеко...» — «Факирство, гипноз!» — «Нет! Это делается с помощью зеркал и световых эффектов», — возгласило некое компетентное лицо.

Меж тем, отдыхая или раздумывая, по арене прежним неторопливым темпом бежал «Двойная Звезда», сея тревожные ожидания, разрастающиеся неудержимо. Чего ждал взволнованный зритель? Никто не мог ответить себе на это, но каждый был как бы схвачен невидимыми руками, не зная, отпустят или сбросят они его, бледнеющего в непонятной тоске. Так чувствовали, как признавались впоследствии, даже маляки сильных ощущений, люди испытанного хладнокровия. Уже несколько раз среди дам взлетало высокое «ах!» с оттенком более серьезным, чем те, какими окрашивают это универсальное восклицание. Верхи, ничего не понимая, голосили «браво» и набивали ладони. Тем временем в толпе цирковых артистов, запрудивших выход, произошло движение; эти много видавшие люди были поражены не менее зрителей.

Прошло уже около десяти минут, как «Двойная Звезда» выступил на арену. Теперь он увеличил скорость, делая, по-видимому, разбег. Его лицо разгорелось, глаза смеялись. И вдруг ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку: — «Мама, мама! Он летит... Смотри, он не задевает ногами!»

Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. Как пелена спала с них; обман мерного движения ног исчез. «Двойная Звезда» несся по воздуху на фут от земли, поднимаясь все круче и выше.

Тогда, внезапно, за некоей неуловимой чертой, через которую, перескочив и струсив, заметалось подкошенное внимание, — зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но когда оно наконец блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друд всплыл в воздухе к люстрам, обернув руками затылок. Мгновенно вся воображаемая тяжесть его тела передалась внутреннему усилию зрителей, но так же быстро исчезла, и все увидели, что выше галерей, под тра-

пециями, мчится, закинув голову, человек, пересекая время от времени круглое верхнее пространство с плавной быстротой птицы, — теперь он был страшен. И его тень, ныряя по рядам, металась вниз.

Смятенный оркестр смолк; одинокий гобой взвыл фальшивой нотой и как подстреленный оборвал медный крик.

Вопли «Пожар!» не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завывала; крики: «Сатана! Дьявол!» подхлестывали волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики: она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал Страх. Многие, в припадке внезапной слабости или головокружения, сидели, закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание; иные, задыхаясь, рвались к выходам; дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот крошечный гвалт; слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком, выше трапезий и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе «Двойная Звезда».

— Оркестр, музыку!! — кричал Агассиц, едва сознавая, что делает.

Несколько труб взвыло предсмертным воплем, который быстро утих; затрещали поваленные пюпитры; эстрада опустела; музыканты, бросив инструменты, бежали, как все. В это время министр Дауговет, тяжело потирая костлявые руки и сдвинув седину бровей, тихо сказал двум, быстро вошедшим к нему в ложу, прилично, но незначительно одетым людям: «Теперь же. Без колебания. Я беру на себя. Ночью лично ко мне с докладом, и никому больше ни слова!»

Оба неизвестных без поклона выбежали и смешались с толпой.

Тогда Друд сверху громко запел. Среди неистовства его голос прозвучал с силой порыва ветра; это была короткая, неизвестная песня. Лишь несколько слов ее было схвачено несколькими людьми: «Тот путь без дороги...» Каданс пропал в гуле, но можно было думать, что есть еще три стопы, с мужской рифмой в отчетливом слове «клир». Снова было не разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяжным: «зовущий в блистающий мир».

От ложи министра на арену выступила девушка в платье из белых шелковых струй. Бледная, вне себя, она подняла руки и крикнула. Никто не расслышал ее слов. Она нервно смеялась. Ее глаза, блестя, неслись вверх. Она ничего не видела, не понимала и не чувствовала, кроме светлой бездны, вспыхнувшей на развалинах этого дня чудным огнем.

Галль подошел к ней, взял за руку и увел. Вся дрожая, она повиновалась ему почти бессознательно. Это была Руна Бегуэм.

VI

Когда, вновь коснувшись земли, «Двойная Звезда» стремительно направился к выходу, паника в проходе усилилась. Все, кто мог бежать, скрыться, — исчезли с его пути. Многие попадали в давке; и он беспрепятственно достиг кулис, взял там шляпу и пальто, а затем вышел, через конюшни, в аллею бульвара.

Он укрыл лицо шарфом и исчез влево, на свет уличных фонарей. Едва он отошел, как несколько беспощадных ударов обрушилось на его плечи и голову; в луче фонаря блеснул нож. Он повернулся; острие увязло в одежде. Стараясь освободить левую руку, за которую ухватились двое, правой он сжал чье-то лицо и резко оттолкнул нападающего; затем быстро взвился вверх. Две руки отцепились; две другие повисли на его локте с остервенением разъяренного бульдога. Рука Друда не-

мела. Поднявшись над крышами, он увидел ночную иллюминацию улиц и остановился. Все это было делом одной минуты. Склонившись, с отвращением рассмотрел он сведенное ужасом лицо агента: тот, поджав ноги, висел на нем в борьбе с обмороком, но обморок через мгновение поразил его. Друд вырвал руку; тело понеслось вниз; затем из глубины, заваленной треском колес, вылетел глухой стук.

— Вот он умер, — сказал Друд, — погибла жизнь и без сомнения, великолепная награда. Меня хотели убить.

У него было предчувствие, и оно не обмануло его. Он ждал дня выступления с улыбкой и грустью — безотчетной грустью горца, взирающего с вершины на обширные туманы низин, куда не долетит звук. И если он улыбался, то лишь приятным, невозможным вещам — чему-то вроде восхищенного хора, пытающего, тербя и увлекая его в круг радостно засиявших лиц: и что там, в том мире, где он плывет и дышит свободно? И нельзя ли туда сопутствовать, закрыв от страха глаза?

Друд несся над городскими огнями в гневе и торжестве. Медля возвращаться домой, размышлял он о падении. Змея бросилась на орла. Вместе с тем он сознавал, что опасен. Его постараются уничтожить, или, если в том не успеют, окружают его жизненный путь вечной опасностью. Его цели непостижимы. Помимо того, самое его существование — абсурд, явление нетерпимое. Есть положения, ясные без их логического развития: Венера Милосская в бакалейной лавке, сундук с шаровидными молниями, отправленный по железной дороге; взрывы на расстоянии. Он вспомнил цирк — так ясно, что в воздухе, казалось, снова блеснул свет, при котором разыгрались во всем их безобразии сцены темного исступления. Единственным утешением были поднятые вверх с криком победы руки неизвестной женщины; и он вспомнил стадо домашних

гусей, гогочущих, завидя диких своих братьев, летящих под облаками: один гусь, вытянув шею и судорожно хлеща крыльями, запросился — тоже, — наверх, но жир удержал его.

Приблизился свист перьев; ночная птица ударилась в грудь, забилась у лица и, издав стон ужаса, взмыла, сгинув во тьме. Друд миновал черту города. Над гаванью он пересек луч прожектора, соображая, что теперь, верно, будут протирать зеркало или глаза, думая, не померещился ли на фоне береговых скал человеческий силуэт. Действительно, в крепости что-то произошло, так как луч начал кроить тьму по всем направлениям, попадая, главным образом, в облака. Друд повернул обратно, развлекаясь обычной игрой; он населил по дороге свой путь воздушными ладьями, откуда слышался шепот влюбленных пар; они скользили к серпу луны, в его серебряную кисейку, бросающую на ковры и цветы свою тонкую белизну. Их кормчие, веселые, маленькие духи воздуха, завернув крылья под мышку, тянули парус. Он слышал смех и перебор струн. Еще выше лежала торжественная пустота, откуда из-за мириадов миль протягивались в прищуренный глаз иглы звездных лучей; по ним, как школьники, скатывающиеся с перил лестницы, сновали пузатенькие арапы, толкаясь, гримасничая и опрокидываясь, подобно мартышкам. Все звуки, подымающиеся с земли, имели физическое отражение; высоко летели кони, влача призрачную карету, набитую веселой компанией; дым сигар мутил звездный луч; возница, махая бичом, ловил слетевший цилиндр. В стороне скользили освещенные окна трамвая, за которыми господин читал газету, а фронт сосал тросточку, косясь на миловидное лицо соседки. Тут и там свешивались балконы, прорезанные светом дверей, укрытых зеленью, позволяющей видеть кончик туфли или опасный блеск глаз, мерцающих, как в засаде. Бежал воздушный газетчик, размахивая пачкой

газет; кошка стремглав перелезла по невидимым крышам, и гуляющие останавливались над городом, раскланиваясь в теплую тьму.

Как только Друд устал, эта игра рассеялась подобно стае комаров, если по ней хватил дождь. Он присел на фронтон башенных часов, которые снизу казались озаренным кружком в тарелку величиной, вблизи же являли двухсаженную амбразуру, заделанную стеклом толщиной дюйма в три, с аршинными железными цифрами. За стеклом, гремя, двигались шестерни, колеса и цепи; в углу, попивая кофе, сидел машинист, с грязной полосой поперек небритой щеки; среди инструментов, свертков пакли и жестянок с маслом дымилась печка, на которой кипел кофейник. На оси снаружи стекла две огромные стрелы указывали десять минут второго. Ось дрогнула, минутная стрелка заскрипела и свалилась на фут ниже, отметив одиннадцатую минуту. По карнизам жались в ряды сонные голуби, гуркая и скрипя клювом. Друд зевнул. Цирк и нападение утомили его. Он дождался, когда часовые колокола, отмечая четверть второго, вызвонили такт старинной мелодии, и устремился к гостинице, где временно жил.

VII

Тщетно искали горожане на другой день в страницах газет описания загадочного события; сила, действующая с незапамятных времен пером и угрозой, разослала в редакции секретный циркуляр, предписывающий «забыть» необыкновенное происшествие; упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия; никаких объяснений не было дано по этому поводу, и редакторы возвратили авторам длиннейшие статьи, — плоды бессонной ночи, — украшенные самими заманчивыми заголовками.

Меж тем слухи достигли такого размаха, приняли такие размеры и очертания, при каких исчезал уже самый смысл происшествия, подобно тому, как гигантской, но бесформенной становится тень человека, вплотную подошедшего к фонарю. Очевидцы разнесли свои впечатления по всем закоулкам, и каждый передавал так, что остальным было бы о чем с ним поспорить, — лучшее доказательство своеобразия в восприятии. В деле Друда творчество масс, о котором ныне, слышно, чрезвычайно хлопочут, проявилось с безудержностью истерического припадка. Правда, мелкотравчатый скептицизм образованной части населения пустил тонкое «но», в глубокомысленной бессмысленности которого уху, настроенному соответственно, слышалось множество остроумнейших изъяснений. На это «но», как на шпульку, наматывалась пестрая нить ходячей энциклопедии. Кто приводил гипнотизм, факирство, кто чудеса техники; ссылались и на старинных фокусников, творивших непостижимые чудеса, с продувной машинкой в подкладке. Не были забыты ни синемаграф, ни волшебный фонарь, ни знаменитые автоматы: механический человек Вебера обыгрывал искуснейших шахматистов своего времени. В силу того, что всякое событие подобно шару, покрытому сложным рисунком, очевидцы противоречили друг другу, не совпадая в описании происшествия, так как каждый видел лишь обращенную к нему часть шара, с сверхсметной прибавкой фантазии, или же, желая поразить сухой точностью, отнимал подробности; таким образом, сама очевидность стала наполовину спорной. Однако «глас божий», то есть вести с конюшен и галерей, праздновал богатый пир, украшаясь всем, что есть вздорного в человеке, когда захочет он небылиц и сам стряпает их. Эти вести создали легенду о черте, выехавшем на белом коне; по точным справкам других, дьявол похитил девочку и улетел с нею в окно; третьи добавляли, что малютка пре-

вратилась в старуху страшного вида. Наперерез этой диковине всплыл слух об ангелах, запевших над головой публики о конце мира, но более склонялись все к объяснению, данному буфетчиком «Ниагары», что приезжий грек изобрел летательную машинку, которую можно держать в кармане; грек вылетел из цирка на улицу и упал, потому что в машинке сломался винт. Венцом всей путаницы было потрясающее известие о посещении цирка стаей летающих мертвецов, которые пили, ели, а затем принялись безобразить, срывая с зрителей шляпы и выкрикивая на неизвестном языке умопомрачительные слова.

Малый очаг такого кипения слухов представляла утром 24-го числа кухня гостиницы «Рим», в девятом часу. Здесь, за столом, посреди которого валил пар огромной сковороды с бараниной, лакей и повар вели жаркий спор; их слушали горничные и кухарка; повара, гримасничая и надевая у плиты друг друга щелчками, успевали в то же время слушать беседу. Лакей хотя и не попал в цирк, за отсутствием билетов, но весь вечер протолкался у входа среди несчастливцев, тщетно надеявшихся умилоствить контролера сигарой или проскочить, улучив момент, — внутрь.

— Вздор! — сказал повар, выслушав описание повального бегства зрителей. — Хотя бы видел ты собственными глазами, чего, как говоришь сам, — не было.

— Легко сказать — «вздор», — возразил лакей, — тверди «вздор», что бы ты ни услышал. Противно с тобой говорить... Если думают, что я лгу, пусть имеют храбрость сказать мне это прямо в лицо.

— А что тогда будет? — воинственно спросил повар. — Прямо в лицо?! Вот я тебе прямо в лицо и говорю, что ты врешь.

— Я? Вру?

— Ну, не врешь, так сочиняешь, это одно и то же, а если хочешь знать правду, то я тебе объясню: все произошло оттого, что обрушились столбы. Этого я,

разумеется, не видел, но думаю, что хватит и такой безделицы. Галереи ведь на столбах, не так ли? А раз зрителей набилось туда втрое больше, чем полагается, подпорки и подломились.

— При чем тут подпорки, — возразил, вспотев от отчаяния, лакей, — когда побежала полная улица народа, двери трещали, и я сам слышал крики. Кроме того, я многих расспрашивал; кажется, ясно.

— Вздор! — сказал повар. — Как обломают тебе ноги, так закричишь, сам не зная что. Бывает, что с испуга человек сходит с ума и начинает нести всякую чепуху.

— Уж всем известно, что вы неверующий, — заголосила горничная в то время, как ее подруга с кухаркой, разинув рты, трепетали в припадке острого любопытства, — а я еще маленькая видела такую вещь, что попросите меня рассказать о том на ночь, я ни за что не решусь. Приходит к нам человек, — дело было ночью, — и просится ночевать...

— И я хорошо помню, — перебил лакей, — как вышел из двери солидный, вежливый господин. — «Что там произошло?» — спросил я его, и вижу, что он сильно взволнован: он мне сказал: — «Не ищите суетных развлечений. Я видел, как в человека вселился демон и поднял его на воздух. Молитесь, молитесь!» — И он ушел, этак помахивая рукой. Я вам говорю, в одной этой его руке была масса выражения!

Повар не успел произнести — «Вздор!», как горничная, опасаясь, что ее рассказ потонет в ожесточении спорщиков, взяла тоном выше и заговорила быстрее:

— Вы слышите? Я сказала, что тот человек попросился к нам ночевать; отец поворчал, но пустил, а на другой день мать говорила ему: — «Что? разве не была я права?» — Она не хотела, чтобы его пустили. Что же вышло? У нас в доме была пустая комната, в которой никто не жил; туда сваливали обыкновенно овощи;

там же отец держал токарный станок. В эту комнату уложили мы спать нашего странника. Я его как сейчас вижу: высокий, толстый, седой, а лицо гладкое и такое розовое, как вот у Бетси, или у меня, когда меня не раздражают ничем. Хотя я была маленькая, но ясно видела, что в старике есть что-то подозрительное. Когда он убрался спать, я подкралась к двери, заглянула в замочную скважину и... вы можете представить, что я увидела?

— Нет, нет! Не говорите! Не говорите! — воскликнули женщины. — Ай, что же вы там увидели?

— Он сидел на мешках. Я и теперь вся дрожу, как тогда. — «Обожаемые мои члены! — сказал он и снял правую ногу. — Мои любезные оконечности!..» — Тут, — ей-богу, я сама это видела, — отнял он и поставил к стене левую ногу. Колени мои подкосились, но я смотрю. Я смотрю, а он снимает одну руку, вешает ее на гвоздь, снимает другую руку, кладет ее этак небрежно, и... и...

— Ну?! — подхватили слушатели.

— И преспокойно снимает с себя голову! Вот так! Бряк ее на колени!

Здесь, желая изобразить ужасный момент, рассказчица схватила себя за голову, вытаращив глаза, а затем, с видом изнеможения, вызванного тяжелым воспоминанием, картинно уронила руки и откинулась, переводя дух.

— Ну, уж это ты врешь, — сказал повар, интерес которого к повествованию заметно упал, как только горничная лишила нищего второй руки. — Чем же он снял голову, если у него не было рук?

Горничная обвела его ледяными глазами.

— Я давно замечаю, — хлестко возразила она, — что вы ведете себя как азиатский паша, не имея капельки уважения к женщине. Кто вбил вам в голову, что старик был без рук? Я же говорю, что руки у него были.

Ум повара помутился; бессильно махнул он рукой и плюнул. В этот момент вошел, смотря поверх огромных очков, человек в переднике и войлочных туфлях. Это был коридорный с верхнего этажа.

— Странное дело, — сказал он, ни к кому в отдельности не обращаясь, но обводя всех по очереди мрачным, нездешним взглядом. — Что? Я говорю, что это странное дело, как и доложил я о том ночью же управляющему.

Наступила вязкая пауза.

— Какое же это странное дело? — спросил лакей.

— Как вспомню, — мороз подирает, — сказал коридорный, когда новая пауза достигла неприятных размеров. — Слушайте. Сегодня, во втором часу ночи, почистив все сапоги, проходил я мимо 137-го и, заметив, что дверь не заперта, а притворена, — постучал; не за делом, а так. Мало ли что может быть. Было там тихо. Я вошел, убедился, что жильца нет, запер ключом дверь, а ключ положил в карман, потом повесил его на доску. После того как я задержался наверху минут пять, снова пошел вниз и, как дорога моя была мимо того же 137-го, увидел, что дверная ручка качнулась. Кто-то изнутри пробовал отворить дверь. Я тихо подошел к ней и замер, — еще раз дернулась ручка, затем раздались шаги. Тут я заглянул в скважину. В передней был свет, и я увидел спину отходящего человека. У портьеры, отведа ее, он остановился и повернулся, — но это был не чужой, а тот самый Айшер, что там живет. Минут через пять, не больше, он взвошел в коридор по лестнице, снял ключ и попал к себе.

Изложив эти обстоятельства, коридорный вновь по очереди осмотрел широко раскрытые рты и прибавил:

— Понимаете?

— Черт побери! — сказал лакей, ехидно взглянув на повара, который на этот раз не закричал «вздор»,

а лишь горько покачал головой над куском бараньего жира. — Как же он мог оказаться у себя дома?

— Если не через балкон, то разве что в образе комара или мухи, — пояснил коридорный, — даже мыши не пролезть в замочную скважину.

— А что сказал управляющий?

Он сказал: «Гм... только, я думаю, не померещилось ли тебе?» Однако я видел, как он с легкостью пробежал наверх, должно быть затем, чтобы посмотреть самому в дырку; а спускался он назад с лицом втрое длиннее, чем оно было.

Тут все стали обсуждать поведение и личность таинственного жильца.

— Он редко бывает дома, — сказал коридорный, причем вспомнил, что Айшер предпочел номер в верхнем этаже, хотя эта комната хуже свободных номеров этажей нижних. Бетси пропела:

— Степенный молодой человек, на редкость кроткий и вежливый; никто еще не слышал от него замечаний, даже когда забудешь пройти по комнате щеткой или, стоя перед зеркалом, помедлишь явиться на звонок.

Никто не знал, чем он занимается, никто не посетил его. Слышали иногда, как он разговаривает сам с собой, или, смотря в книгу, тихо смеется. Бесплезно расставлять ему пепельницы, потому что окурки все равно валяются на полу.

Меж тем лакей как бы впал в транс; все созерцательнее, значительнее и рассеянее становилось его лицо, и все выше возводил он глаза к потолку, где бодро жужжали мухи. Возможно, что эти насекомые сыграли для него роль легендарного Ньютонова яблока, дав разрозненной добыче ума связь кристаллическую; подняв руку, чтобы привлечь внимание, он уставился нахмуренным взглядом в сизый нос повара и слабым голосом, за каким в таких случаях стоит гордая уверенность, что сказанное прозвучит

поразительнее громовых возгласов, медленно произнес:

— А знаете ли вы, кто такой жилец 137-го номера, кто этот человек, попадающий домой без ключа, кто он, именуемый Симеон Айшер? Да, кто он, — знаете вы это? А если не знаете, то желаете знать или не желаете?

Выяснилось, что желают все, но что некоторые недолюбливают, когда человек кривляется, а не говорит прямо.

— Прямо?! — воскликнул лакей. — Так вот! — Он встал, картинно опрокинул стул и, протянув правую руку к сетке для процеживания макарон, крикнул: — Человек, попадающий без ключа! Человек, требующий, чтобы ему непременно отвели верхнее помещение! Человек, о котором никто не знает, кто он такой, — этот человек есть тот, который полетел в цирке!

Раздалось женское «Ах!», и шум изумления заглушил раздражительный протест повара. В эту минуту вбежал тощий мальчуган, издали еще примахивая к себе рукой Бетси и крича: — «Идите скорей, вас требует управляющий».

— По-вашему, все мошенники! — вскричала, убегая с мальчиком, задетая в своих симпатиях, Бетси. — Это, может, вы летаете, а не Айшер!

VIII

В бешенстве человеческих отношений перебрасывается быстрый и тонкий луч холодного света — фонарь полиции. Когда коридорный донес управляющему гостиницей, что изнутри номера 137 дергалась ручка двери, — луч фонаря пристально остановился на лице управляющего и, сверкнув приказательно, позвал к руке, державшей фонарь. Рука издали казалась обыкновенной рукой, в обшлаг с казенными пуговица-

ми, но вблизи выразила всего человека, который владел ею. Ее пальцы были жестки и плоски. Она лежала, как каменная, на углу большого стола. Фонарь исчез, его заменил свет яркой зеленой лампы.

Ночь кончилась; этот свет также исчез, уступив блеску раннего солнца, в котором Бетси предстала пытливым и равнодушным глазам управляющего гостиницей. Он взял резкий тон крайнего неудовольствия:

— Вы обслуживаете верх и так нерадиво, что на вас стали поступать жалобы. Мне это не нравится. Я выслушал неприятные вещи. Приборы не чищены, мебель расставлена неаккуратно, подаете тупые ножи, расплескиваете кофе и чай; приносите мятые салфетки. До сих пор я не делал вам замечаний, считая это простой оплошностью, но сегодня решил наконец покончить с ленью и безобразием.

— Сударь, — сказала пораженная девушка, — извините, я, честное слово, ничего ровно не понимаю. Грех вам, вы так меня обижаете... — Она подняла передник, тыкая им в глаза. — Я так стараюсь, не покладая рук, что не имею для себя свободной минуты. Вам, должно быть, насплетничали. Кто вам жаловался? Кто? Кто?

— Кто бы ни жаловался, — почтенным жильцам я верю и ваши выкрики считаю истерикой. Не трудитесь оправдываться. Впрочем, я придумал взыскание, которое одновременно проучит вас и даст мне возможность убедиться, верны ли жалобы. С этого часа, прежде чем разнести что-либо по номерам, извольте показать мне приборы, кушанья и напитки: я сам посмотрю, так ли вы делаете то, что надо делать; а затем, прекращая наш разговор, предупреждаю, что в следующий раз вы дешево не отделаетесь.

Горничная вышла с тяжелым сердцем, в слезах и горьком недоумении, по-своему объясняя придирку.

«Он приставал ко мне, — решила она, — перещипал мне все руки, но без толку и теперь мстит; будь он, однако, проклят, — я понесу ему на осмотр не только приборы, а все ковры, и так трягну перед его носом, что он съест фунтов пять пыли».

Простодушно изобличив, таким образом, свои отношения к коврам, она поднялась вверх, преследуемая звонками. На сигнальной доске выпали три номера и меж ними номер 137; осмотрев цифры, Бетси ощутила легкую, полную любопытства жуть, навеянную кухонной болтовней. Два жильца потребовали счет и извозчика; голос 137-го номера, осведомившись сквозь портьеру который час, сообщил, что еще не одет, попросил кофе и рюмку ликера; затем Айшер зевнул.

«Ты, что ли, жаловался? — подумала Бетси, припоминая, как вчера убирала номер несколько второпях, — фальшивая душа, если обращаешься, словно ни в чем не бывало; хорошо, я покажу тебе, как умею отвечать с достоинством».

Воспоминание о еще некоторых грешках внушило ее подозрению стальную уверенность.

«Все-таки он красив и кроток, как ангел; на первый раз, может быть, надо его простить».

И она, тоном насильственного оживления, в котором, по ее мнению, проглядывал скорбный упрек, ответила, что на часах половина восьмого, что каждый одевается, когда хочет, а кофе она принесет немедленно.

— Прекрасно, — сказал Айшер, — вы, Бетси, не прислуга, а клад. Я очень доволен вами.

Бетси вознамерилась было сказать Айшеру о выговоре управляющего и спросить, не Айшер ли накликал на нее эту беду, но в последних его словах почудилось ей легкое издевательство. Она высунула язык, и, довольная тем, что акт мщения скрыт портьерой, кисло произнесла:

— Я у ж а с н о рада, господин Айшер, если имею удовольствие вам угодить, — и вышла, твердо решив впредь держать сердце назаперти.

Она сошла вниз, где у плиты повар в белом колпаке уже колдовал среди облаков пара. Взяв поднос с кофе, Бетси завернула к буфетчику, капнувшему ей в крошечную, как полевой колокольчик, рюмочку огненного жидкого бархата, и понеслась к управляющему. Она решила наказать его оглушительными ударами в дверь, но, к ее удивлению, управляющий открыл тотчас, едва она стукнула.

— А! — сказал он, окидывая беглым взглядом прибор. — Что это за кислая физиономия? Дайте сюда. Я рассмотрю посуду в свете окна. Подождите. — Он удалился, двигая над кофейником пальцами, словно соля хлеб, и через минуту вышел с улыбкой, передавая поднос горничной. — Ну так помните: опрятность и чистота — лучшее украшение женщины.

Излишне говорить, что сервис, всегда чистый, сверкал теперь ослепительно. Бетси, проворчав: «Наставляйте свою жену», — ушла и отнесла кофе в 137-й номер.

Друд, потягиваясь, прилебывал из белой с золотом чашки. За раздвинутыми занавесями в обольстительной чистоте и свежести раннего утра сверкал перед ним яркий балкон.

«Кажется, довольно быть здесь. Уже что-то заставляет прислушиваться к этим стенам».

Но легкая пыль, поднятая тайной работой, не задела его дыхания, и размышление сосредоточилось на сенсации. Хотя городские газеты обошли дело полным молчанием, он еще не знал этого. Его внутреннее зрение посетило все углы мира. Он видел, как несутся по телеграфным проволокам, в почтовых пакетах, на красных языках и в серых мозгах, пучеглазые, вертлявые вести, пища от нетерпения сбуть себя как можно скорее другой проволоке, другому уму, пакету

и языку, и как, людоеду подобно, жадно глотает их Легенда, окутанная дырявым плащом Путаницы, родной сестры всякой истории.

Гром грянул в обстановке и при условиях, какие неизбежно явятся началом отрицания. Места подобные цирку не слишком авторитетны; любое впечатление платного зрелища во времени и на расстоянии рассматривается как искусственное; улыбка и шутка — вечный его удел. Есть и будут существовать явления, призрачные без повседневности; о них выслушают и поговорят, но если они не повторятся, — веры им не более, как честному слову, однажды уже нарушенному. Событие в цирке, исказив окраску и форму, умрет смутным эхом, растерзанное всевозможными толками на свои составные части, из коих самая главная — человек без крыльев под небом — станет басней минуты, пожертвованной досужему разговору о запредельных натуре человеческой чудесах. И, может быть, лишь какой-нибудь отсталый любитель снов, облаков и птиц задумается над страницей развязного журнала с трепетом легкой грезы, закроет книгу и рассеянно посмотрит вокруг.

«Но, если... — Друд приподнял отяжелевшую голову, устраивая подушку выше, — если я решу жить открыто, с наукой произойдут корчи. Уж я слышу тысячу тысяч докладов, прочитанных в жаркой бане огромных аудиторий. Там постараются внушить резвую мысль, что рассмотренное явление, по существу, согласно со всяческими законами, что оно есть непредвиденный аккорд сил, доступных исследованию. А в тишине кабинета, мужественно обложась горами книг, какой-нибудь растерянный, седой человек, проживший жизнь с гордо поднятой головой, в славе и уважении, станет искать среди страниц извилистую тропу, по которой можно залезть внутрь этого, сожравшего его пропитанную потом систему «аккорда», пока не убедится в тщете усилий и не отмахнется слова-

ми: «Икс. Вне науки. Иллюзия», — подобно досужему остроумцу, доказавшему, что Бонапарта никогда не было.

И перед ним с ясностью напряженного зрения встал круг седобородых мужчин в мантиях и париках, которые, ухватив друг друга за языки, пытались крикнуть нечто решительное. Тогда Друд понял, что засыпает и гибнет, но этот печальный момент раненого сознания тотчас затонул в слабости; с усилием поднял он веки и, повинувшись роковой лени, снова закрыл их. В синей тьме поплыли лучистые пятна; они угасли, и лицо спящего побледнело.

Следствием всего этого было небольшое собрание праздных людей у подъезда гостиницы, откуда четыре санитары вынесли на носилках неподвижное тело, окутанное холстом. Лицо также оставалось закрытым. Управляющий, присутствуя при этой сцене, в ответ на соболезнующие вопросы сказал, что увозят больного, захворавшего неожиданно и тяжело; несчастный лишен сознания.

— Быть может простой нервный припадок, — говорил он. — Я, впрочем, не доктор.

Тем временем больного уложили в карету, служители поместились внутри, а на козлы, к кучеру, сел бледный человек в очках, с серым лицом. Он что-то шепнул кучеру. Тот, взяв полную рысь, заторопил лошадей, и карета, свернув за угол, скользнула к тюрьме.

IX

Вечером следующего дня Руна посетила министра, своего дядю по матери. Уже было одиннадцать, но Дауговет принял ее. Он выразил лишь удивление, что она, любимица, как бы нарочно выбрала такой час с целью сократить его удовольствие.

Она сказала:

— Нет, ваше удовольствие, дядя, может быть, увеличится в связи с тем, что я привезла. — И она рассмеялась, а от смеха засмеялась вся ее красота, равная откровению.

Красота красит и тех, кто созерцает ее; все ее оттенки и светлы вызовут похожие на них чувства, а все вместе взволнует и осчастливит. Но еще неотразимее действует совершенство, когда оно вооружено сознанием своей силы. Только удалясь, можно бороться с ним, но и тогда ему обеспечена часть победы — улыбка задумчивости.

Поэтому, имея в виду все средства для достижения цели, красавица-девушка оделась как на выезд — в блестящее открытое платье, напоминающее летний цветок. Из кружев выходили ее нежные, белые плечи; обнаженные руки дышали плавностью и чистотой очертания; лицо улыбалось. В ее тонких бровях была некая милая вольность или, скорей, нервность линии, что придавало взгляду своеобразное выражение капризной откровенности, как бы говоря постоянно и всем: — «Что делать, если я так невозможно, непозволительно хороша? Примиритесь с этим, помните и простите».

— Дитя, — сказал министр, усаживая ее, — я старик и довожусь родным дядей, но должен сознаться, что за право смотреть на вас глазами, — хотя бы, — Галя охотно и с отвращением вернул бы судьбе свой властный мундир. Жаль, у меня нет таких глаз.

— И я не верю слепым, поэтому заговорю о вашей безошибочной, прочной любви к книгам. Вы не изменили своей привязанности?

Дауговет оживился, что случалось с ним неизменно, если затрагивали этот вопрос.

— Да, да, — сказал он, — меня заботят теперь «Эпитафии» 1748 г., изданные в Мадриде под инициалами Г. Ж.; два экземпляра проданы Верфесту и

Гроссману, я опоздал, хотя относительно одного экземпляра есть надежда: Верфест не прочь от переговоров. Однако, — он взглянул на книгу, которая была с Руной, — не фея ли вы и не драгоценность ли Верфеста с тобой?

Министр переходил на «ты» в тех случаях, когда хотел дать этим понять, что свободно располагает временем.

— Сознаюсь, эту сверхъестественную надежду внушило мне твое торжественное, внутреннее освещение и загадочные слова о радости. Все же иногда жаль, что чудесное существует только в воображении.

— Нет, не «Эпитафии». — Руна мельком взглянула на свою книгу. — Как хотите, то, что мы с вами видели в цирке, есть чудо. Я не понимаю его.

Министр, прежде чем отвечать, помолчал, обдумывая слова, какими мог подчеркнуть свое нежелание говорить об удивительном случае и странной выходке Руны.

— Я не понимаю — что понимать? Кстати, ты испугалась, кажется, больше всех. Откровенно говоря, я жалею, что был в «Солейль». Мне неприятно вспоминать о сценах, которых я был свидетелем. Относительно самого факта, или, как ты выражаешься, — «чуда», я скажу: ухищрения цирковых чародеев не прельщают меня разбором их по существу, к тому же в моем возрасте это опасно. Я, чего доброго, раскрою на ночь Шехерезаду. Очаровательная свежесть старых книг подобна вину. Но что это? Ты несколько похудела, моя милая?

Она вспомнила, что пережила в эти два дня, одержимая желанием найти человека, запевшего под куполом цирка. В напиток, которым она пыталась утолить долгую жажду, этот старик, ее дядя, бросил яд. Поэтому лицемерие Дауговета возмутило ее; прикрыв гнев улыбкой рассеянности, Руна сказала:

— Я похудела, но причина тому вы. Я еще более похудела бы, не будь у меня в руках этой книги.

Министр поднял брови.

— Где ключ к загадкам? Объясни. Я уже делаюсь наполовину серьезен, так как ты тревожишь меня.

Девушка шутя положила веер на его руку.

— Смотрите мне в глаза, дядя. Смотрите внимательно, пока не заметите, что нет во мне желания подурачиться, что я настроена необычно. — Действительно, глаза ее сосредоточенно заблестели, а полуоткрытый рот, тронутый игрой смеха, вздрагивал с кротким и пленительным выражением. — Убедительно ли я говорю? Видите ли вы, что мне хорошо? В таком случае, потрудитесь проверить, способны ли вы вынести удар, потрясение, молнию? Именно — молнию, не потеряв сна и аппетита?

В ее словах, в звонкой неровности ее голоса чудилось торжество оглушительного секрета. Молча смотрел на нее министр, следуя невольной улыбкой всем тонким лучам игры прекрасного лица Руны, с предчувствием, что приступ скрывает нечто значительное. Наконец, ему сообщили ее волнение; он отечески нагнул к ней, сдерживая тревогу.

— Но, боже мой, что? Дай опомниться! Я всегда достаточно владею собой.

— В таком случае, — важно сказала девушка, — что думаете вы о покупке Верфеста? Есть ли надежда «Эпитафиям» засиять в вашей коллекции?

— Милая, если не считать надеждой твои странные вопросы, твою экзальтацию, — нет, нет, почти никакой. Правда, я заинтересовал одного весьма ловкого комиссионера, того самого, который обменял Грею золотой свиток Вед XI столетия на катехизис с пометками Льва VI, уверив владельца, что драгоценная рукопись приносит несчастье ее собственнику, — да, я намагнитил этого посредника вескими обещаниями, но Верфест, кажется, имеет предложения

более выгодные, чем мои. Признаюсь, этот разговор глубоко волнует меня.

— В таком случае, — Руна весело вздохнула, — «Эпитафии» вам придется забыть?

— Как?! Лишь это ты сообщаешь мне, действуя почти страшно?!

— Нет, я раздумываю, не утешит ли вас что-либо равное «Эпитафиям»; что так же, как они, или еще сильнее того манит вас; над чем забылись бы вы, разгладив морщины?

Министр успокоился и воодушевился.

— Так, все ясно мне, — сказал он, — видимо, библиомания — твое очередное увлечение. Хорошо. Но с этого надо было начать. Я назову редкости, так сказать, неподвижные, ибо они составляют фамильное достояние. Истинный, но не всемогущий любитель думает о них с платоническим умилением влюбленного старца. Вот они: «Объяснение и истолкование Апокалипсиса» Нострадамуса, 1500 года, собственность Вейса; «Дон Кихот, великий и непобедимый рыцарь Ламанчский», Сервантеса, Вена, 1652 года, принадлежит Дориану Кемболл; издание целиком сгорело, кроме одного экземпляра. Затем...

Пока он говорил, Руна, склонив голову, задумчиво водила пальцами по обрезу своей книги. Она перебила:

— Что, если бы вам подарили «Объяснение и истолкование Апокалипсиса»? — невинно осведомилась она. — Вам это было бы очень приятно?

Министр рассмеялся.

— Если бы ты, как в сказке, превратилась в фею? — ответил он, ловя себя, однако, на том, что присматривается к рукам Руны, небрежно поворачивающим свою книгу, с суеверным чувством разгоряченного охотника, когда в сумерках тонкий узор куста кажется ветвистой головой затаившегося оленя. — А ты достойна быть феей.

— Да, вернее — я ужилась бы с ней. Но и вы достойны владеть Нострадамусом.

— Не спорю. Дай мне его.

— Возьмите.

И она протянула редкость с простотой человека, передающего собеседнику наскучившую газету.

Министр не понял. Он взял и прищурился на кожаный переплет, затем улыбнулся светлой улыбке Руны.

— Да? Ты это читаешь? А в самом деле, обернись мгновенно сей, надо думать, ученый опыт золотом Нострадамуса, я, пожалуй, окаменел бы на столько времени, на сколько, так некстати, окаменел Лот.

Без подозрения, хотя странно и тяжело сжалось сердце, откинул он переплет и увидел заглавный лист с знаменитой виньеткой, обошедшей все специальные издания и журналы Европы, — виньеткой, в выцветших штрихах которой, стиснутые столетиями, развернулись пружиной и прянули в его мозг вожделения библиофилов всех стран и национальностей. Все вздрогнуло перед ним, руки разжались, том упал на ковер, и он поднял его движениями помешанного, гасящего воображенный огонь.

— Как? — дико закричал Дауговет. — Нострадамус — и без футляра! Но ради всех святых твоей души, — какой джинн похитил для тебя э т о? Боги! Землетрясение! Революция! Солнце упало на голову!

— Гóлову, — спокойно поправила девушка. — Вы обещали не волноваться.

— Если не потеряю рассудок, — сказал ослабевший министр, припадая к сокровищу с помутившимся, бледным лицом, — я больше волноваться не буду. Но неужели Вейс пустил библиотеку с аукциона?

Говоря это, он перенес драгоценность на круглый столик под лампу с бронзовым изображением Геня, целующего Мечту, и опустил свет; затем несколько овладел чувствами. Руна сказала:

— Все это — результат моего извещения Вейсу, что я прекращаю двадцатилетний процесс «Трех Дорог», чем отдаю лес и ферму со всеми ее древностями. Вейс крайне самолюбив. Какое торжество для такого человека, как он! Мне не стоило даже особого труда настаивать на своем условии; условием же был Нострадамус.

Она рассказала, как происходили переговоры — через посредника.

— Безумный, сумасшедший Вейс, — сказал министр, — его отец развелся с женой, чтобы получить первое издание гуттенберговского молитвенника; короче, он променял жену Абстнеру на триста двадцать страниц древнего шрифта и, может быть, поступил хорошо. Но прости мое состояние. Такие дни не часты в человеческой жизни. Я звоню. Ты ужинаешь со мной? Я хочу показать, что происходит в моей душе особенным действием. Вот оно.

Он нажал звонок, вызвал из недр послушания отлично вылощенную фигуру лакея с неподвижным лицом.

— Гратис, я ужинаю дома. Немедленно распорядитесь этим. Ужин и сервиз должны быть совершенно те, при каких я принимал короля; прислуживать будете вы и Вельвет.

Смеясь, он обратился к племяннице:

— Потому что подарок, достойный короля, есть веяние державной власти, и оно тронуло меня твоими руками. А! ты задумчива?.. Да, странный день, странный вечер сегодня. Прекрасно волновать жизнь такими вещами, такими сладкими ударами. И я хотел бы, подражая тебе, свершить нечто равное твоему любому желанию, если только оно у тебя есть.

Руна, опустив руки, молча смотрела в его восторженное лицо.

— Так надо, так хорошо, — произнесла она тихо и странно, с видом вслух думающей, — веяние великой

власти с нами, да будет оно отличено и озарено пышностью. И у меня — вы правы в своем порыве — есть желание; оно не материально; огромно оно, сложно и безрассудно.

— Ну, нет невозможного на земле; скажи мне. Если в отношении его ты не можешь быть Бегуэм, как было с подарком, — я стану лицом к нему, как министр и... Дауговет.

Их глаза ясно и остро встретились.

— Пусть, — сказал министр. — Поговорим за столом.

Х

Так начался ужин в честь короля Книги. Стол был накрыт, как при короле. Гербы, лилии и белые розы покрывали его, на белой атласной скатерти, в полном блеске люстр и канделябров, огни которых, отражаясь на фарфоре и хрустале, оведали зал вихрем золотых искр. Разговор пошел о сильных желаниях, и скоро наступил удобный момент.

— Дядя, — начала Руна, — прикажите удалить слугам. То, что я теперь скажу, не должен слышать никто, кроме вас.

Старик улыбнулся и выполнил ее просьбу.

— Начнем, — сказал он, наливая вино, — хотя, прежде чем открыть мне свое, по-видимому, особенное желание, хорошо подумай и реши, в силах ли я его исполнить. Я министр — это много больше, чем ты, может быть, думаешь, но в моей деятельности не редки случаи, когда именно звание министра препятствует поступить согласно собственному или чужому желанию. Если такие обстоятельства отпадают, я охотно сделаю для тебя все, что могу.

Он оговорился из любви к девушке, отказать которой, во всяком случае, ему было бы трудно и горько, но

Руна показалось уже, что он догадывается о ее замысле. Встревоженная, она рассмеялась.

— Нет, дядя, я сознаю, что своим решительным «нет» уже как бы обязываю вас; однако, беру в свидетели бога, — единственно от вас зависит оказать мне громадную услугу, и нет вам достаточных причин отказать в ней.

Взгляд министра выражал спокойное и осторожное любопытство, но после этих слов стал немного чужим; уже чувствуя нечто весьма серьезное, министр внутренне отдалился, приготовляясь рассматривать и взвешивать всесторонне.

— Я слушаю, Руна, я хочу слышать.

Тогда она заговорила, слегка побледнев от сознания, что силой этого разговора ставит себя вне прошлого, бросая решительную ставку беспощадной игре «общих соображений», бороться с которыми может лишь словами и сердцем.

— Желанию предшествует небольшой рассказ; вам, и вероятно очень скоро, по мере того, как вы начнете догадываться о чем речь, захочется перебить меня, даже п р и к а з а т ь мне остановиться, но я прошу, чего бы вам это ни стоило, — выслушать до конца. Обещайте, что так будет, тогда, в крайнем, в том случае, если ничто не смягчит вас, у меня останется печальное утешение, что я отдала своему желанию все силы души, и я с трепетом вручаю его вам.

Ее волнение передалось и тронуло старика.

— Но, бог мой, — сказал он, — конечно, я выслушаю, что бы то ни было.

Она молча поблагодарила его прелестным движением вспыхнувшего лица.

— Итак, нет более предисловий. Слушайте: вчера моя горничная Лизбет вернулась с интересным рассказом; она ночевала у сестры, — а может быть у друга своего сердца, — о чем нам не пристало доискиваться... в гостинице «Рим»...

Министр слушал с настороженной улыбкой исключительного внимания, его глаза стали еще более чужими: глазами министра.

— Эта гостиница, — продолжала девушка, выговаривая отчетливо и нервно каждое слово, что придавало им особый личный смысл, — находится на людной улице, где много прохожих были свидетелями выноса и поспешного увоза в карете из той гостиницы неизвестного человека, объявленного опасно больным; лицо заболевшего оставалось закрытым. Впрочем, Лизбет знала от сестры его имя; имя это Симеон Айшер, из 137-го номера. Горничная сказала, что Айшер, по глубокому убеждению служащих гостиницы, есть будто бы тот самый загадочный человек, выступление которого поразило зрителей ужасом. Не так легко было понять из ее объяснений, почему Айшера считают тем человеком. Здесь замешана темная история с ключом. Я рассказываю об этом потому, что слухи среди прислуги в связи с загадочной болезнью Айшера возбудили во мне крайнее любопытство. Оно разрослось, когда я узнала, что Айшер за четверть часа до увоза или — согласимся в том — похищения был весел и здоров. Утром он, лежа в постели, пил кофе, почему-то предварительно исследованный управляющим гостиницей под предлогом, что прислуга нечистоплотна, и он проверяет, чист ли прибор.

Вечером вчера ко мне привели человека, указанного одним знакомым как некую скромную знаменитость всех частных агентурных контор, — его имя я скрою из благодарности. Он взял много, но зато глубокой уже ночью доставил все справки. Как удалось ему получить их — это его секрет; по справкам и сличению времени мне стало ясно, что больной, вывезенный из гостиницы половина восьмого утра и арестованный, посаженный в тайное отделение тюрьмы около девяти, — одно и то же лицо. Это л и ц о, последовательно превратясь из здорового в больного, а из больного в сек-

ретного узника, было передано тюремной администрации в том же бессознательном состоянии, причем комендант тюрьмы получил относительно своего пленника совершенно исключительные инструкции, узнать содержание которых, однако, не удалось.

Итак, дядя, ошибки нет. Мы говорим о летающем человеке, схваченном по неизвестной причине, и я прошу вас эту причину мне объяснить. Смутно и, быть может, неполно я догадываюсь о существовании дела, но, допуская причину реальную, то есть неизвестное мне преступление, я желала бы знать все. Кроме того, я прошу вас нарушить весь ход государственной машины, разрешив мне, тайно или явно — как хотите, как возможно, как терпимо и допустимо — посетить заключенного. Теперь все. Но, дядя, — я вижу, я понимаю ваше лицо, — ответьте мне не сурово. Я еще не все сказала вам; это несказанное — о себе; я пока стиснута ожиданием ответа и ваших неизбежных вопросов; спрашивайте, мне будет легче, так как лишь понимание и сочувствие дадут некоторое спокойствие; иначе едва ли удастся мне объяснить мое состояние. Минуту, одну минуту молчания!

Минуту... Но прошло может быть пять минут, прежде чем министр вернулся из страшной дали холодного ослепительного гнева, в которую отбросило его это признание, заключенное столь ошеломительной просьбой. Он смотрел в стол, пытаясь удержать нервную дрожь рук и лица, не смея заговорить, стараясь побороть припадок бешенства, тем более ужасный, что он протекал молча. Наконец, ломая себя, министр выпил залпом стакан воды и, прямо посмотрев на племянницу, сказал с мертвой улыбкой:

— Вы кончили?

— Да, — она слабо кивнула. — О, не смотрите на меня так...

— Надо обратить о с о б е н н о е внимание на все частные конторы, агентства; на все эти шайки самоявленных следопытов. Довольно. Нас хватают за горло. Я истреблю их! Руна, мои соображения в деле Айшера таковы! Будьте внимательны. Суть явления непостижима: ставим X, но, быть может, самый большой с тех пор, как человек н е л е т а е т. Речь, конечно, не о бензине; бензин контролируется бензином. Я говорю о силе, способности Айшера; здесь нет контроля. Но никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости, в чем бы явления эти ни заключались. Отбрасывая примеры и законы, займемся делом по существу.

Кто он — мы не знаем. Его цели нам неизвестны. Но известны его возможности. Взгляните мысленно сверху на все, что мы привыкли видеть в горизонтальной проекции. Вам откроется внутренность фортов, доков, гаваней, казарм, артиллерийских заводов — всех ограждений, возводимых государством, всех построек, планов, соображений, численностей и расчетов; здесь нет уже тайн и гарантий. Я беру — предположительно — злую волю, так как добрая доказана быть не может. В таких условиях преступление превосходит всякие вероятия. Кроме опасностей, указанных мной, нет никому и ничему защиты; неуловимый Некто может распоряжаться судьбой, жизнью и собственностью всех без исключения, рискуя лишь, в крайнем случае, лишним передвижением.

Явление это подлежит беспощадному карантину, быть может — уничтожению. Во всем есть, однако, сторона еще более важная. Это — состояние общества. Наука, совершив круг, по черте которого частью разрешены, частью грубо рассечены, ради свободного движения умов, труднейшие вопросы нашего времени, вернула религию к ее первобытному состоянию — уделу простых душ; безверие стало столь плоским, общим, обиходным явлением, что утратило всякий отте-

нок мысли, ранее придававшей ему по крайней мере характер восстания; короче говоря, безверие — это жизнь. Но, взвесив и разложив все, что было тому доступно, наука вновь подошла к силам, недоступным исследованию, ибо они — в корне, в своей сущности — Ничто, давшее Все. Предоставим простецам называть их «энергией» или любым другим словом, играющим роль резинового мяча, которым они пытаются пробить гранитную скалу...

Говоря, он обдумывал в то же время все обстоятельства странного отступления в деле Айшера, вызванного просьбой девушки. Мысленно он решил уже позволить Руне это свидание, но решил также дополнить позволение тайной инструкцией коменданту, которая придавала бы всему характер эксцентричной необходимости, имеющей государственное значение; он сам надеялся узнать таким путем кое-что, что-нибудь, если не все.

— ...гранитную скалу. Глубоко важно то, что религия и наука сошлись вновь на том месте, с какого первоначально удалились в разные стороны; вернее, религия поджидала здесь науку, и они смотрят теперь друг другу в лицо.

Представим же, что произойдет, если в напряженно ожидающую пустоту современной души грянет этот образ, это потрясающее диво: человек, летящий над городами вопреки всем законам природы, уличая их в каком-то чудовищном, тысячелетнем вранье. Легко сказать, что ученый мир кинется в атаку и все объяснит. Никакое объяснение не уничтожит сверхъестественной картинности зрелища. Оно создаст легковоспламеняющуюся атмосферу мыслей и чувств, подобную экстатическим настроениям Крестовых походов. Здесь возможна религиозная спекуляция в гигантском масштабе. Волнение, вызванное ею, может разразиться последствиями катастрофическими. Все партии, каждая на свой манер, используют этого Айшера, приво-

дя к столкновению тьму самых противоречивых интересов. Возникнут или оживут секты; увлечение небывалым откроет шлюзы неудержимой фантазии всякого рода; легенды, поверья, слухи, предсказания и пророчества смешают все карты государственного пасьянса, имя которому — Равновесие. Я думаю, что сказал достаточно о том, почему этот человек лишен свободы. Поговорим о твоём желании; объясни мне его.

— Оно сродни вашей любви к редкой книге. Все необычайное привлекает меня. Был человек, который покупал эхо, — он покупал местности, где раздавалось многократное, отчетливое, красивое эхо. Я хочу видеть Айшера и говорить с ним по причине не менее сильной, чем те, какие заставляют искать любви или совершить подвиг. Это — вне рассудка; оно в душе и только в душе, — как иначе объяснить вам? Это — я. Допустите, что живет человек, который никогда не слышал слова «океан», никогда не видел его, никогда не подозревал о существовании этой синей страны. Ему сказали: «есть океан, он здесь, рядом; пройди мимо, и ты увидишь его». Что удержало бы в тот момент этого человека?

— Довольно, — сказал министр, — твое волнение искренно, а слова достойны тебя. Разрешение я даю, но ставлю два условия: молчание о нашей беседе и срок не более получаса; если нет возражений, я немедленно напишу приказ, который отвезешь ты.

— Боже мой! — сказала она, смеясь, вскакивая и обнимая его. — Мне ли ставить условия? Я на все согласна. Скорее пишите. Уже глубокая ночь. Я еду немедленно.

Министр написал пространное, подробное приказание, запечатал, передал Руне, и она, не теряя времени, поехала, как во сне, в тюрьму.

ХІ

Ту ночь, когда Друд всколыхнул тайные воды людских душ, Руна провела в острой бессоннице. К утру уже не помнила она, что делала до того часа, когда просветлев от зари, город возобновил движение. Казалось ей, что она ходила в озаренных пустых залах, без цели, без размышления, в том состоянии, когда мысли возникают произвольно, без усилий и плана, отражая пожар огромного впечатления, как брошенный с крутизны камень, сталкивая и увлекая другие камни, чужд уже движению швырнувшей его руки, низвергаясь лавиной. В сердце ее возникла цель, показавшая за одну ночь все ее силы, донныне не обнаруженные, поразившие ее самое и легко двинувшие такие тяжести, о которых она не знала и понаслышке. Так, часто по незнанию, человек долго стоит спиной к тайно-желанному: кажется со стороны, что он дремлет или развлекает себя мелкими наблюдениями, но, внезапно повернув голову и задрожав, приветствует криком восторга чудесную близость сокровища, а затем, сосредоточив все возбуждение внутри себя, стремительно овладевает добычей. Она жила уже непобедимым видением, путающим все числа судьбы.

Подъезжая к тюрьме, Руна с изумлением вспомнила, что сделала за эти двадцать четыре часа. Она не устала; хоть лошади несли быстро, ей непрерывно хотелось привстать, податься вперед: это как бы, так ей казалось, прищпоривает движение. Она доехала в пятнадцать минут.

«Так вот — тюрьма!» Здесь, на глухой площади бродили тени собак; фонари черных ворот, стиснутых башенками, озаряли решетчатое окошко, в котором показались усы и лакированный козырек. Долго гремел замок; по сложному, мертвому гулу его казалось, что раз в тысячу лет открываются эти ворота, обитые дюй-

мовым железом. Она прошла в них с чувством Роланда, рассекающего скалу. Сторож, откинув клеенчатый капюшон плаща, повел ее огромным двором; впереди тускло блестели окна семи этажей здания, казавшегося горой, усеянной мерцающими кострами.

Дом коменданта стоял среди сада, примыкая к тюрьме. Его окна еще уютно светились, по занавесям скользили тени. Руну провела горничная; видимо, пораженная таким небывалым явлением в поздний час, она, открыв дверь приемной, почти швырнула посетительнице стул и порывисто унеслась с письмом в дальние комнаты, откуда проникал легкий шум, полный мирного оживления, смеха и восклицаний. Там комендант отдыхал в семейном кругу.

Он вышел тотчас, едва дочитал письмо. С прозорливостью крайнего душевного напряжения Руна увидела, что говорит с механизмом, действующим н е у к о с н и т е л ь н о, но механизмом крупным, меж колес которого можно ввести тепло руки без боязни пораниться. Комендант был громоздок, статен, с проседью над крутым лбом; из его серых глаз высматривали солдат и ребенок.

Увидев Руну, он подавил волнение любопытства чувством служебной позиции, которую занимал. Несколькими как бы вскользь, смутясь, он завел огромной ладонью усы в рот, выпустил их, крикнул и ровным, густым голосом произнес:

— Мною получено приказание. Согласно ему, я должен немедленно сопровождать вас в камеру пятьдесят три. Свидание как вам верно сообщено уже господином министром, имеет произойти в моем присутствии.

— Этого я не знала. — Сраженная, Руна села, внезапно почувствовав такой прилив настойчивого отчаяния, что мгновенно вскочила, собираясь с духом и мыслями. — Я вас прошу разрешить мне пройти одной.

— Но я не могу, — сказал комендант, неприятно потревоженный в простой схеме своих движений. — Я не могу, — строго повторил он.

Бледнея, девушка тихо улыбнулась.

— Тогда я вынуждена говорить с вами подробнее. Ваше присутствие исказит мой разговор с Айшером; исчезнет весь смысл посещения. Он и я — мы знаем друг друга. Вы поняли?

Она хотела, говоря так, лишь вызвать туманную мысль о ее личном страдании. Но странным образом смысл этой тирады совпал односторонне направленному уму коменданта с желанием министра.

— Я понял, да. — Не желая дальше распространяться об этом, из боязни перейти границы официальные, он тем не менее заглянул снова в письмо и сказал: — Вы думаете, что таким путем... — и, помолчав, добавил: — Объясните, так как я не совсем понял.

Но этого было Руне довольно. Из глубокой тени двусмысленности мгновенно скакнула к ней прозрачайшая догадка. Она вспыхнула, как мак, что, между прочим, укрепило коменданта в его к ней, почтительно и глубоко затаенном, презрении; ей же принесло боль и радость. Она продолжала, опуская глаза:

— Так будет лучше.

Комендант, раздумывая, смотрел на нее с сознанием, что она права; по отношению же к скупости ее объяснений остался в простоте души совершенно уверен, что, не считая его тупицей, она предоставляет понимать с полуслова. Пока он размышлял, она повторила просьбу и, заметив, как растерянно пожал комендант плечами, прибавила:

— Останется между нами. Положение исключительно; не большее исключение совершите вы.

Хотя письмо министра устраняло всякие подозрения, комендант еще колебался, удерживаемый формальной добросовестностью по отношению к словам письма «в вашем присутствии». Его лично тяготила та-

кая обязанность, и он подумал, что хорошо бы отделаться от навязанного ему положения, тем более, что, видимо, не было никакого риска. Однако не эти соображения дали толчок его душе. Н е ч т о между нашими действиями и намерениями, подобное отводящей удар руке, оказало решительное влияние на его волю. Разно именуется эта произвольная черта: «что-то толкнуло», «дух момента», «сам не знаю, почему так произошло» — вот выражения, какими изображаем мы лицо могущественного советчика, действующего в отношениях наших неуловимыми средствами, тем более разительными, когда действуют они противу всех доводов рассудка и чувства, чего в данном случае не было.

Он подумал еще, еще, и наконец, приняв решение, более не колебался:

— Если вы дадите мне слово... — сказал он. — Извините меня, но, как ответственное лицо, я обязан говорить так, — если вы дадите мне слово, что не употребите никаким образом во зло мое доверие, я оставлю вас в камере на указанный письмом срок.

С минуту, не меньше, смотрела она на него прямо и твердо, и тяжелая пауза эта придавала ее словам весь вес, всю значительность нравственной борьбы, что комендант понял как изумление. Она не опустила глаз, не изменилось ее чудное лицо, когда он услышал глубокий и гордый голос:

— В этом я даю слово. — Она не сознавала сама, чего стоило ей сказать так, лишь показалось, что внутри, будто от взрыва, обрушилось стройное здание чистоты, но над дымом и грязью блеснул чистый огонь жертвы.

— В таком случае, — сказал после короткого молчания комендант, — прошу вас следовать за мной.

Он надел фуражку и направился через дверь, противоположную той, в какую вошла Руна. Они вышли в поворот ярко освещенного коридора; он был прям, длинен, как улица, прохладен и гулок. В его конце была

решетчатая, железная дверь; часовой, зорко блеснув глазами, двинул ключом; звук металла прогремел в безднах огромного здания грозным эхом. За этой дверью высился, сквозь все семь этажей, узкий пролет; по этажам с каждой стороны тянулись панели, ограждаемые железом перил. На равном расстоянии друг от друга панели соединялись стальными винтовыми лесенками, дающими сообщение этажам. Ряды дверей одиночных камер тянулись вдоль каждой галереи; все вместе казалось внутренностью гигантских сот, озаренной неподвижным электрическим светом. По панелям бесшумно расхаживали или, стоя на соединительных мостиках, смотрели вниз часовые. На головокружительной высоте стеклянного потолка сияли дуговые фонари; множество меньших ламп сверкало по стенам между дверей.

Руна никогда раньше не бывала в тюрьме; тюрьма уже давила ее. Все поражало, все приводило здесь к молчанию и тоске; эта чистота и отчетливость беспощадно ломали все мысли, кроме одной: «тюрьма». Асфальтовые, ярко натертые панели блестели, как лужи; медь поручней, белая и серая краска стен были вычищены и вымыты безукоризненно: роскошь отчаяния, рассчитанного на долгие годы. Она живо представила, что ей не уйти отсюда; кровь стукнула, а ноги потяжелели.

— Это не так близко, — сказал комендант, — еще столько же осталось внизу, — и он подошел к повороту; открылась галерея, подобная пройденной. По ее середине крутая спираль стального трапа вела в нижний этаж. Здесь они прошли под сводчатым потолком подвального этажа к самому концу здания, где, за аркой, в поперечном делении коридора были так называемые «секретные» камеры. У одной из них комендант круто остановился. Завидя его, от окна с табурета поднялся вооруженный часовой; он взял руку под козырек и отрапортовал.

— Откройте 53-й, — сказал комендант.

С суетливостью, избличавшей крайнее, но молчаливое изумление, часовой привел в движение ключ и замок. Затем он оттянул тяжелую дверь.

— Пожалуйте, — обратился комендант к Руне, пропуская ее вперед; она и он вошли, и дверь плотно закрылась.

Руна видела обстановку камеры, но не признавала ее, а припомнила лишь потом. На кровати, опустив голову, сидел человек. Его ноги и руки были в кандалах; крепкая стальная цепь шла от железного пояса, запертого на талии, к кольцу стены.

— Что же, меня хотят показывать любопытным? — сказал Друд, вставая и гремя цепью. — Пусть смотрят.

— Вам разрешено свидание в чрезвычайных условиях. Дама пробудет здесь двадцать минут. Такова воля высшей власти.

— Вот как! Посмотрим. — Лицо Друда, смотревшего на Руна, выражало досаду. — Посмотрим, на что еще вы способны.

Комендант смутился; он мельком взглянул на бледное лицо Руны, ответившей ему взглядом спокойного непонимания. Но он понял уже, что Друд не знает ее. В нем прянули подозрения.

— Я вижу, вы не узнаете меня, — значительно и свободно произнесла Руна, улыбнувшись так безмятежно, что едва скрыл улыбку и комендант, уступив самообладанию. — Но этот свет... — Она вышла на середину камеры, откинув кружево покрывала. — Теперь вы узнали? Да, я — Руна Бегуэм.

Друд понял, но из осторожности не сказал ничего, лишь, кивнув, сжал вздрогнувшую холодную руку. Камень кольца нажал его ладонь. Комендант, сухо поклонясь девушке, направился к двери; на пороге он задержался:

— Я предупреждаю вас, 53-й, что вы не должны пользоваться кратким преимуществом положения ни для каких целей, нарушающих тюремный устав. В противном случае будут приняты еще более строгие меры вашего содержания.

— Да, я не убегу за эти двадцать минут, — сказал Друд. — Мы понимаем друг друга.

Комендант молча посмотрел на него, крикнул и вышел. Дверь плотно закрылась.

Теперь девушка, без помехи, в двух шагах от себя могла рассматривать человека, внушившего ей великую мечту. Он был в арестантском костюме из грубой полосатой фланели; спутанные волосы имели заспанный вид; лицо похудело. Глубоко ушли глаза; в них пряталась тень, прикрывающая непостижимое мерцание огромных зрачков, в которых, казалось, движется бесконечная толпа, или ходит, ворочая валами, море, или просыпается к ночной жизни пустыня. Эти глаза наваливали смотрящему впечатления, не имеющие ни имени, ни меры. Так, может быть, смотрит кролик в глаза льва или ребенок — на лицо взрослого. Руну охватил холод, но гибкая душа женщины скоро оправилась. Однако все время свидания она чувствовала себя как бы под огромным колоколом в оглушительной власти его вибрации.

— Глухая ночь, — сказал Друд. — Вы, — здесь, — по разрешению? Кто вы? Зачем?

— Будем говорить тише. У нас мало времени. Не спрашивайте, я скажу сама все.

— Но я вам еще не верю, — Друд покачал головой. — Все это необыкновенно. Вы слишком красивы. Быть может, мне устраивают ловушку. Какую? В чем? Я не знаю. Люди изобретательны. Но — торопитесь говорить; я не хочу давать вам времени для тайных соображений лжи.

— Лжи нет. Я искренна. Я хочу сделать вас снова свободным.

— Свободным, — сказал Друд, переступая к ней, сколько позволяла цепь. — Вы употребили не то слово. Я свободен всегда, даже здесь. — Беззвучно шевеля губами, он что-то обдумывал. — Но здесь я больше не хочу быть. Меня усыпили. Я проснулся — в железе.

— Мне все известно.

— Внимание! Я слушаю вас!

Руна высвободила из складок платья крошечный сверток толщиной в карандаш и разорвала его. Там блеснули два жала, две стальные, тонкие, как стебелек, пилки — совершенство техники, обслуживающей секретные усилия. Эти изделия, закаленные сложным способом, употребляемым в Азии, распиливали сталь с мягкостью древесины, ограничивая дело минутами.

— Их я достала случайно, почти чудом, в последний час, как выехать; лицо, вручившее их, заверило, что нет лучшего инструмента.

Друд взял подарок, смотря на Руну так пристально, что она смутилась.

— Беру, — сказал он, — благодарю — изумлен, — и стало мне хорошо. Кто вы, чудесная гостья?

— Я принадлежу к обществу, сильному связями и богатством; все доступно мне на земле. Я была в цирке. С этого памятного вечера — знайте и разрастите в себе то, что не успею сказать — прошло две ночи; они стоят столетия. Я пришла к вам, как к силе необычайной; судьба привела меня. Я — из тех, кто верит себе. У меня нет мелких планов, тщедушных соображений, нет задних мыслей и хитрости. Вот откровенность... на которую вы вправе рассчитывать. Я хочу узнать вас в нестесненной и подробной беседе, там, где вы мне назначите. Я — одна из сил, вызванных вами к сознанию; оно увлекает; цель еще не ясна, но огромна. Может быть также, что у вас есть цели мне неизвестные: все должно быть сказано в следующей беседе. Для многого у меня сейчас нет выражений и слов. Они явятся. Главное — это знать, где найти вас.

Она разгорелась, — медленно, изнутри, — как облако, уступающее, мгновение за мгновением, блеску солнца. Ее красота нашла теперь высшее свое выражение, — в позе, девственно-смелом взгляде и голосе, звучащем неотразимо. Казалось, пронеслись образы поэмы, выслушанной в мрачном уединении; все тоньше, все лучезарнее овладевают они душой, покоряя ее яркому воплощению прелестных тайн духа и тела; и Друд сознал, что в том мире, который покинул он для мира иного, не встречалось ему более гармонической силы женского ликования.

Снова хотела она заговорить, но Друд остановил ее взмахом скованных рук.

— Тогда это вы, — уверенно сказал он, — вы — и никто другой, крикнули мне. Я не расслышал слов. Руна Бегуэм — женщина, несущая освобождение с такой смелостью, может потребовать за это все, даже жизнь. Хотя есть нечто более важное. Но время уходит. Мы встретимся. Я утром исчезну, а вечером буду у вас; эти цепи, делающие меня похожим на пса или буйного сумасшедшего, — единственная помеха, но вы рассекли ее. О! Меня стерегут. Особо приставленный часовой всегда здесь, у двери, с приказом убить, если понадобится. Но — что вы задумали? Одно верно: стоит мне захотеть — а я знаю тот путь, — и человечество пошло бы все разом в страну Цветущих Лучей, отряхивая прошлое с ног своих без единого вздоха.

— Все сделав, узнав все, что нужно, я ухожу, но не оставляю вас. Уходите. Прощайте!

— Бог благословит вас, — сказал Друд, — это вне благодарности, но в сердце моем.

Он улыбнулся, как улыбаются всем лицом, если улыбка переполнила человека. Не в состоянии протянуть одну руку, он протянул обе — связанные и разделенные цепью наручников; обе руки протянула и Руна. Он сжал их, мягко встряхнув, и девушка отошла.

Тут же, — как если бы они угадали срок, — дверь скрипнула и открылась; на пороге встал комендант, пряча часы:

— Время прошло, я провожу вас.

Руна кивнула, вышла и тем же путем вернулась к своему экипажу.

Когда долго смотришь на ярко горящую печь, а затем обращаешь взор к темноте — она хранит запечатленный блеск углей, воздушное их сияние. Отъезжая, среди зданий и улиц Руна не переставала видеть тюрьму.

ХП

Кто бодрствует в спящем доме, сон, окружая его, обволакивает и давит. Этот чужой сон подобен течению, в котором стоит человек, сопротивляющийся силе воды. Оно подталкивает, колышет, манит и увлекает; переступи шаг, и ты уже отнесен несколько. «Они спят, — думает бодрствующий. — Все спят», — зевая, говорит он, и лениво-завистливая мысль эта, повторяясь множество раз представлениями уютной постели, нагнетает оцепенение. Члены тяжелы и чувствительны; движения рассеянны; утомленное сознание бессвязно и ярко бродит — где попало и как попало: то около скрипа подошвы, шума крови в висках, то заведет речь о вечности или причине причин. Голова держится на шее — это становится ясно от ее тяжести, а глаза налиты клеем; хочется задремать, перейти в то любопытное и малоисследованное состояние, когда сон и явь замирают в усилии взаимного сладкого сопротивления.

Стук, взламывающий такое состояние, не говорит ничего уму, только — слуху; если он повторится — дремота уже прозрачнее; в туманно-вопросительном настроении человек настраивает внимание и ждет нового стука. Когда он услышит его — сомнения нет;

это — стук — там или там, некий безусловный акт, требующий ответного действия. Тогда, вздрогнув и зевнув, человек возвращается к бытию.

Тот стук, которому ответил глубокий вздох присевшего на табурет часового, раздался изнутри особо охраняемой камеры. Часовой выпрямился, поправил кожаный пояс с висевшим на нем револьвером и встал. «Может быть, больше не постучит», — отразилось в его сонном лице. Но снова прозвучал стук — легкий и ровный, обезличенный эхом; казалось, стучит из всех точек своих весь коридор. И в стуке этом был интимный оттенок — некое успокоительное подзывание, подобное киванию пальцем.

Часовой, разминаясь, подошел к двери.

— Это вы стучите? Что надо? — сурово спросил он.

Но не сразу послышался, изнутри, ответ; казалось, узник сквозь железо и доски смотрит на часового как в обычной беседе, медля заговорить.

— Часовой! — послышалось наконец, и тень улыбки померещилась часовому. — Ты не спишь? Открой дверное окошко. Как и ты, я тоже не сплю; тебе скучно; так же скучно и мне; меж тем в разговоре у нас скорее побежит время. Оно застряло в этих стенах. Нужно пропустить его сквозь душу и голос да подхлестнуть веселым рассказом. У меня есть что порассказать. Ну же, открой; ты увидишь кое-что приятное для тебя!

Оторопев, часовой с минуту гневно набирал воздух, надеясь разразиться пальбой ярких и грозных слов, но не пошел далее обычной фразеологии, хотя все же повысил голос:

— Не разговаривать! Зачем по пустякам беспокоите? Вы пустяки говорите. Запрещено говорить с вами. Не стучите больше, иначе я донесу старшему дежурному.

Он умолк и насторожился. За дверью громко расхохотался узник, — казалось, рассмеялся он на слова не взрослого, а ребенка.

— Ну, что еще? — спросил часовой.

— Ты много теряешь, братец, — сказал узник. — Я плачу золотом. Любишь ты золото? Вот оно, послушай.

И в камере зазвенело, как будто падали на кучу монет — монеты.

— Открой окошечко; за каждую минуту беседы я буду откладывать тебе золотой. Не хочешь? Как хочешь. Но ты можешь разбогатеть в эту ночь.

Звон стих, и скоро раздалось вновь бархатное глухое бряцание; часовой замер. Наблюдая его лицо со стороны, подумал бы всякий, что, потягивая носом, внюхивается он в некий приятный запах, распространившийся неизвестно откуда. Кровь стукнула ему в голову. Не понимая, изумляясь и раздражаясь, он предостерегающе постучал в дверь ключом, крикнув:

— Эй, берегитесь! В последний раз говорю вам! Если имеете спрятанные деньги — объявите и сдайте; нельзя деньги держать в камере.

Но его голос прозвучал с бессилием монотонного чтения; сладко заныло сердце; рой странных мыслей, подобных маскам, ворвавшимся в напряженно улыбающуюся толпу, смешал настроение. В нем начал засыпать часовой, и хор любопытных голосов, кружа голову, жарко шепнул: «Смотри, слушай, узнай! Смотри, слушай, узнай!» Едва дыша, переступил он на цыпочках несколько раз возле двери в нерешительности, смущении и волнении.

Вновь раздался тот же ровный, мягко овладевающий широко раскрывшей глаза душой, голос узника:

— Надо, ты говоришь, сдать деньги начальству? Но как быть с полным мешком золота? И это золото — не то; не совсем то, каким ты платишь лавочнику. Им можно покупать все и везде. Вот я здесь; заперт и на цепи, как черный злодей, я — заперт, а мое золото всасывает сквозь стены эти чудесные и редкие вещи. Загляни в мое помещение. Его теперь уже труд-

но узнать; устлан коврами пол, огромный стол посреди; на нем — графины, бутылки, кувшины, серебряные кубки и вызолоченные стаканы; на каждом стакане — тонкий узор цветов, взятый как сновидение. Они привезены из Венеции; алое вино обнимается в них с золотыми цветами. На скатерти в серебряных корзинах лежит пухлый как заспанная щека хлеб; вишни и виноград, рыжие апельсины и сливы, подернутые сизым налетом, напоминающим иней. Есть здесь также сыры, налитые золотым маслом, испанские сигары; окорок, с разрезом подобным снегу, тронутому земляничным соком; жареные куры и торт — истинное кружево из сладостей, — залитый шоколадом, — но все смешано, все в беспорядке. Уже целую ночь идет пир, и я — не один здесь. Мое золото всосало и посадило сюда сквозь стены красавиц-девушек; послушай, как звенят их гитары; вот одна звонко смеется! Ей весело — да, она подмигнула мне!

Как издали, тихо прозвенела струна, и часовой вздрогнул. Уже не замечал он, что стоит жарко и тяжело дыша, всем сердцем перешагнув за дверь, откуда долетал смех, рассыпанный среди мелодий невидимых инструментов, наигрывающих что-то волшебное.

— Мать божия, помоги! — трясущимися губами шептал солдат. — Это я очарован; я, значит, пропал!

Но ни заботы, ни страха не принесли ему благочестивые мысли; как чужие возникли и исчезли они.

— Открой же, открой! — прозвучал женский голос, самый звук которого рисовал уже всю прелесть и грацию существа, говорящего так нежно и звонко.

В забвении часовой протянул руку, сбросил засов и, откинув черное окошечко двери, заглянул внутрь. Туман ликующей пестроты залил его; там сияли цветы и лица очаровательные, но что-то мешало ясно рассмотреть камеру, — как бы сквозь газ или туман. Вновь ясно отозвались струны, — выразили любовь, тоску, песню, вошли в душу и связали ее.

— Стой, я сейчас, — сказал часовой, отмыкая дверь трясущейся рукой; но не он сказал это, а тот, кто был убит в нем колесом жизни, — воскресший мертвец — Дитя-Гигант веселой Природы.

— Это вы что делаете? — бормотал часовой, входя. — Это нельзя, я так и быть посижу тут; однако перестаньте буяннить.

Тогда повел он глазами, и тяжело грохнулась на него серая тюремная пустота; — как ветер, разорвав дым, показывает за исчезновением беглых и странных форм обычную перспективу крыш, так часовой вдруг увидел пустую койку, с обрывком цепи над ней и расцвет в железной решетке: — ни души; он был и стоял один.

Нырнув над головой часового в открытую дверь, Друд скользнул под потолком гигантского коридора и, зигзагом огибая углы, пронесся, минуя несколько винтовых лестниц, в главный пролет тюремного корпуса. У него не было плана; он мчался, следуя развертывающейся пустоте. Здесь он посмотрел вверх и нашел выход, выход — вверху, единственный прямой выход Друда. Он взлетел с силой, давшей его движениям ту темную черту в воздухе, какая подобна быстрому взмаху палкой. Часовой третьего этажа присел; на пятом этаже другой часовой отшатнулся и прижался к стене; вся кровь хлынула от его лица в ноги. Они закричали потом. Почти одновременно с судорожными движениями их Друд, закрыв голову руками, пробил стеклянный свод замка, и освещенная крыша его понеслась вниз, угасая и суживаясь по мере того, как он овладевал высотой. Осколки стекла, порхая в озаренную глубину пролета, со звоном раздробились внизу; но быстрее падения стекла беглец был на вышине в двадцать раз большей.

Наконец он остановился, дыша с хрипом и болью, так как сдержал дыхание, без чего провизжавший в

ушах его ветер мог разорвать сердце. Он посмотрел вниз. Немного огней было там — разбросанных, мерцающих, редких; и тьма тихо ступила на них черной ногой.

Друд распилил наручники, затем кандалы и пояс; затем бросил железо. Посвистывая, оно пошло вниз, он же сказал вдогонку: «Ты пригодишься там на заплаты!» Подарок этот, удаляясь со скоростью, возрастающей в арифметической прогрессии, воя и гудя как снаряд, дошел до тюрьмы и раздробил дымовую трубу.

ХIII

Наутро другого дня дрогнули и упали три сердца. Часовой бежал; комендант подал в отставку; министр стиснул, вне себя, руки. Гром раздробил тюрьму.

— Погреб Ауэрбаха, — сказал наконец министр. — Не будет веры тому; тюрьма и так — сказка для многих.

Он рассчитал верно: недоказанное не существует; невероятное, рассказанное солдатами, подтверждает их репутацию, в основе которой издавна лежит суп из топора, а также срубленные в безмерном числе головы неприятеля. Министр, обвиняя Руну, поехал к ней, с ужасом ожидая, как встретятся его глаза с глазами девушки, отныне непостижимой. Но ему сказали, что ее нет; в конце недели она вернется из внезапной поездки.

Когда он отъехал, Руна посмотрела в окно. Его карета, казалось, скользит подавленно и угрюмо среди бешеного движения улиц. С спокойной застывшей совестью Руна отошла от окна и стала играть с собакой.

Этот день она считала днем перелома жизни, ожидая наступления вечера с спокойствием отчетливой цели. Она стала особенно внимательна к себе и окру-

жающему; подолгу смотрела в зеркало, неторопливо выбрала платье; часто, остановясь, в рассеянности рассматривала задевший внимание случайный предмет, как будто хотела ввести его в связь с тем, что переживала. Время от времени ей подавали визитные карточки; она бросала их в бронзовую корзину, отвечая: «Я не совсем здорова». Время тянулось медленно, но ей не было скучно. В будуаре она присела к письменному столу; на углу бумаги, задумавшись, нарисовала лицо, смотрящее с улыбкой из-за решетки. Затем она открыла дневник — золотообрезанный том в рельефных крышках старого серебра и, внимательно перелистав все там написанное, перечеркнула страницы карандашом; на первой же следующей за текстом чистой странице поставила единственную резкую строку: «17-го мая 1887—23 июня 1911 г. — ничего не было».

Тем вывела она за дверь и выбросила всю свою жизнь — от детского лепета до страшного дня в «Солейль» — ради первого ожидания.

День проходил тихо. Так отдавшийся, сидя в лодке, течению, человек спокоен и уронил весла, но движется — и в душе прибыл уже — куда плывет и поворачивает течение; к цели несет оно.

Как смерклось, — после обеда, тронутого ею весьма прихотливо, не в пример жажде, которую она время от времени успокаивала водой и чаем с вином, — лакей подал еще карточку. На этот раз она сказала: «Просите» — без беспокойства, но с напряжением, выраженным улыбкой.

XIV

Лакей ввел коменданта.

Еще не прошло суток, но его лицо выглядело таким, как если бы он перенес горе. Тяжело, прямыми солдатскими шагами приблизился он, смотря в лицо

Руны, остановясь шагах в пяти от девушки, темные глаза которой по-детски свободно и мягко встретили его появление. Он поклонился, выпрямился, взял поданную руку, автоматически сжал ее, отпустил и сел против хозяйки. Все это проделал он как бы в темпе внутреннего ровного счета.

— Я пришел, — начал он и продолжал громче, — принести безмерную благодарность. — Комендант помолчал. — Все вышло так странно. Но о том не берусь судить. — Встав, он отвесил второй поклон, и невольная, видимо, бессознательная улыбка чрезвычайного довольства сверкнула под полуседыми его усами, — на мгновенье; после чего лицо вновь отвердело, словно улыбнулся он про себя, беседуя сам с собой. — Да, этот день мне не забыть. Вся жизнь, — моя и детей моих, — спасена, устроена, обеспечена. Я могу не служить. Но есть обстоятельство. Я допустил вас к свиданию, б е з м е н я, согласно просьбе вашей, не прося, не требуя ничего. Прошу подтвердить это.

— Но я не понимаю. — Руна свела брови, давая понять легким движением руки, что речь посетителя изумила ее. — Нас не подслушивают, и я прошу говорить ясно. Подтвердить мне легко, — да, благодарю, вы навсегда обязали меня.

— Теперь положение изменилось. Я обязан вам, или если вы не соглашаетесь думать так, скажу, что мы — квиты.

Он разгладил усы, устремил рассеянный взгляд на диадему в волосах Руны и поймал в блеске алмазов отсвет с в о е г о счастья, что снова вдохновило его.

— Произошло это в три часа дня. Я хотел закрыть окно в кабинете; мой взгляд упал на стол, где лежал приказ о лишении меня должности по причине, о которой догадаться нетрудно. Я пять часов пробыл на допросе и очень устал. Что мог я сказать им? Человек пробил крышу и улетел, — но, согласитесь, — какое же это объяснение? Верить сам происшествию не могу и,

считая обстоятельство невыясненным, складываю оружие своего ума. Что объяснить? Как понять? Чему верить? Загадочная история. Простите, я отвлекся. Итак, под бумагой лежал плоский шерстяной мешок, весом тридцать два фунта, полный золотых монет, запечатанных столбиками в белую бумагу синим сургучом. Кроме того, был там замшевый кошель с завалившимися в угол его тремя бриллиантами, весом всего сто десять карат. Не оставляло сомнений, что подарок предназначался мне, так как при нем оказалась записка, — вот она. — Комендант подал, дернув из обшлага небольшой обрывок, на котором, крупно и небрежно написанное, стояло: «Будьте свободны и вы».

Руна прочла, вернула; ее изумление стихло, благодаря верной догадке. Комендант продолжал:

— Так. Это чудо, конечно, из ваших рук. Сто десять карат. Считая стоимость их упавшей ныне, по курсу получаю двести пятьдесят тысяч плюс тридцать пять золотом, всего триста тысяч, то есть почти треть миллиона. Я сделал эти вычисления ночью, так как не спал. Простите мне их. Они есть результат минувших сильных волнений.

— Это не я, — сказала Руна, смеясь и радуясь, что человек счастлив. — Однако знайте, что, не случись этого, я сделала бы для вас все.

Комендант, мигая, пристально посмотрел на нее, улыбнулся, порозовел и протянул руку, с блеском в глазах, заставлявшим думать, что соленая вода есть и в его сердце.

— Извините, что я первый протягиваю вам, даме и девушке, свою руку; это не принято, но мне надо пожать вашу. Я верю всегда, если говорят, смотря прямо в глаза. Я рад, что так. Теперь я совсем спокоен — между нас не было тени.

Она подала руку, но вспомнила свою ложь и отвернула лицо.

— Тень была, — сказала она, — но только во мне. Меж нас не было тени. Прощайте. Лучше нам уж не сказать, чем сказано, — виной хорошему — вы. Идите, будьте счастливы и знайте, что осколки стекла могут стать бриллиантами, если на них взглянет тот, кто ушел так странно от вас.

Гость встал, поднес к губам нервную, душистую руку, повернулся и вышел, как пришел, смотря прямо перед собой. Руна, отведя портьеру, взглядом проводила его. Он скрылся, и она вернулась к себе.

XV

Стемнело, но она не выразила ожидания беспокойством, тоской и не поднималась наверх. Она знала, — знанием, донныне необъяснимым, что Друд явится наверх; знала также, что он уведомит ее о своем появлении каким-то свойственным ему образом. Устав ждать, она села в ярко освещенной гостиной, читая книгу.

Как странно лелеять что-либо еще не наступившее всей правдой души, видя и предвосхищая то в книге, говорящей о постороннем! На тайном языке написана в мгновения те книга, какая бы ни была она; ее текст, пышная и тонкая аргументация и живописное действие спят неподвижно. С в о е плавают по строкам, выжженным напряжением, оставляя зрению линии и скачки знаков, отныне — неведомых. Лишь изредка встанет ясным какое-нибудь одно слово, но тем сильнее кидается прочь стиснутая душа, подобно изменнику, очнувшись для чести. Как то пропадает, то послышится вновь стук часов, так временно может стать внятным текст, но скоро позовет хлынувшая волна тоски откинуться, закрыв глаза, к близкому будущему, призывая его стоном сердцебиения.

Долог такой день и метит он человека вечным клеймом. Читая или, вернее, держа на коленях книгу,

сама же смотря дальше ее, Руна провела так час и другой; на половине же третьего вверху неведомый музыкант начал играть рапсодию; остановился и заиграл вновь. Тогда все вернулось на свое место, ярче сверкнул свет, громче стал уличный шум и, удерживаясь, чтобы не бежать, девушка поднялась наверх.

Из дальней двери выбегал в сумерки на озаренный ковер свет. Свет пересекала тень человека. Руна остановилась, забыв все, что хотела сказать, но, сжав руки, не пошла далее, пока не овладела собой.

Ей скоро удалось это; она вошла, и к ней, всматриваясь, с улыбкой подошел Друд. Он был в черном простом костюме, как человек самый обыкновенный; проще и тверже, чем в первый раз, чувствовала себя девушка, хотя, как и в тюрьме, на границе мира ошеломляющего. Однако в состояниях нам доступных есть спасительная слепая черта, — ничего не видно за ней: туман, от него вбегаем мы в озаренный круг текущего действия.

Друд сказал:

— Не сомневались ли вы? Если меня зовут, я прихожу неизменно; я пришел, зажег свет и играл.

Руна жестом усадила его и медленно опустилась сама, не смотря никуда больше, как только в его глаза, — взглядом ночного путника, отметившего далекий огонь. С невольной и простой силой она сказала:

— Как я ждала, — я, не ждавшая никогда!

— И мы — вместе, — продолжал он, так как это хотела она прибавить. — Руна, я много думал о вас. Оставим не главное; о главном надо говорить сразу, или оно заснет, как волна, политая с корабля маслом. Я пришел узнать и выслушать вас; я ждал этого дня. Да, я ждал его, — с раздумьем повторил он, — потому, что нашел красивую силу. Не должно быть меж нас стеснения; пусть наше внутреннее объятие будет легко. Говорите, я слушаю.

Она встала, протянув руки и бледнея, как от удара; удар прогремел в ней.

— Клянусь, день этот равен для меня воскресению или смерти.

И Галль молнией черкнул по ее душе. Она не понимала еще, что значит внезапно возникший его образ. В ней встало подлинное вдохновение власти — ненасытной, подобной обвалу. В забытьи обратилась она к себе: «Руна! Руна!» — и, прошептав это как богу, села с улыбкой, вырезавшей на чудном ее лице отражение всего состояния.

В этот момент вошел белый водолаз с человечески-ми глазами; устремив их на Друда, он потянул носом, завыл и стал, пятясь, дрожать.

Друд тихо сказал:

— Ложись. Лежи и слушай.

Тогда, словно поняв слова, великан кротко повалился набок меж Руной и ним, свесив язык.

— Я думал о вас много и х о р о ш о, — сказал Друд.

Уже по внешности обычно-спокойная, она рассматривала его лицо; остановилась на беспечной линии рта, решительном выражении подбородка, темных усах, массивном лбе, полном высокой тяжести, и заглянула в глаза, где, темнея и плавясь, стояло недоступное пониманию. Тогда, во время не большее, чем разрыв волоска, все веяния и эхо сказок, которым всегда отдаем мы некую часть нашего существа, — вдруг, с убедительностью близкого крика глянули ей в лицо из страны райских цветов, разукрашенной ангелами и феями, — хором глаз, прекрасных и нежных. Схватив веер, она резко сложила его; свист перламутра отогнал странное состояние. Она сказала:

— Вам нужно овладеть миром. Если этой цели у вас еще нет, — она рано или поздно появится; лучше, если т е п е р ь вы согласитесь со мной. Итак, я представляю: не в цирке или иных случаях, рожденных

капризом, но с полным сознанием великой и легкой цели вы заявите о себе долгим воздушным путешествием, с расчетом поразить и увлечь. Что было в цирке — будет везде. Америка очнется от золота и перекричит всех; Европа помолодеет; иступленно завоюет Азия; дикие племена зажгут священные костры и поклонятся неизвестному. Пойдет гром и гул; станут правилом бессонные ночи, а сумасшедшие в заточении своем начнут бить решетки; взрослые превратятся в детей, а дети будут играть в в а с.

Если теперь, пока ново еще явление, клещи правительств не постеснялись бы раздавить вас, то после двух-трех месяцев всеобщего иступления вы станете под защиту общества. Возникнут надежды безмерные. Им отдадут дань все люди странного уклона души, — во всех сферах и примерах дел человеческих. А вас некоторое время снова не будет видно, пока не разлетится весть, где вы находитесь.

Согласно вашему положению, цели и характеру впечатления, вы должны будете повести образ жизни, действующий на воображение — центральную силу души. Я найду и дам деньги. Комендант знает о вашем богатстве, но оно может оказаться ничтожным. Поэтому гигантский дворец на берегу моря ответит всем ожиданиям. Он должен вмещать толпы, процессии, население целого города, без тесноты и с роскошью, полной светлых красок, — дворец, высокий как небо, с певучей глубиной царственных анфилад.

Тогда начнут к вам идти, чтобы говорить с вами, люди всех стран, рас и национальностей. «Друд» будет звучать, как «воздух», «дыхание». Странники, искатели «смысла» жизни, мечтатели всех видов; скрытные натуры, разочарованные, страдающие сплином или тоской, кандидаты в самоубийцы; неуравновешенные и полубезумные; нежные — с детской религией цветов и птичек, добросовестные ученые; потерпевшие от всяческих бедствий; предприниматели и авантюристы;

изобретатели и прожектеры; попрошайки и нищие, — и женщины, легионы женщин, с пораженным зрением и с взрывом восторгов, которых в жизни обычной им негде выразить. И то будет ваша великая армия.

Одновременно со всем тем у вас появятся сторонники, агенты и капиталы с слепым к вам доверием: самые разнообразные, противоречащие друг другу цели постараются сделать вас точкой опоры. Газеты в погоне за прибылью будут печатать все, — и то, что сообщите им вы, и то, что сочинят другие, превосходя, быть может, нелепостью измышлений весь опыт прежних веков. Вы же напишете книгу, которая будет отпечатана в количестве экземпляров, довольном, чтобы каждая семья человечества читала ее. В той книге вы напишете о себе, всему придав тот смысл, что тайна и условия счастья находятся в воле и руках ваших, — чему поверят все, так как под счастьем разумеют несбыточное.

После этого к вам явится еще больше людей, и вы будете говорить с ними, появляясь внезапно. Самые простые слова ваши произведут не меньшее впечатление, как если бы заговорил каменный сфинкс. И из ничего, из пустой фразы, лишенной непрямого значения, вспыхнут легендарные обещания, катящиеся лавиной, опрокидывая с т а р о е настроение.

С т а р о е настроение говорит: «Игра и упорство». Н о в о е настроение будет выражаться словами: «Чудо и счастье». Так как до сих пор задача счастья не решена доступными средствами, ее захотят решить средствами недоступными, и решение возложат на вас. Меж тем в клѹбах вашего имени, в журналах, газетах и книгах, отмечающих ваш каждый шаг, каждое ваше слово и впечатление, в частных разговорах, соображениях, спорах, вражде и приветственных криках заблудится та беспредметная вера, которую так давно и бездарно ловят посредством систем, заслуживающих лишь грустной улыбки.

Тогда — без динамита, пальбы и сложных мозговых судорог постоянное, ровное сознание разумного чуда — в лице вашем — сделает всякую власть столь шаткой, что при первом же ясно выраженном условии: «я — или они», земля скажет: «ты». Ничто не остановит ее. Она будет думать, что овладевает блестящими крыльями.

Девушка умолкла, вся ликуя и светясь; стальное, но и прекрасное — во всей силе одушевлявших ее гигантских расчетов — выражение не покидало ее лица, но тише, медленнее прозвучали последние слова Руны. Тогда поняла она, что Друд внутренне отвернулся и что ее слова отброшены ей назад, с равной им силой. Ее нервы ломались. Еще не успела она почувствовать всю силу удара, как раздалось резкое и холодное:

— Нет.

Он продолжал:

— Мне следовало остановить вас. Слушайте. Без сомнения, путем некоторых крупных ходов я мог бы поработить всех, но цель эта для меня отвратительна. Она помешает жить. У меня нет честолюбия. Вы спросите — что мне заменяет его? Улыбка. Но страстно я привязан к цветам, морю, путешествиям, животным и птицам; красивым тканям, мрамору, музыке и причудам. Я двигаюсь с быстротой ветра, но люблю также бродить по живописным тропинкам. Охотно я рассматриваю книгу с картинками и доволен, когда, опустясь ночью на пароход, сижу в кают-компании, вызывая недоумение: «Откуда этот, такой?» Но я люблю все. Мне ли тасовать ту старую, истрепанную колоду, что именуется человечеством? Не нравится мне эта игра. Но укажите узор моего мира, и я изъясню вам весь его сложный шифр. Смотрите: там тень; ее отбрасывают угол стола, кресло и перехват портьеры, абрис условного существа человеческих очертаний, но с складкой нездешнего выражения.

Уже завтра, когда тень будет забыта, одна мысль, равная ей и ею рожденная, начнет жить бессмертно, отразив для несосчитанно-малой части будущего некую свою силу, явленную теперь. Розы, что разделяют нас, начинают распускать лепестки, — почему? Недалек рассвет, и им это известно. Перед тем, как проститься, скажу вам, каких я ожидал от вас слов. Вот эти неродившиеся дети, вот их трупики; схороните их: «Возьми меня на руки и покажи мне все — сверху. С тобой мне будет не страшно и хорошо».

Встав, он подошел к окну, смотря, как реет темная предрассветная синева, а звезды, дрожа, готовятся скатиться за горизонт.

— Клянусь, — сказал Друд, — что не чувствую ни зла, ни обиды, но только печаль. Я мог бы любить вас.

— О! — произнесла Руна с выражением столь неизъяснимым, но точным, что он побледнел и быстро повернулся к ней, увидев иное, — холодное, высокомерно поднятое лицо. Ничто не напоминало в ней только что горевшего возбуждения. Казалось, силой чудовищного самообладания мгновенно истребила она самую память о тех минутах, когда жила целью, бывшей, в страсти ее порыва, уже у ее гордой ноги, занесенной встать на вершину вершин. И Друд понял, что они расстались навек; во взгляде девушки, смерившем его мгновением холодного любопытства, было нечто ошеломляющее. Так смотрят на паяца.

Он вздрогнул, замер, потом быстро подошел к ней, взял за руки и принудил встать. Тогда что-то тронулось в ее чертах мучительным и горьким теплом, но скрылось, как искра.

— Смотри же, — сказал Друд, схватывая ее талию. Ее сердце упало, стены двинулись, все повернулось прочь, и, быстро скользнув мимо, отрезал залу массивный очерк окна. — Смотри! — повторил Друд,

крепко прижимая оцепеневшую девушку.— От этого ты уходишь!

Они были среди пышных кустов, — так показалось Руне; на деле же — среди вершин сада, которые вдруг понеслись вниз. Светало; гнев, холод и удивление заставили ее упереться руками в грудь Друда. Она едва не вырвалась, с странным удовольствием ожидая близкой и быстрой смерти, но Друд удержал ее.

— Дурочка! — сурово сказал он. — Ты могла бы рассматривать землю, как чашечку цветка, но вместо того хочешь быть только упрямой гусеницей!

Но шуткой не рассеял он тяжести и быстро пошел вниз, чувствуя, что услышит уже очень немногое.

— Если нет власти здесь, я буду внизу. — С этими словами Руна, оттолкнув Друда, коснулась земли, где, прислонясь к дереву, пересилила дрожь в ногах; затем, не оглядываясь, стала всходить по ступеням террасы. Друд был внизу, смотря вслед.

— Итак? — сказал он.

Девушка обернулась.

— Все или ничего, — сказала она. — Я хочу власти.

— А я, — ответил Друд, — я хочу видеть во всяком зеркале только свое лицо; пусть утро простит тебя.

Он кивнул и исчез. Издалека свет загорался вверху, определяя смутный рисунок похолодевших аллей. Руна еще стояла там же, где остановилась, сказав: «Все». Но это «все» было вокруг нее, неотъемлемое, присущее человеку, чего не понимала она.

Свет выяснился, зажег цветы, позолотил щели занавесей и рассек сумеречную тишину роскошных зал густым блеском первого утреннего огня. Тогда, плача с неподвижным лицом, — медленно бегущие к углам рта крупные слезы казались росой, блещущей на гордом цветке, — девушка написала министру

несколько строк, полных холодного, несколько виноватого радушия. И там значилось, в последней строке:

«Я видела и узнала его. Нет ничего страшного. Не бойтесь; это — мечтатель».

XVI

Два мальчика росли и играли вместе, потом они выросли и расстались, а когда опять встретились — меж ними была целая жизнь.

Один из этих мальчиков, которого теперь мы называем Друд, или «Двойная Звезда», проснувшись среди ночи, подошел к окну, дыша сырым ветром, полыхавшим из тьмы. Внизу, среди тусклого отсвета, рассеянного вокруг башни маяка ее огненной головой, вспыхивая зеленой пеной, текли к черной стене хлещущие свитки валов; вздымаясь у огромного ствола башни, они рушили к ее основанию ливни и водопады с силой пальбы. Во тьме красный или желтый огонь, застилая звезду, указывал движение парохода. Выли, стонали сирены, сообщая моменту оттенок безумия. По левой стороне тьмы светилась пыль огней далекого города.

Если есть боль, зрелище, отвлекая, делает боль неистовее, когда, сломав созерцание, душа вновь сосредоточится на ране своей. Друд отошел от окна. Его душа гнулась и ныла, как спина носильщика под еле-посильным грузом; он страдал, поэтому стал ходить, чтобы не прислушиваться к себе.

Стеббс, сторож Лисского маяка, покончив с фонарем, то есть наполнив лампы сурепным маслом, сошел в нижнее помещение.

— А! — сказал он. — Вы встали!

Друд обернулся, встретив грустными глазами своего товарища детских игр.

— Ты печален, болен быть может? — сказал он, усаживая сторожа на кровать рядом с собой. — Ну, потолкуем как раньше.

— Как раньше? — повторил Стеббс с горестным ударением. — Р а н ь ш е я сажился и слушал, удивлялся, хохотал, проводил ночи без сна, во тьме, распитой после рассказов ваших ярчайшими красками. Пора ужинать. — Он взял из угла дров и присел к камину, раздувая огонь.

Друд перешел к нему, чувствуя себя скверно и виновато. Заметив, что дрова надо поджигать снизу, он ловко установил поленья, и пламя разгорелось.

— Стеббс, — сказал он, — с того дня, как я лежал при смерти, а ты сидел возле меня и капал в ложку сомнительное изобретение доктора Мармадука, прошло много времени, но было мало хороших минут. Давай делать хорошую минуточку. Сядем и закурим, как прежде, индейскую трубку мира.

Сначала скажем про Стеббса, какой он был наружности. Стеббс был невелик ростом, длинноволос; волосы веером лежали на пыльном воротнике старенького мундира; разорванные штаны, из-под которых едва виднелись рыжие носки башмаков, мели своей бахромой пол. Худое лицо, все черты которого стремились вперед, имело острые пунцовые скулы; тщедушный, но широкоплечий, казалось, отразился он, став таким, в кривом зеркале, — из тех, что, подведи к ним верзилу, дают существо сплюснутое. Но у него были прекрасные собачьи глаза.

— Итак: «трубку мира»...

— Где она? — Притворяясь равнодушным, Стеббс медленно осмотрел полки и все углы помещения. — Нашел. Так давно не курил я ее, что из мундштука пахнет кислятиной. А какой табак?

— Возьми в жестяном ящике. Сядь рядом. Стой: не тронь спичек. Что это за книга? В углу?

— Это, — сказал Стеббс, — книжечка довольно серьезная; она сама упала туда.

Друд взял книгу. — «Искусство, как форма общественного движения», — громко прочел он и выдрал из сочинения пук страниц, приговаривая: — Книги этого рода хороши для всего, кроме своей прямой цели, — затем закурил текстом. Покурив, важно вручил он трубку молчавшему Стеббсу. Еще надутый, но уже с счастливой искрой в глазах, Стеббс стал расспрашивать о тюрьме.

— Приходил прокурор, — сказал Друд, смотря в огонь. — Он волновался; задал ряд нелепых вопросов. Я не отвечал; я выгнал его. Еще была... — Друд выпустил сложный клуб дыма. — В общем маяк все-таки хорош, Стеббс, но я завтра уйду.

— Опять, — печально заметил сторож.

— Есть причины, почему я должен развлечься. Веселья, веселья, Стеббс! Ты знаешь уже, какое веселье произошло в цирке. Такое же затеял я в разных местах земли, а ты о том будешь читать в газетах.

— Воображаю! — сказал Стеббс. — Я, в сущности, мало говорю, потому что привык; но, как вспомню, кто вы, подо мной словно загорится стул.

Друд сдвинул брови, улыбку спрятав в усы.

— Солнце не удивляет тебя? — спросил он о ч е н ь серьезно. — А этот удар волны? А ты сам, когда с удивлением, как бы отразясь в глубине собственного же сердца, говоришь: «Я, я, я», — прислушиваешься к непостижимому мгновению этому и собираешь в дырочку твоего зрачка стомильный охват неба и моря, — тогда ты глупо и самодовольно спокоен?

— Ну, ладно, — возразил Стеббс. — А вот что скажите: не полюбили ли вы?

Он произнес эти слова с оттенком такой важной и наивной заботы, что Друд простил его проникательность.

— Едва ли... — пробормотал он, толкая ногой полено. — Но контраст был разителен. Все дело в контрасте. Понял ты что-нибудь?

— Все! — с ужасом прошептал Стеббс. — Кофе готов.

— Довольно об этом; бросил ты писать стихи или нет?

— Нет, — сказал Стеббс с апломбом; глаза его блеснули живо и жадно. Не раз видел он себя в образе чугунного памятника, простирающим вещую руку над солнечной площадью. Но в малой его душе поэзия лежала ничком, ибо негде ей было повернуться. Так, град, рожденный электрическим вихрем, звонко стучит по тамбурину, но тупо по бочке. — Нет. В этом пункте мы разойдемся. Стихи мне стали даваться легче; есть прямо, — не скажу: гениальные, но замечательные строки.

Лишь он заговорил о стихах (писать которые мог по несколько раз в день), с уверенностью, что Друд дразнит его, — так были очевидны Стеббсу их мифические достоинства, — как его скулы замалиновели, голос зазвенел, а руки, вонзаясь в волосы, откинули их вверх страшным кустом.

— Хотите, я прочитаю «Телеграфиста из преисподней»?

— Представь — да, — смеясь, кивнул Друд, — да, и как можно скорее.

С довольным видом Стеббс выгрузил из сундука кипу тетрадей. Перелистывая их, он бормотал: — «Ну... это не отделано...», «в первоначальной редакции», «здесь — недурно», — и тому подобные фразы, имеющие значение приступа. Наконец, он остановился на рукописи, пестрой от клякс.

— Слушайте! — сказал Стеббс.

— Слушаю! — сказал Друд.

Сторож заголосил нараспев:

В ветро-весеннем зное,
Облачась облаком белым,
Покину царство земное
И в подземное сойду смело.

Там — Ад. Там горят свечи
Из человеческого жира;
Живуча там память о встрече
С существом из другого мира.

На моей рыдающей лире
Депешу с берегов Стикса
Шлю тем, кто в подлунном мире
Ищет огневейного Икса.

Гремя подземным раскатом,
Демон...

— Теперь, — сказал Друд, — прочитай другое.
Стеббс послушно остановился.

— Знаю, — кротко заметил он, — вам эта форма
не нравится, а только теперь все пишут так. Какое
же ваше впечатление?

— Никакого.

— Как? Совсем никакого впечатления?

— Да, то есть — в том смысле, какого ты жаждешь. Ты волнуешься, как влюбленный глухонемой. Твои стихи, подобно тупой пиле, дергают душу, не разделяя ее. Творить — это ведь — разделять, вводя свое в массу чужой души. Смотри: читая Мериме, я уже не выну Кармен из ее сверкающего гнезда; оно образовалось неизгладимо; художник рассек душу, вставив алмаз. Чем он успел в том? Тем, что собрал в с е моей души, п о д о б н о е этому стремительному гордому образу, хотя бы это в с е заключалось в мелькании взглядов, рассеянных среди толп, музыкальных воспоминаниях, резьбе орнамента, пейзаже, настроении или сне, — лишь бы п о д о б н о было цыганке Кармен качеством впечатления. Из крошек пекут хлеб. Из песчинок наливается виноград. Айвенго, Агасфер, Квазимодо, Кармен и многие, столь

мраморные, — другие, — сжаты творцом в нивах нашей души. Как стягивается туманность, образуя планету, так растет образ; он крепнет, потягивается, хрустя пальцами, и просыпается к жизни в рассеченной душе нашей, успокоив воображение, бессвязно и мелко томившееся по нем.

Если вставочка, которой ты пишешь, не перо лебедя или орла, — для тебя, Стеббс, если бумага — не живой, нежный и чистый друг, — тоже для тебя, Стеббс, если нет мысли, что все задуманное и исполненное могло бы быть еще стократ совершеннее, чем теперь, — ты можешь заснуть, и сном твоим будет проста я жизнь, творчество божественных сил. А ты скажешь Ему: «под складкой платья твоего пройду и умру; спасибо за все».

Довольно мне сечь тебя. Запомни: «депешу на вдохновенной лире» посылают штабные писаря прачкам. «Живуча» — говорят о кошках. Кроме того, все, что я сказал, ты чувствуешь сам, но не повторишь по неумению и упрямству.

Выслушав это, Стеббс хмуро отложил тетрадь, вымыл кружки, насыпал на закопченный стол сухарей и отковырнул из бочки пласт соленой свинины. Разрубив ее тяжелым ножом, он, обдумав что-то, добродушно расхохотался.

Друд поинтересовался — не его ли безжалостная тирада подействовала так благотворно на пылкое сердце поэта. — Вы угадали, — сказал Стеббс с тихо-победоносным блеском увлажнившихся глаз, — я просто вижу, что в поэзии мало вы понимаете.

— Действительно так; я никогда не писал стихов. А все-таки послушай меня: когда здесь, в этом скворечнике появится улыбающееся женское лицо, оно, с полным пренебрежением к гениальности, отберет у тебя штаны, приштопав к ним все пуговицы, и ты будешь тратить меньше бумаги. Ты будешь закутывать ее на ночь в теплое одеяло и мазать ей на хлеб масло.

Вот что хотел бы я, Стеббс, для тебя. Дай мне еще сахара.

Стеббс было закатил глаза, но вдруг омрачился.

— Женщина губит творчество, — пробормотал он, — эти создания — они вас заберут в руки и слопают. — Отогнав рой белокурых видений, слетевшихся, как мухи на сахар, едва заговорили о них, Стеббс взбодрил пятерней волосы; затем простер руку. — Прислушайтесь! Разве плохо? Гремя подземным раскатом, демон разрывает ущелье; гранитом он и булатом справляет свое новоселье. О, если бы...

— Стой! — сказал Друд; здесь, хлынув в окно с силой внезапной, ветер едва не погасил лампу; фыркнули листы огромной тетради Стеббса и что-то, подобно звуку стихающего камертона, пропело в углу.

— Что так нежно и тонко звенит там? — спросил Друд. — Не арфу ли потерял Эол?

Стеббс сказал:

— Сначала я объясню, потом покажу. В долгие ночные часы придумал и осуществил я машину для услаждения слуха. После Рождества, Нового года, дня рождения и многих иных дней, не столь важных, но имеющих необъяснимое отношение к веселью души, остается много пустых бутылок. Вот посмотрите, зрите: се — роаль Стеббса.

Говоря это, он вытащил из-за занавески вертикально установленную деревянную раму; под ее верхней рейкой висел на проволочках ряд маленьких и больших бутылок; днища их были отпилены. Качаясь в руках Стеббса, это музыкальное сооружение нестройно звенело; взяв палочку, сторож черкнул ею по всему ряду бутылок вправо и влево; раздалась трель, напоминающая тот средний меж смехом и завыванием звук, какой издает нервический человек, если его крепко пощекотать.

— Что же вам сыграть? — сказал Стеббс, выделывая своей палочкой «дринь-дринь» и «ди-ди-до-дон».

Звук был неглубок, тих и приятен, как простая улыбка. — Что же сыграть? Танец, песню или, если хотите, оперную мелодию? Я понемногу расширил свой репертуар до восемнадцати — двадцати вещей; мои любимые мелодии: «Ветер в горах», «Фанданго», «Санта-Лючия» и еще кое-что, например: вальс «Душистый цветок».

— Попробуем «Фанданго», — сказал Друд, оживляясь и усаживаясь на стуле верхом с трубкой в зубах. — Начинай, я же буду насвистывать, таким образом у нас будет флейта, струна и звон.

Перебрасывая палочку среди запевших бутылок быстрой неутомимой рукой, Стеббс начал выводить знаменитую мелодию, полную гордого торжества огненной жизни. Но с первых же тактов свойство инструмента, созданного для лирики, а не для драмы, заставило концертантов отказаться от первого номера.

— Попробуем что-либо другое. — Друд стал свистать тихо, прислушиваясь. — Вот это... — и оно так же звенит в оркестре.

— Посвистите еще, — Стеббс, склонив ухо, понял и уловил мотив. — Ага! На средний регистр.

Он прозвенел палочкой; Друд взял тон, увлеченно насвистывая; то был электризирующий свист гибкого и мягкого тембра. Свистал он великолепно. Стеббс был тоже в ударе. Они играли вальс из «Фауста». Прошла тихая тень Маргариты; ей вслед задумчиво, жестоко и нежно улыбнулся молодой человек в пышном костюме с старой и тщеславной душой.

— А это славно, это хорошо! — вскричал Стеббс, когда они кончили. — Теперь закурим. Что следующее?

Смеясь, болтая и тревожась, как бы Друд не вернулся из тихой страны звона к мрачной рассеянности, он торопливо наигрывал, поддерживая в нем детское желание продолжать спасительную забаву.

Так, переходя от одной вещи к другой, затеяли и разыграли они песенку «Бен-Бельт», которую поет Трильби у Дюмурье; «Далеко, далеко до Типерери»; «Южный Крест»; второй вальс Годара, «Старый фрак» Беранже и «Санта-Лючия».

Меж тем стало светать; первое усилие дня, намечающего свой путь в бурной громаде ночи, окружило желтое пятно лампы серым утренним беспорядком; уже видны были в окно волны и пена. Ветер стихал.

Друд как бы очнулся. Печально посмотрел он вокруг и встал:

— Ну, Стеббс, еще раз, перед тем как расстаться, — «Санта-Лючия».

Стеббс вытер глаза; стекло стало вызванивать:

Ясными звездами море сияет,
Вдаль веет ветер, вглубь увлекает;
К лодкам спешите все — в ночи такие.
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Друд тихо свистал. Уже видел он и то, что сказано во втором куплете:

Море чуть зыблется. Здесь, на просторе,
Как рыбаки, вы все сбросите горе,
И да покинут вас скорби людские...
Санта-Лючия! Санта-Лючия!

Он видел это, и тише становилось в его душе. Когда кончили, хлопнув по плечу Стеббса, Друд сказал:

— Спасибо! Ночь была хороша; сделали мы и хорошую минуту. Прощай!

Затем он оделся, — как одеваются для ветра и холода: сапоги, толстая куртка и шапка с ремнем, проходящим под подбородком. Стеббс, без нужды в том, усердно помогал одеваться; он был совершенно расстроен.

Наконец заря вышла из облаков, рассеяв стальной, белый и алый оттенки на проясневшей воде. Друд подошел к окну. Тогда, плача откровенно и горько, как маленький, Стеббс ухватился за него, оттягивая назад.

— Хотите, я сожгу все тетрадки, если вы останетесь еще на один день? Клянусь, я сделаю это!

Друд, смеясь, обнял его.

— Зачем же, — мягко сказал он. — Нет, Стеббс, я был не совсем прав; играй, стихи — твоя игра. Каждый человек должен играть. — Он двинулся в пустоту, но вернулся, хлопая себя по карману. — Я забыл спички.

Стеббс подал коробку.

— Жди, я вернусь, — сказал Друд.

Он сделал внутреннее усилие, подобное глубокому вздоху, вызванному восторгом, — усилие, относительно которого никогда не мог бы точно сказать, как это удастся ему, и стал удаляться; с руками за спиной, сдвинув и укрепив на тайной опоре ноги. Лицо его было обращено к облачной стране, восходящей над зеленоватым утренним небом. Он не оглядывался. По мере того, как уменьшалась его фигура, плывущая как бы по склону развеянного туманом холма, Стеббс невольно увидел призрачную дорогу, в которой имеющий всегда дело с тяжестью ум человека не может отказать даже независимому явлению. Дорога эта, эфирнее самого воздуха, вилась голубым путем среди шиповника, жимолости и белых акаций, среди теней и переливов невещественных форм, созданных игрой утра. По лучезарному склону восходила она, скрывая свое продолжение в облачных снегах великолепной плывущей страны, где хоры и разливы движений кружатся над землей. И в тех белых массах исчез Друд.

Часть II

УЛЕТАЮЩИЙ ЗВОН

I

Весной следующего года в газетной прессе появились удивительные и странные сообщения. Эти сообщения разрабатывали одно и то же явление, и будь репутация шестой державы немного почтеннее, чем та, какой она пользуется в глазах остальных пяти великих держав света, — факты, рассказанные ее страницами, наверное, возбудили бы интерес чрезмерный. Не было сомнения, что эту сенсацию постигнет обычная судьба двухголовых детей или открытия, как превращать свинец в золото, — что время от времени подается в виде свежего кушанья. Казалось, сами редакторы, тонко изучившие душу читателя, рассматривают монстральный материал свой не выше «Переплывтия Ниагары в бочонке», или «Воскресения замурованной христианки времен Калигулы», печатая его в сборных отделах, с заголовком: «Человек-загадка», «Чудо или галлюцинация», «Невероятное происшествие», и с другими, более или менее снимающими ответственность ярлыками, чем как бы хотели сказать: «Вот, мы умываем руки: кушайте, что дают».

Однако, как сказал некто Э. Б., — «не у всех рыжих одинаковая судьба», и это изречение кстати упомянуть здесь. Десять, пятнадцать, двадцать раз изумлялся читатель, пробегая в разных углах мира строки о неуследимом фантоме, явившемся кому-то из тех, кого не встретили мы, не встретим, и чьи имена — нам — звук слов напрасных; ничего не изменило, не сдвинуло в его жизни им прочитанное и наконец было забыто, только иногда вспоминал он, как тронулась в нем случайным прикосновением редкая струна, какой он не подозревал сам. Что был это за звук? Как ни напрягается память, в тоскливейшем из капризов Причудли-

вого — в глухом мраке снует мысль, бестолково бьется ее челнок, рвется основа, путая узел на узел. Ничего нет. Что же было? Газетный анекдот — и тоска.

Но перебросим мост от нас к тому печатному тексту. Литература фактов вообще самый фантастический из всех существующих рисунков действительности, то же, что глухому оркестр: взад-вперед ходит смычок, надувается щека возле медной трубы, скачет барабанная палка, но нет звуков, хотя видны те движения, какие рождают их. Примем в возражение факты, сущность которых так разительна, что мясо и дух события, иначе говоря — очевидство и проникновение в суть факта, немного прибавят к впечатлению, полученному путем сообщения. Действительно так о й факт возможен. Например, провались в Чикаго двадцатидвухэтажный дом, мы, поставленные о том в известность, внутренне подскочим, хотя скоро уже не будем думать об этом. Что это — так, что факты как факты, даже пропитанные удушливой смолой публицистических и партийных костров, никоим образом не смущают ни жизнь, ни мысль нашу, достаточно вспомнить то хладнокровное внимание, с каким просматриваем мы газету, не помня на другой день, что читали сегодня, а между тем держали в руках не что иное, как трепет, борьбу и жизнь всего мира, предъявленные на манер ресторанного счета.

В этой тираде нашей тщетно было бы искать реформационных потуг или требований безмерных, к кому бы то и к чему бы то ни было. Мы просто отмечаем пустоту, куда не хотим идти. Как, в самом деле, перечислять, где, когда и кто смутился и испугался, кто может быть близорук, а кто — склонен к галлюцинациям на почве неясных слухов?

Как устанавливать и решать, где проходит идеально прямая черта действительного события? Вообще, поиски такого рода — дело специалистов. Однако,

поступив проще, представив себя — в лице многих тех N. и С. — в положении выезжающего сразу из шести ворот Сен-Жермена, можно среди зигзагов и конусов странной корреспонденции увидеть нечто, равное всему общему разбросанного и сборного впечатления; для этого нужно лишь сказать «я». Я иду где-то, замечая тень или человека, скользящего высоко вверху, во всей странности подобного лицемерия; иные формы, иные положения той же встречи смутно выделяются одна из другой в графитовом полусвете сна; и я не знаю — мое ли яркое представление о том вводит всю муть в формы отчетливых сцен, было ли то мне рассказано, или случилось со мной. Быть может, интереснее всего некоторые ошибки, возникшие под влиянием слухов о существовании, не знающем расстояния.

Тот трубочист, которому выпало на долю заразить суеверным страхом нервных прохожих, будет, надо думать, до конца дней помнить захватывающее и глубокое впечатление, произведенное его дымной фигурой на фоне лилового вечернего неба. Он опомнился, когда увидел внизу огромную черную лужу толпы; постепенно смутный хор ее гула разросся в потрясающее смятение, и враг сажи спустился по требованию полиции с крыши шестиэтажного дома вниз, где немедленно стал причиной разочарования, насмешек и оскорблений. Быть может, среди этой толпы был и тот мальчик, фигурный китайский змей которого, дико урча трещоткой над башней ратуши в Эльте, привлек воспламененное внимание охотника Бурико, сразу поклявшегося, что убьет черта двойным зарядом из своей льежской двустволки, опустив предварительный поверх картечных зарядов иглы ежа. Этой клятвы никто не слышал, но два оглушительных выстрела слышали посетители соседней кофейной, с интересом следившие за тем, как, потеряв бечеву, пересеченную дробинкой, змей повертывался и нырял,

подобно игральной карте, над острой крышей сумеречной Эльтской ратуши. То было под вечер, так что никто не видел естественной краски стыда в полном лице грозного Бурико, после того как ему было растолковано его заблуждение. В другом случае задрожал и долго читал молитвы крестьянин, шедший с котомкой на плечах по луговой тропе в окрестностях Нового Рима. Было утро, и над травой летел человек. Трава скрывала велосипед, поэтому крестьянин отшатнулся и ахнул. Вокруг него было так тихо, так много цветов, и так резко промчался неслышный в движении своем человек.

Теперь время упомянуть о том, что за девушкой, севшей в одном из скверов Лисса с книгой в руках, а скромную поклажу свою поместившей на траве рядом, — задумавшись, наблюдал человек особой, — отдельной от всех, — жизни. Он смотрел на это молодое существо так, что она не могла видеть его, не могла даже подозревать о его присутствии. Она только что приехала. С неторопливой, спокойной внимательностью, подобной тому, как рыбаки рассматривают и перебирают узлы петель своей сети, вникал он во все мелочи впечатления, производимого на него девушкой, пока не понял, что перед ним человек, ступивший, не зная о том, в опасный глухой круг. Над хрусталем взвился молоток. И он подошел к ней.

II

Девушка, о которой зашла речь, прибыла в Лисс с ночным поездом. Ей было девятнадцать лет, — почти полных, так как девятнадцать р о в н о должно было прийти на другой день, в десять часов вечера. Не без сожаления вспоминала она об этом: в беспечных условиях день ее рождения мог быть отмечен сладким пирогом и веселым соседством среди подобных

ей девчокообразных подруг с нетерпеливыми и пылкими головами. Между тем на ее объявление в «Лисской газете» последовало письмо Торпа, предлагающее место компаньонки и чтицы.

Париж стоит обедни. Газета ошиблась, тиснув скромное объявление по разряду с м е с и, что, в свою очередь, заставило ошибиться Торпа. — «Как вас зовут?» — спросил юную путешественницу на вокзале приветливый, лысый человек преждевременной дряблости, с вздрагивающей ногой, заинтересованный ее манерой посматривать на маленькие свои ножки в лаковых туфельках, недавно купленных из последнего, — выше хлеба и зрелищ девушка ценила хорошенькую, стройную обувь. — «Тави», — сказала она простосердечно, краснея тем тонким и обаятельно чистым румянцем, какой не продается под золотой пломбой, не вызывается искусственным душевным движением. — «А ваша фамилия?» — Полумесяцем вознеся левую бровь, девушка взглянула на него с сердцем, выпалив «Тум» так, что оно прозвучало, как «Бум», — стальным тоном ясного желания прекратить разговор. «Тра-та-та!» — напевал франт, удаляясь с высоко закинутой головой, а Тави Тум — порешим звать ее просто Т а в и — села ожидать рассвета на мраморную скамью. Закусывая ветчиной с хлебом, читала она «Двух Диан»;¹ к ней подходили комиссионеры, предлагая гостиницы, но, не видя в том надобности, так как уже этим утром должна была поселиться у Торпа, Тави оставалась сидеть среди гула и толпы вокзального здания.

Меж тем один за другим прибывали утренние поезда; волнуясь и переключаясь, путешественники неслись шумным водоворотом; гром экипажей, свистки, звук посуды, разносимой буфетной прислугой, и лязг вагонных сцеплений проникали в высоту сводов

¹ Д ю м а А. Две Дианы. (Примеч. автора.)

отлетающим эхом. Когда Монгомери ухватил нижний конец веревочной лестницы, ведущей на форт Калэ, шум вокзала назойливо покрыл решительное его дыхание; Тави закрыла книгу, вздохнула и осмотрелась.

Застоявшись благодаря туману в недрах ночи, утро осилило наконец мрак. Электрический свет еще распространял свою вездесущую машинную желтизну, но к его застывшему блеску примешивался уже день, отсвечивая на полу и лицах свежим пятном. За окнами из паровоза хлестал пар, рассеиваясь по крышам станционных строений: на сером стекле синие облака и зеленая полоса раннего неба окутывали восход, готовый двинуться над просыпавшимся Лиссом.

Город просыпался, но Тави отчаянно зевала; усталость и улегшееся уже возбуждение приезда обернулись сонливостью. Стараясь очнуться, решила она пройтись по улицам. Как было ей все равно, куда идти, она пошла прямо и скоро заметила небольшой сквер. Здесь, среди дубов, овеивавших лицо сыростью едва пошевеленной листвы, ее душа прояснилась; но не утомительный труд, не жестокую зависимость видела она впереди, а веселую семью, открытый щедрый дом, где как подруга или желанная гостья она будет жить, делая все посильное охотно и беззаботно. Так мечтая, торопилась она опередить время. Ей предстояло три часа в день читать Самуилу Торпу. Его письмо, подробно перечислявшее весьма выгодные условия найма, ничего не говорило о том, почему Торп не любит или не может читать сам; для Тави, любившей книги так, что она их целовала или отшвыривала, сердясь, как на человека, — невозможно было понять странное удовольствие слышать чтение из вторых рук, с чужой интонацией и в определенные часы, как служба или работа. Устав думать о том, Тави хмыкнула, возвращаясь к Монгомери.

Каково лезть на высоту восьмидесяти футов, ночью, по веревочной лестнице, не зная, ждет сверху дружеская рука или удар? Вся трепеща, взбиралась Тави с отважным графом, раскачиваясь и ударяясь о стену форта Калэ. Это происходило бурной ночью, но сквер дымился и сквозил солнечным светом; на верху форта гремели мечи, а по аллее скакали воробьи, самозабвенно треща о всем, что светилося и грело вокруг; потянул теплый ветер; на песке затрепетала тень листьев, и стало невозможно читать; забота о наступающем взяла верх.

В то время как она, сложив книгу, встала, осматриваясь, не увидит ли где открывающиеся двери кафе, к ней подошел человек, смотря так прямо и пристально, что она отступила, но тотчас признала в нем пассажира, севшего ночью на неизвестной станции. Запомнив его лицо, она ничем не отличила его тогда от других сонных фигур, дремавших, облокотясь на саквояж или, стоя в проходе, разговаривавших вполголоса у окна, в дыму сигар. С уверенностью она могла лишь сказать, что он ехал в одном с нею вагоне. С живостью, отличавшей все ее решения и постановления, тотчас нашла она, что неизвестный — вылитый портрет графа Монгомери, и хотя костюм той эпохи и запыленное дорожное пальто неизвестного противоречили ее впечатлению, было ей все же приятно улыбнуться открыто хотя кому-нибудь в чужом городе. Хотя Тави недавно перестала быть девочкой, она знала, как бывает хорошо улыбнуться или сказать что-нибудь с легким чувством, мимолетно, без задней мысли и связи с чем бы то ни было.

— Я вас узнала, узнала, — сказала она, подав руку, — кажется, вы сидели наискосок. Так мрачно. Сам с собой. Что хорошенького?

— Утром хорошо все, — сказал незнакомец. Тави удивилась богатству выражений его лица; они мгновенно, плавно меняясь, располагали внимать и вслуши-

ваться; слова как бы приобретали цвет, форму и тождество с выраженными помощью их явлениями. Ей стало ясно, что «утром хорошо все», и она рассмеялась. — Мое имя — Вениамин Крукс. Не бесцельно я подошел к вам. Вы, по-видимому, здесь одиноки, поэтому я хочу знать, где и у кого вы остановитесь, чтобы быть полезным вам, чем могу. Устроив дела, я тотчас сообщу вам свой адрес. Что бы ни случилось, — я говорю о черных часах, — смело обратитесь ко мне.

Все это Крукс выразил без малейшего замешательства, неторопливо и покойно, как дома. Тави ждала, не прибавит ли он естественного в таком случае извинения; не назовет ли сам свое предложение навязчивостью, однако Вениамин Крукс молчал, ожидая ответа, так непринужденно, что девушка поспешно сказала:

— Ну да. То есть, — я не знаю, что... Разумеется, я вас благодарю, тронута и... еще что? Я все спутала. Меня наняли к Торпу. Самуил Торп живет на улице Виз, 7; я у него должна жить и читать. Извините, что вас задерживаю, но надо же поговорить по душам, раз уж так вышло. Он вызвал меня по объявлению. Не хотелось мне, скажу откровенно, ехать вчера, так как завтра... гм... день моего рождения, если позволите. В этот день я родилась. Между тем были присланы на дорогу деньги. А я — как бы это вам выразить, — праздничку вот как рада, если есть деньги, не пожалю. Поэтому, на что я могла бы ехать после рождения? Таков мой характер. Увы! Почему вы смеетесь?

— О, нет, — медленно проговорил Крукс, — я только улыбнулся воспоминанию. Однажды мне подарили стайку колибри — в белой алюминиевой клетке, полной зелени. Я выпускал их. Эти птички должны быть вам известны по рисункам и книгам. Итак, я выпускал их, смотря, как над современной улицей, с ее треском кофейной мельницы и светом домен-

ной печи, взлетали ночью эти порхающие драгоценности, — маленькие, как феи цветов.

— Неподражаемо! — вскричала Тави. — А слетались они потом к вам?

— Я сзывал их звуком особого свистка, короткой трелью; заслышав сигнал, они возвращались немедленно.

Девушка воодушевилась:

— Вот тоже, — восковые лебеди, пустые внутри, любят, если поводишь магнетизированной палочкой, — они плывут и расходятся, как живые. Это было давно. Мне кто-то подарил их. Я очень любила, бывало, водить палочкой.

Она внутренне поникла, взгрустнув тем уголком души, который следит за нами в прошлом и настоящем.

— Н-да-с, старость не радость, так-то, господин Крукс, а впрочем, все образуется.

— Непременно, — подтвердил он, — желаю вам успеха и твердости. Ваша песенка хороша.

— Тави Тум не поет, — сказала, краснея и улыбаясь, девушка. — Тави Тум может только напевать про себя.

— Но слышно многим. Идите и не оглядывайтесь.

Тави с недоумением покорно повернулась и отошла, кипя желанием оглянуться; хотя стыдно было ей выказать любопытство, но странно произнес Крукс эти слова, — что он хотел сказать? «Не могу», — простонала Тави, — и обернулась.

За решеткой сквера слились тени, белые стены, блеск стекол. Она увидела смутное очертание экипажа, коней; к экипажу подошел Крукс, сел и сказал что-то рукой. Нельзя было рассмотреть ни его лица, ни темного кучера, — сцена эта явилась как бы сквозь задымленное стекло. «Лучи солнца прямо в глаза», — подумала Тави; тогда лошади побежали все быстрее, колеса завертелись, растаяли; растаял

экипаж, Крукс; все исчезло, как бы уничтоженное собственным движением на одном месте, и за решеткой ветерок метнул пыль.

— Это я сплю среди белого дня, — сказала Тави, оторопев и протирая глаза. — Конечно! Глаза уже слиплись. Он ушел, и более ничего. Но, как простенько хорошо может быть от пустякового разговора.

С чувством, что только что была в теплой руке, девушка услышала стук засовов, — то против сквера открылось кафе. Толкнув его дверь, девушка перескочила через полосу сора, подметавшегося сонной прислугой, заняла столик и стала пить чай, просматривая газеты. Она так устала, что просидела здесь в сладком оцепенении больше часа, затем вышла, медленно переходя от витрины к витрине и рассматривая с огромным удовольствием выставленные там вещи, чем самозабвенно увлеклась, и лишь увидев часы с стрелками, готовыми ущемить цифру одиннадцать, встrepенулась, взяла извозчика и поехала к Торпу.

III

Не раз задумывались мы над вопросом, — можно ли назвать м ы с л я м и сверкающую душевную вибрацию, которая переполняет юное существо в серьезный момент жизни. Перелет настроений, волнение и глухая песня судьбы, причем среди мелодии этой — совершенно отчетливые мысли подобны блеску лучей на зыби речной, — вот может быть более или менее истинный характер внутренней сферы, заглядывая в которую, щурится ослепленный глаз. Отсюда не труден переход к улице, на которую, окончив путь, свернул извозчик, — к сверкающей перспективе садов среди чугунных оград; эмаль, бронза и серебро сплели в них затейливый арабеск; против аллей, ведущих от ворот к белым и красноватым подъездам,

полным зеркального стекла, сияли мраморные фасады, подобные невозмутимой скале. Этот мир еще спал, но утренний огонь неба среди пышных цветов уже сторожил позднее пробуждение.

Осматриваясь, Тави трепетала, как на экзамене. Видя, что окружает ее, скрылась она в самую глубину себя, подавленная робостью и досадой на робость. Она не могла быть гостьей среди этих роскошных гнезд, но лишь существом мира, чуждого великолепным решеткам, охраняющим сияющие сады; они были выведены, чтобы отделить ее жизнь от замкнутой в садах жизни красивой чертой. Это впечатление было сильно и тяжело.

Извозчик остановился, путь окончен. Звоня у ворот, Тави рассматривала сквозь их кованые железные листья в тени подъездной аллеи мавританский портик и вазы с острями агав. Прошло очень немного времени, — казалось, только лишь опустилась ее рука, тронувшая звонок, — как из-за угла здания выскочил человек в лакейской куртке, направляясь бегом к воротам. Он стал возиться с замком, спрашивая:

— Из бюро? От какой конторы?

Пропустив Тави, тупо воззрился он на чемодан и коробку.

— А для чего вещи?

Девушка заметила, что его что-то смущает, что-то вертится на языке; взглянув на нее внимательнее, слуга решительно ухмыльнулся...

— Впрочем, — сказал он, беря багаж девушки, но загораживая ей дорогу, — если хотите получить заказ, нужно заплатить мне, а не то родственники обратятся в другое место.

— Вы думаете, что я шью платья? — гневно спросила Тави, раздраженная бестолковой встречей. — Я приехала служить в этот дом ч и т а т е л ь н и ц е й господину Торпу.

— Чтица? — сказал лакей, подперев бок рукой, которой держал саквояж. — Так бы вы и сказали.

— Ну да, читательницей, — поправила девушка, чувствуя к слову «чтица» серое отвращение. «Оно обстрижено», — успела она подумать, — затем, вслух: — Несите и скажите, что я приехала, приехала Тави Тум.

— Господин Торп, — сказал лакей тоном официальной скорби, — божьей волей скончался сегодня утром, в семь с четвертью, скоропостижно. Он умер.

Девушка, отбежав, закрыла лицо, потом, опасливо вытянувшись и спрятав назад руки, как в игре, где могут поймать, уставилась на лакея взглядом ошеломления.

— Вы говорите, он умер? То есть — скончался?

— И умер и скончался, — равнодушно ответил лакей. — А орта. У нас знают, что вы приедете. Я провожу вас.

Он кивнул к дому, приглашая идти. Не печаль, не страх стеснили легкое дыхание девушки и не сожаление о блестящем заработке, так неудержимо рухнувшем в пустоту, откуда он щедро сверкнул, но красноречие совпадения — этот всегда яркий взволнованному уму звон спутанных голосов. Смятение и шум наполнили сердце Тави. Смотря на убегающий свой чемодан, шла она за лакеем так неровно, как, путаясь в густом хмеле, идет по заросли человек, разыскивая тропинку.

Лакей приостановился, напряженно ожидая девушку глазами, сузившимися от умильной надежды. Как Тави догнала его, он шепнул:

— Барышня, есть у вас какая-нибудь мелкая монета, самая мелкая?

Тупо взглянув, Тави погрузила руку в карман; схватив там, вместе с ореховой скорлупой, серебряную мелочь, она мрачно сунула монеты лакею.

— Очень вам благодарен, — сказал тот. — Вы думаете, это на чай? Ффи. — Как по ее лицу было видно, что она действительно так думает, лакей, помедлив, добавил: — Это — на счастье. Я вижу, вы счастливая, потому и спросил. Теперь я пойду в клуб и без промаха замечу банк.

— Я? Счастливая? — Но было нечто во взгляде лакея, подсказавшее ей не допытываться смысла подарка. После этого шествие окончилось при взаимном молчании; мелькнуло несколько мужских и женских фигур, — стены и лестницы, переходы и коридоры; наконец Тави смогла сесть и сосредоточиться.

IV

Прежде всего вспомнила она, что среди взглядов, рассеянных на пути к этому синему с золотыми цветами креслу, мелькнули взгляды странного выражения, полные мниморавнодушной улыбки. Два-три человека холодно осмотрели ее, как бы прицениваясь ко всему ее существу, — быть может, из любопытства, быть может, лишь показалось ей, что их взгляды терпки по-уличному, — но ее чуткий духовный мир обнесло тончайшей паутиной двусмысленности. Как было ей сказано, что через некоторое время выйдет к ней хозяйка-вдова, Тави не много думала о взглядах и впечатлениях, строя и кружа мысли вокруг трагического события. Прикладывая вдруг остывшие руки ледяным тылом кистей к пылающему лицу, она вздрагивала и вздыхала. Ее оставили сидеть в одной из проходных зал, с высокими сквозными дверями; лучистые окна, открывающие среди ярких теней трогательную небеса пышную красоту сада, озаряли и томили нервно-напряженную девушку; в строгом просторе залы плыли лучи, касаясь стен дрожащим пятном. «Смерть!» Тави задумалась над ее опустошаю-

щей силой; боясь погрузиться в кресло, как будто его покойный провал был близок к страшной потере дома, сидела она на краю, удерживаясь руками за валики и хмурясь своему пугливому отражению в дали зеркального просвета, обнесенного массивной резьбой.

Тогда из дверей, на которые стала она посматривать с нетерпением, вышла черноволосая женщина сорока — сорока пяти лет. Она была пряма, высока и угловато-худая; ее фигура укладывалась в несколько резких линий, стремительных как напряжение черного блеска глаз, стирающих все остальное лицо. Сухой разрез тонких губ, сжатых непримиримо и страстно, тяжело трогал сердце. Черное платье, стянутое под подбородком и у кистей узором тесьмы, при солнце, сеющем по коврам безмятежный дымок цветных отражений, напоминало обугленный ствол среди цветов и лучей.

— Так вы приехали? — громко сказала вдова, бесцеремонно оглянув девушку, — вы приехали, конечно, в приятных расчетах на... удобное место. — Перерыв фразы, самый тон перерыва, уже испугал Тави, в нем блеснул злой, страстный удар. — Никто не ожидал, что он умрет, — продолжала вдова, — вероятно, вы менее всех ждали этого. Вы разве не слышали звонка? Нет? — она холодно улыбнулась. — Не поспешили? Прислуга вошла, закричала: он лежал на полу, раскинувшись, с рукой у воротника. Готов! У вас есть семья? сестры? братья? Может быть, у вас есть жених? Но, милая, как вас зовут?

Тави силилась говорить, спазма удерживала ее; наконец, собственное имя заикающимся лепетом вырвалось из ее побледневших губ. По мере того, как вдова, тягостно улыбаясь, пристально наблюдала приезжую, девушке становилось все хуже; уже слезы, неизменные спутники горьких минут — слезы и смех часто выражали всю Тави, — уже слезы обиженно попросились к ней на глаза, а лицо стало по-детски

огорчаться и кукситься, — но женщина движением инстинкта поймала некое указание. Она хмуро вздохнула; не сочувствие — горькая рассеянность, занятая вдали темной мыслью, отразилась в ее лице, когда, взяв девушку за дрогнувшую руку, она заговорила опять.

— Довольны ли вы тем, что случилось? Понимаете ли, что перед вами одной встала эта стена? Вы родились под счастливой звездой. Может быть, умерший слышит меня, тем лучше. Я устала от ненависти. Скоро наступит час, когда отдохну и я. Десять лет мучений и ненависти, десять лет страха и отвращения — разве не заслужила я отдыха? Говорят, смерть примиряет, — как понять это, если сердце в злом торжестве радо смерти? Я ненавижу его, даже теперь.

Говоря так, она смотрела в окно, то притягивая руку Тави, то отталкивая, но не выпуская из жестких, горячих пальцев, как бы в борьбе меж гневом и лаской; казалось, потрясение рокового утра колыхнуло все чувства прошлого, оживив их кратким огнем.

— Не бойтесь, — сказала она, видя, что Тави мучается и дрожит, — о ненависти в день смерти вам не приходилось слышать еще, но я до л ж н а говорить с вами т а к; может быть, я должна сказать больше. Не знаю, чем тронули вы меня, но я вас прощаю. Да, прощаю! — крикнула она, заметив, как потемнели глаза Тави. — Вы гневаетесь, думая, что я не имею права, повода прощать вас, что первый раз мы видим друг друга. А знаете ли вы, что можно прощать дереву, камню, погоде, землетрясению, что можно прощать толпе, жизни? Простите меня и вы. Счастливому простить легче.

Задыхаясь, девушка вырвала руку, топнув ногой. Слезы и обида душили ее.

— Зачем я приехала? Зачем звали меня сюда? Что я сделала? Разве я виновата, что Торп умер? Объясните, я ничего, ничего не понимаю. Уже второй

раз слышу я сегодня, что я «счастливая», и это мне так обидно, так горько... — Она заплакала, смачивая слезами платок, отдышалась и, вытерев глаза, засмеялась с виноватым лицом. — Теперь я вас слушаю. Только мне надо говорить по порядку, иначе я спутаюсь.

Рука вдовы легла на ее голову, поправив трогательный глаза локон.

— В том возрасте, в каком теперь вы, меня сломали, — она сжала лист пальмы, вытянув его изуродованное перо с легкой улыбкой, — так, как я сломала это растение; лист завянет, пожелтеет, но не умрет; не умерла и я. Потом... я видела, как ломают другие листья. Идите за мной.

V

Взяв Тави за руку, как будто эта случайная близость поддерживала ее решение, она прошла весь нижний этаж к лестнице и подняла голову.

— Там кабинет мужа, — сказала вдова, — там вы должны были исполнять ваши обязанности.

Они взошли по лестнице к темной, резной двери. Не сразу открыла ее вдова; прежде чем совершить это, еще раз пристально в глубину глубин глаз Тави заглянула она, как бы с сомнением и упрямством; на момент мстительная черта легла в ее потемневшем лице и, опасно сверкнув, исчезла. Не раз уже по пути заговаривала она сама с собой; теперь Тави услышала: «Господи боже, помоги мне и научи не сказать лишнего». — Как ни странно, молитвенный шепот этот решительно испугал Тави; она уже повернулась с желанием проворно сбежать вниз, но устыдилась. — Катриона была куда смелее меня, — сказала она, вспоминая чудесный роман автора «Новых Арабских ночей», — и несколько не старше. Чего же боюсь я? Эта

женщина пострадала; наверное, жизнь ее была сплошным горем. Она расстроена, ничего более.

И в такт последнего слова Тави храбро перешагнула порог, несколько разочарованная тем, что вместо кладовой Синей Бороды или чего-нибудь отвечающего ее сердцебиению — увидела всего лишь очень роскошную и очень большую комнату, дальние предметы которой, благодаря светлой и глубокой перспективе, казались видимыми через уменьшительные стекла бинокля.

— Здесь я оставлю вас, — сказала вдова, — а вы осмотритесь. Вот шкапы, в них книги — любимое и постоянное чтение моего покойного мужа. Что-нибудь вы поймете во всем этом и, когда надумаете уйти, дайте звонок. Я тотчас приду. Есть вещи, о которых тяжело говорить, — прибавила она, заметив, что Тави уже набирает, соответственно новому удивлению, приличное количество воздуха, — но которые нужно знать. Итак, вы остаетесь; будьте как дома.

Сквозь грусть ее слов вырезалась глухая усмешка. Пока Тави соображала, как отнестись ко всему этому, вдова Торпа, взяв со стола часть бумаг, вышла и притворила дверь; стало тихо, Тави была одна.

— Нас то ругают, то ласкают, то оставляют и... — она тронула дверь, — нет, не запирают; но короб загадок высыпан уже на мою голову. Все загадки крепкие, как лесные орехи.

Ее взгляд остановился на драгоценных рамах картин, затем на картинах. Их было более двадцати, кроме панно, и все они казались иллюстрациями одного сочинения — так однородно-значительно было их содержание. Альковы, феи, русалки, символические женские фигуры времен года, любовные сцены разных эпох, купающиеся и спящие женщины; наконец, картины более сложного содержания, центром которого все же являлись поцелуй и любовь, — Тави пересмотрела так бегло, что едва запомнила их томные и томи-

тельные сюжеты. Она торопилась. Ее особенностью был нервный позыв схватить вниманием все сразу или сколько возможно больше. Поэтому, быстро переходя от столов к этажеркам, от этажерок к шкапам и статуям, везде, так или иначе — в форме помпейской безделушки, этюда или изваяния — она наталкивалась на изображение обнаженной женщины, из чего вывела заключение, что покойный имел пристрастие к живописи; может быть, рисовал сам. «Но что я должна смотреть, что надо увидеть?» В недоумении повела она бровью, пожала плечом, задумчиво рассматривая сквозь стекло шкапов красивые переплеты книг, уже манившие ее страсть к чтению, и сказала себе: «Начнем с главного. Наверное, эти книги должна была бы я читать умершему. Посмотрим».

Открыв шкаф, девушка схватила миниатюрный золотообрезный том; по привычке заглядывать в сердце книги, ее середину, что всегда делала с целью почувствовать, залюбопытствует ли страстно душа, она выделила ряд страниц наудачу и внимательно прочла их. По мере того, как шрифт вел ее к темным местам, значение которых не поддавалось ее опыту, но говорило все же сотовой частью своей нечто особенное, подобное лукавой исповеди или намеку, ее брови сжимались все мрачнее, рассекая белизну выпуклого и чистого лба морщиной сурового напряжения. И медленно, как от сильной боли, сдержанной чрезвычайным усилием, от самых ее плеч, по шее, ушам, по всему оставшемуся спокойным лицу поднялся, алая, густой румянец стыда.

Но она не уронила и не бросила удивительное издание. Закрыв том, Тави аккуратно вдвинула его на прежнее место, прикрыла дверь шкапа, медленно подошла к звонку и с наслаждением придержала палец на кнопке до тех пор, пока он не занял. Все стало ясно ей; все загадки этого утра нашли точное объяснение, и хотя на ней не было никакой вины,

она чувствовала себя так, как если бы ее зеленая пальма была уже схвачена жесткой рукой. Но она не оскорбилась, — тень смерти стояла меж ней и судьбой этого дома, — смерть унесла все.

VI

Не замедлив, пришла вдова; почти с ужасом смотрела на нее бледная и тихая Тави. «Так вот как ты жила!» На эту мысль девушки, как бы угадав ее, прозвучал ответ:

— Да, все мы не знаем, что нам придется делать на этом свете. Но — добавить ли что-нибудь?

— Нет, нет. Довольно, — поспешила сказать Тави. — Теперь я уйду. Стойте. Прежде чем распрошаться и уйти, я хочу видеть умершего.

— Вы?!

— Да.

Вдова, прищурясь, молча искала взглядом смысл этого желанья; но обыкновенно подвижное и нервное лицо Тави стойко охраняло теперь свою мысль; и вообще была она уже не совсем та, прежняя; ее слова звучали добродушно и твердо, с неторопливостью затаенной воли. Чтобы рассечь молчание, Тави прибавила:

— Обыкновенная вежливость требует этого от меня. Уже нет того человека. Я приехала к нему, на его деньги, одним словом, в н у т р е н н о мне нужно проститься и с ним.

— Быть может, вы правы, Тави. Идите сюда.

Сказав так, вдова прошла диагональ кабинета к портьеру, подняв которую, открыла скрытую за нею дверь соседнего помещения. Занавеси были там спущены, и огонь высокой свечи отдаленно блеснул из сумерек в ливень дневного света, потопившего кабинет.

— Он там, — сказала вдова. — Скоро привезут гроб.

— А вы? — Тави, придерживая над головой складку портъеры, мягкой улыбкой позвала войти эту женщину, лицо которой мучительно волновало ее. — Разве вы не войдете?

— Нет. Это сильнее меня. Просто я не могу. — Она закусила губу, потом рассмеялась. — Если я войду, я буду смеяться, — вот так, — все время; смеяться и ликовать. Но вы, когда взглянете на его лицо, вспомните, вспомните шестерых и помилосердствуйте им. Две отравились. Судьба остальных та самая, какой широко пользуются косметические магазины. Не сразу он достигал цели, о нет! Вначале он создавал атмосферу, настроение... привычку, потом — книги, но издавека, очень издавека; быть может, с «Ромео и Джульетты», — и далее, путем засасывания...

— Он умер, — сказала Тави.

Как будто вдова Торпа лишь ждала этого напоминания. Ее лицо исказило и потрясло гневом, но, удержась, она махнула рукой:

— Идите! — И девушка подошла одна к мертвому.

Торп лежал на возвышении, закрытый простынями до подбородка; огни свечей бродили по выпуклостям колен, рук и груди складками теней; мясистое лицо было спокойно, и Тави, едва дыша, в упор рассматривала его. По всему лицу мертвого уже прошло неуловимое искажение, меняющее иногда черты до полной несхожести с тем, каковы были они живыми; в данном случае перемена эта не была разительной, лишь строже и худее стало лицо. Умершему, казалось, было лет пятьдесят, пятьдесят пять; его довольно густые волосы, усы и борода чернели так ненатурально, как это бывает у крашенных; толстый, с горбиной нос; мертвенно-фиолетового оттенка губы неприятно ярко выделялись на тусклой коже дряб-

лых, с ямками, щек. Глаза ввалились; под веками стояла их мертвая, белая полоса, смотрящая в невидимое. Как, почему остановилось внезапно гнилое, жирное сердце? Под этим черепом свернулись мертвые черви мыслей; последних, кто может узнать их? Тави могла бы видеть и развернуть комки мозговой слизи в их предсмертный, цветущий хаос — блеск умопомрачительной оргии, озарившей видением пахнущую духами спальню; видением — больше и острее сна, с вставшими у горла соблазнами всей жизни, перехватившими удар сердца сладкой электрической рукою своей. Та сила, которая равно играет чудесами машин и очарованием струн, нанесла твердый удар. С минуту здесь побыл Крукс. Но не было воздушных следов.

Тави смотрела, пока ее мысли, стремясь важным и особым путем, не задели слов «жизнь», «смерть», «рождение». «А завтра день моего рождения! Это так приятно, что и сказать невозможно». Тогда в ней появилась улыбка.

— Я вас прощаю, — сказала она, приподнимаясь на цыпочки, чтобы соединить эти слова с взглядом на все лицо Торпа. — Торп, я прощаю вас. И я должна что-нибудь прочесть вам, что хочется мне.

Она вернулась в кабинет к шкапам, нахмуренная так серьезно, как хмурятся дети, вытаскивая занозу, и среди простых переплетов выдернула что попало. Книгу она раскрыла, лишь подойдя опять к мертвому. То был Гейне, «Путешествие на Гарц».

— Слушайте, Торп, — оттуда, где вы теперь.

Строки попутались в ее глазах, но наконец остановились, и, успокаиваясь сама, тихо, почти про себя, прочла Тави первое, что пересекло взгляд:

Я зовусь принцессой Ильзой,
В Ильзенштейне замок мой.
Приходи туда и будем
Мы блаженствовать с тобой...

— Больше я не буду читать, — сказала девушка, закрыв книгу, — а то мне захочется попросить ее на дорогу. И я уйду. Прощайте.

Она снова приподнялась, легко поцеловала умершего в лоб поцелуем, подобным сострадательному рукопожатию. Потом торопливо ушла, метнув портьеру так быстро, что по ее разгоряченному лицу прошел ветер. И этот поцелуй был единственным поцелуем Торпа за всю его жизнь, ради которого ему стоило бы снова открыть глаза.

VII

Рассеянная и грустная вышла Тави на улицу. Она не взяла денег, несмотря даже на то, что остающейся у нее суммы не хватало купить билет; деньги были предложены ей без обиды, но сердце Тави твердо восстало.

— Благодарю вас, — сказала она вдове, — мне хочется одного — скорее уйти отсюда.

Так она ушла и очутилась среди сотрясающего грохота улиц жаркого Лисса с стесненно-замирающим сердцем.

Некоторое время то гневно, то удрученно, не замечая, как и куда идет, девушка была занята распутыванием темной истории; хор противоречивых догадок, лишенных основы и связи, мучил ее сердце, и, устав, бросила она это, присматриваясь к уличному движению, чтобы легко вздохнуть. Понемногу ей удалось если не рассеяться, то восстановить равновесие; дрогнув последний раз в знобком отвращении плечиками, она стала осматриваться, заметив, что удалилась от центра. Улицы были серее и малолюднее, толпа неряшливее; громоподобные вывески сменились ржавыми листами железа с темными буквами, из-за оград свешивалась чахлая зелень. Открытые двери треть-

разборного трактира приманили аппетит Тави; усталая и проголодавшаяся, войдя с сумрачным видом, села она к столу с грязной скатертью и спросила рагу, что немедленно и было ей подано, — неприглядно, но отменно горячо, так что заболели губы. Не обращая внимания на взгляды обычных посетителей заведения, Тави храбро занялась кушаньем, в котором соли и перцу было, может быть, больше всего прочего, и, залив жжение горла стаканом воды, вышла, настроенная практически.

Как быть? Как достать денег, чтобы вернуться обратно, и чем заняться до семи вечера? В семь отходил поезд. Но простодушный, великодушный Крукс мог теперь, ничем не утруждая себя, сообщить ей свой адрес туда, где ее нет. «Если сделать так... — рассуждала она, обрекая медальон, подарок покойной матушки, кассе ссуд и решаясь продать новую шляпу, картонка с которой покачивалась на ее локте, — ну, шляпу можно продать; а за медальон...» — И, погрузясь в точный расчет, пошла она, приговаривая:— Если так и так, будет вот так и этак... Или не так? А как?

В чем-то не сошлись воображаемые ею цифры, и приостановилась она, подняв голову, с удивлением слушая странный золотой звон, тихий, как бред ручья в неведомой стороне. Пустынно было на улице, лишь далеко впереди смутные фигуры мелькали на перекрестке; справа же двигалась шагом извозчичья подвода; спал или дремал возница, опустив голову, накрытую рваной шляпой, — понять было мудрено. Казалось, выехала подвода из соседних ворот, из тех, что со стуком закрывались уже, показывая внизу чьи-то отходящие ноги. С каждым шагом понурой лошади подвода, трясясь, сеяла тот чистый кисейный звон, к которому прислушивалась удивленная девушка.

Она пошла медленно, рассматривая и соображая, что бы это могло быть. Под холстом, свисавшим, ка-

саясь колес, высилось подобие тиары, выставляя неопределенные очертания углами складок, мешающих собрать намеки форм странного груза в какое-либо достоверное целое. Эта, по-видимому, легкая поклажа тихо покачивалась из стороны в сторону, звуча, словно человек вез груды тамбуринов. Не вытерпев, Тави подошла ближе, спрашивая:

— Скажите вы мне, пожалуйста, что это у вас так звенит?

Возница апатично взглянул на нее из дали уединенных соображений, прерванных вопросом, достоинство которого было для него тупой и темной загадкой.

— Эх! — сказал он, отмахиваясь с досадой, что должен перевести кропотливо ползущие мысли на более быстрый ход. — Ну, звенит, а вам что до этого? Идите-ка себе с богом. — Здесь, по опыту доверяя лошади, которой кнут был только приятен, так как отгонял оводов, апатично стегнул он животное, но оно только помахало хвостом, выразив гримасой задней ноги фальшивое оживление, и не быстрее, чем раньше, свернуло за угол, на шоссе.

Когда Тави, естественно, взглянула в ту сторону, то увидела за домами зеленый просвет. Все шоссе покрыто было народом, спешившим, как на пожар; размахивая листками, бежали газетчики; тележки торговцев фруктами и прохладительными напитками неслись среди экипажей, полных дам и щегольски одетых мужчин; под ногами шныряли уличные собаки, лая на тех собратьев, чьи расчесанные тельца степенно следовали впереди шелковых юбок, в меру длины цепочек, прикрепленных к ошейникам. Кричащий букет мелькнул в стеклах автомобиля, изрыгающего густые, жуткие заклинания; гарцуя, стремились всадники; костыли нищих, влекомые ради быстроты хода под мышками, резво колыхались среди зонтиков и тростей; матери тащили задыхающихся детей с неопишваемым отчаянием в их раскрасневшихся личиках; поджимая

губы, семенили старушки; мальчишки неистово голосили, мчась по мостовой, как в атаку. Здесь таинственная подвода скрылась и затерялась, а Тави спросила первого встречного: «Куда спешит весь этот народ?»

— Вы разве не здешняя? — проговорил тот, обращаясь на ходу. — Так вы, значит, не знаете: сегодня «мертвые петли»!! Полеты! Полеты! — в виде пояснения прокричал он, бесцеремонно опередив девушку.

Мигом воспряла она; воодушеваясь, потому что любила всякие зрелища, забежала она в первую лавку, наскоро упросив взять до вечера на хранение свою мешающую поклажу, и двинулась с той же быстротой, как толпа, к неизвестному месту. Вспоминая время от времени о заботе по возвращению домой, успокаивалась она тем, что ощупывала под платьем медальон и мысленно открывала картонку. — Вот они, деньги!.. — приговаривала неудачливая путешественница. Толпа, солнце и сознание независимости развеселили ее. Тем временем шоссе свернуло под углом к полю; прямо же, если продолжить его линию, стояла высокая каменная стена, за которой среди сомлевших в жаре деревьев виднелся изгиб китайской крыши с флагом над ней; раскрытое пространство ворот'пестрело движением спешивших людей. Кто уходил, кто входил, но больше входили, чем уходили, и, не зная порядков, Тави завернула туда. Внутренность двора пересекалась дощатым забором; у узкого прохода служитель проверял билеты.

— Ваш билет, — бросился он к девушке, уже прошедшей мимо него.

Она обернулась, не успев ничего сказать, как билетер занялся другими входящими, забыв о ней или сочтя ее «своим человеком», каких всегда много везде, где проверяют билеты. Довольная, что ей повезло, так как никаких билетов покупать она была не в состоянии, Тави прошла подальше и осмотрелась.

То был двор, или, вернее, маленький мощный плитам плац, с двух сторон которого всходили амфитеатром скамьи павильонов с боковыми и горизонтальными тентами. Народа было довольно; присмотрясь к нему, Тави заметила, что то не смешанная толпа публичных зрелищ, но так называемая «отборная» публика, преимущественно интеллигентного типа. Меж трибунами помещались крытые синим сукном столы с чернильницами и листами писчей бумаги; здесь заседало человек тридцать в ленивых позах жаркого дня, с расстегнутыми жилетами и мокрыми волосами на лбу, в сдвинутых на затылки шляпах. «Куда же попала ты, моя милая?» — недоумевающе отнеслась Тави, видя, что не здесь, должно быть, произойдут полеты. Но уже встал из-за стола, гремя колокольчиком, человек апоплексического сложения; его мощное, крутое лицо, почти безбровое, с бачками, которые, казалось, едва держатся на толстых щеках, — раскрылось круглым «О» сочного рта; требовательно он закричал:

— К порядку! Внимание! Тише! Я открываю чрезвычайное заседание Клуба Воздухоплателей.

Тем временем Тави увидела подошедшего к столу Крукса, того самого, который неожиданно исчез утром. Как будто отца родного встретила Тави, — так обрадовалась она в чужой толпе незнакомого города этому успокоительно-прямому лицу, — и, поспешно сев на ближайшую скамейку, закричала оттуда:

— Эй, Монгомери, что вы здесь делаете? Крукс! Крукс!

Тотчас его глаза направились к ней и сразу разыскали ее; узнав свою утреннюю встречу, он кивнул, прижал к губам палец и улыбнулся значительно. Тогда вдруг стало ей покойно, как дома; хотя кислые лица дам и поднятые с легкой улыбкой брови мужчин обратились к ней фронтом, выражая тем удивление

или негодование — она лишь порозовела, но не смутилась.

Взяв свободный стул, Крукс сел, опустив глаза. На нем теперь была кожаная глухая куртка, высокие сапоги и черная фуражка; ее ремешок проходил от виска к виску под подбородком. Здесь любопытство Тави достигло зенита, который называется замиранием, и личность Крукса, и обстановка, и нежданное для нее заседание воздухоплавателей — все было как разобранные части неизвестной машины, что, собирая на ее глазах, готовились пустить в ход. Она трепетала. Видели вы, как возится, не в состоянии покойно сидеть на месте, молоденькая, глупая девушка? Мир — еще зрелище для нее, а в зрелище этом, перебивая главное действие, роятся сцены всевозможных иных спектаклей. В эти минуты устойчивость ее внутреннего мира не более устойчивости видений, образуемых игрой дыма. Момента покоя нет ни в ее лице, ни в позе, ни в темпе дыхания, ей хочется затопать, привстать, смотреть впереди и по сторонам, торопить и шуметь.

Грузный человек был председатель. Добившись тишины, он сказал:

— Произошло следующее: в канцелярию Клуба поступило мотивированное заявление господина Крукса, являющегося изобретателем летательного аппарата нового типа, в котором просит он не только произвести испытание, но и предоставить ему, Круксу, место в сегодняшнем состязании. Согласно уставу Клуба, всякий моноплан, биплан, парашют, баллон или аэростат имеет быть, во избежание смешных и горьких недоразумений, предварительно оценен экспертами, дабы не иметь дела с попытками технически невозможными, или же, к чему немало примеров, абсурдными безусловно. Поэтому, так как имеется еще час времени до начала состязаний, президиум постановил: осмотрев аппарат Крукса, разрешить ему,

при условии технической научности его изобретения, воспользоваться аэродромом для публичного опыта; и, если Крукс того пожелает, занести его в список авиаторов дня, с правом соискания призов на высоту, продолжительность и точность спуска.

По мере того, как текла и оканчивалась речь председателя, багровый стыд окутал лицо Тави; до слез, до полной растерянности смутилась она, поняв теперь, что бесцеремонно-приятельски окликнула не кого иного, как знаменитого — конечно! — изобретателя. Боясь, что он снова поглядит на нее, уселась девушка так, чтобы высматривать из-за чьей-то большой шляпы. «Господи, спаси, помилуй и укороти мой язык», — шепнула она; однако раскаяться вполне не успела; поднялись шум, говор; тонкие или любопытствующие замечания перемешивались с криками нетерпения.

Тогда взгляды всех обратились на Крукса, вставшего и сделавшего рукой знак с желанием говорить. Вновь притих шум; люди, сидевшие вокруг стола, наморщили лбы с важностью, означавшей их совершенное и безошибочное всеведение.

— Вот что, — сказал Крукс негромко, но так отчетливо, что его слова прозвучали ясно для всех, — я соорудил аппарат, по конструкции и системе двигателя не имеющий ничего общего с современным аэропланом. У меня нет ни пара, ни газа, ни бензина, ни электричества; ни парящих плоскостей, ни винтов; нет также особой задумчивости при выборе материала, из которого аппарат выстроен. Как из полотна или шелка, так из простой бумаги или листового железа может быть сооружен он без всякой потери его двигательной способности; он мчится силой звуковой вибрации, представленной четырьмя тысячами мельчайших серебряных колокольчиков, звук которых...

— Звук которых?! — перебил голос, выразивший тоном своим общее недоумение. — О чем вы говорите?

Прозвучал смех. Тишина сдвинулась. Равновесие внимания, получив удар по обеим чашам весов, исчезло, как исчезают все призраки условной общечеловечности. Кто переглянулся; кто, оглядываясь, искал нетерпеливца, спросившего, к чему клонит странная речь загадочного изобретателя. Председатель, схватив звонок, готовился восстановить тишину; но ему что-то шепнули, и уже сам, с некоторым сомнением, в замешательстве, мельком посмотрел он на Крукса, стоявшего, ожидая возможности говорить дальше, с простотой сильного человека, затертого на углу улицы бегущей толпой. Тогда Тави стала бояться за Крукса; в чем бы ни потерпел человек этот поражение, ей было бы то несносно; у нее успело уже созреть решительное к нему пристрастие. Ей нравилось, что он будет, по-видимому, один против многих, но, зная силу осмеяния, боялась она, как бы сцена, без отношения к результатам ее, не приняла характер комический. Между тем раздались еще восклицания; прошел и стих шум.

— Быть может, — сказал председатель Круксу, — вы утомлены несколько; может быть, вы нездоровы, взволнованы; в таком случае не будет для нас обидой отложить ваше крайне интересное объяснение до следующего хотя бы дня.

Крукс улыбнулся без смущения; с видом полного удовольствия слушал он эту осторожную и мягкую реплику.

— Я должен просить вас разрешить мне сказать все, что я хочу, могу и считаю нужным сказать. Но чтобы те, почти чудесные новости, которые открыты мной, возымели силу не голословную, должен буду представить аппарат свой перед собранием. Он не велик; и не имеет ничего общего с теми неуклюжими

махаонами, в которых ездят с таким шумом и риском...

Высказав это с вразумительной твердостью, не позволяющей далее иметь двух мнений, как относительно состояния своих умственных способностей, так и намерений, Крукс снова взял тишину за волосы, и внимание слушателей удвоилось. Тави слышала, что говорят вокруг нее.

— А вдруг? — сказал кто-то, подразумевая этим, что нет пределов открытиям. Несколько беглых споров утихли; возрастающий интерес заразительно перебежал по скамьям.

— Выслушать, выслушать! — закричали наконец с мест, видя, что жюри мнетяся. — Мы хотим слышать! — Председатель решился, но решение свое обозначил, как некую дипломатическую уступку.

— Если вы настаиваете, — сказал он, — мы согласны. Однако есть увлечения, непредвиденная форма которых может заставить нас пожалеть об эксперименте; неудовлетворительные последствия одного отразятся как на вас, так и на всех нас, потому что мы крайне сожалели бы о всем ненаучном, о всем, так сказать, дилетантски смелом, не отвечающем задачам Клуба Воздухоплавания. Следовательно, если уверены вы, хотя бы отчасти, в положительных сторонах вашего изобретения, в основных принципах его, — честь и место, господин Крукс. Не скрою, что начало изъяснения вашего показалось всем столь знаменательно странным... Итак, мы вас слушаем.

Настроив таким образом себя, Крукса и аудиторию в благожелательно предостерегающем смысле, председатель стал строг и весок лицом; он, а за ним все воззрились на Крукса, подобно экзаменаторам, затаенный помысл которых: «школьник, пади ниц!» — дышит каннибализмом.

— Наконец-то, — сказал Крукс, — слава богу! Вас смутили четыре тысячи колокольчиков; дополню

это смущение: более четырех тысяч или менее, не играло бы никакой роли. Как детям, катающим снежное изваяние, мало заботы о том, чет или нечет снежинок поместится в человекоподобии зимы, метелей и холода, какое слепили они, так и я не настаиваю безусловно на четырех тысячах; охотно уступаю из них произвольное число или прибавляю к четырем столько, сколько вообще поместится на моем аппарате; мне нравится м н о г о колокольчиков, дело не в числе, а в действии.

Если бы он улыбнулся, если бы хоть на мгновение тронулось это отчетливое лицо лукавой игрой, разразились бы гром и хохот потехи неудержимые. Однако Крукс смотрел и говорил очень серьезно, что действовало, вразрез с его странными словами, самым удручающим образом. Еще не было ни протестов, ни резкого вмешательства со стороны тех, кто принимает как издевательство или вызов всё лишнее готовой клетки в его мозгу, привыкшем к спокойной жвачке, прежде чем постичь суть явления, но уже началось по выражениям лиц скопление атмосферы протеста. Всеуничижающая ирония кривила губы членов президиума, обреченных благодаря собственному легкомыслию трепетать за солидный темп дня, за должное уважение к месту и делу, которым занимались они, нацепив значки, изображающие колеса и крылья. Все это хорошо понимала, оценивая по-своему, Тави, девушка, ставшая на перепутье судьбы, — чувство судьбы коснулось ее настроения; невольно связывала она колокольчики, о которых говорил Крукс, с неистребимо-нежным воспоминанием о подводе и звоне, что слышала час назад. С подвешенным на золотой нитке юной тревоги сердцем ожидала она, как поступит наконец Крукс. Казалось, тот задумал уравнивать ветер сбитого к себе отношения; его речь коснулась теперь многих вещей.

— Рассмотрим, — сказал он, — хотя бы неполно, анатомию и психологию движения в воздухе. До сих пор летают только птицы, насекомые и предметы; человек сопутствует летящим предметам, сам он лететь не может, кроме как в сновидении. Прицепясь к шару, имеющему значение как бы самостоятельного организма,двигающегося по произволу атмосферических изменений, не в более сложном он положении, чем тля, сидящая на семени одуванчика, когда его сорвало и несет ветром в пространство. Аэроплан как будто самостоятельнее приглашает посмотреть на эти затеи. Однако выясним суть, желания, идею полета, его мыслимое идеальное состояние. Неизбежно здесь сновидение; лишь его волнующий арабеск подскажет с отчетливостью прозрения, чем одушевлен чистый полет. Им правит легкий и глубокий экстаз; неведомые наяву чувства, столь странные, что им может быть уподоблено разве лишь пение на дне океана, звучат стройно в этих особенных условиях грезы, свергающей физическую тоску, — веками слоившееся отвращение к ногам, пойманным огромным магнитом. Вспомним, как мы летаем в то время, когда тело наше, завернутое одеялом, покорно своему ложу: само желание естественно отделяет нас, стремя и унося на безопасную высоту. Нет иного двигателя, кроме пленительного волнения, и большего нет усилия, чем усилие речи. Приметьте, что в стране сна отсутствуют полеты практические: перевозка почты, пассажира или призовое соревнование исключены; то состояние манит лишь изумительным движением в высоте; оно — все в себе, ничего сбоку, ничего по ту сторону раскинутого в самой душе пространства; без усилий и вычислений.

Но как же в действительности летит он? Или, вернее, как движется над землей, когда вы, закинув голову, поспешно шлете вдогонку его судорожно скорчившейся фигуре имя «Царя природы»? Вот —

Здесь раздался характерный гул мотора; громкое однотонное пение потекло в вышине, и члены Клуба, посмотрев на небо, увидели аэроплан, пересекающий зрительное поле тяжким пятном.

— ...вот достижение, которое явилось нам кстати для демонстрации. Сколько сомнений! А опасений?! Не упадет ли оно? Б ы т ь м о ж е т, не упадет. Сообразите, что это значит! Его движение, свободно, как ход коня; его скорость обязательна; его двигатель ненадежен; его творец прикован к каторжному ядру равновесия ради жизни и денег; его падения ожидают; его спуск опасен, его поворот нелегок; его вид некрасив; его полет — полет мухи в бутылке: ни остановиться, ни парить; оглушительный шум, атмосфера завода, хлопотливый труд; сотни калек, трупов, и это — полет? Завидовать стрекозе, в математической точности движений которой светится ясность перебегающего луча; смотреть на вырезной узор ласточки, живописуемый ею над отражением своим в блестящей воде, — восхитительным ничтожеством с о в е р ш е н н ы х усилий; вздыхать об орле, залегшем среди туманов с спокойствием самого облака, — не это ли удел наш? И не это ли тщета наша — вечный разрыв, залитый сиянием снов?

Немного надо было бы мне, чтобы доказать вам, как несовершенны и как грубы те аппараты, которыми вы с таким трудом и опасностью пашете воздух, к ним прицепясь, ибо движутся лишь аппараты, не вы сами; как ловко было бы ходить в железных штанах, плавать на бревне и спать на дереве, так — в отношении к истинному полету — происходит ваше летание. Оно — сами вы. Наилучший аппарат должен быть послушен, как легкая одежда при беге; в любой момент в любом направлении и с любой скоростью, — вот чего следует вам добиться. Рассчитывая поговорить далее, я встретил нетерпимость и издевательство; поэтому, не касаясь более технических суеверий ваших,

перейдем к опыту. Ранее того во всеуслышание без жеста и сожаления заявляю, что не беру приза, хотя мной будут побиты решительно все рекорды. Смотрите и судите.

В глубине двора были приоткрыты ворота, их распахнули настежь, и двое рабочих внесли столь легкое сооружение, что никакого физического усилия не было заметно по их лицам. Нечто, окутанное холстом, покачивалось, тихо звеня. Тави, волнуясь, встала: «это о н о, то, что везла подвода». Сев, она не могла сидеть и встала опять, как встали вокруг нее все, рассматривая диковину. Затем произошло общее движение; зрители бросились к Круксу, окружив изобретателя тесной толпой; и там же, так удачно, что между ею и загадочно звенящим предметом было свободное пространство, очутилась наша беспокойная путешественница.

Резким движением Крукс смахнул холст. Часть зрителей, не зная, сердиться или смеяться, отступила в глубоком разочаровании серьезных людей, поддавшихся курьезной мистификации; громко возопила другая часть; третья окаменела; четвертая... но вернее будет сказать, что сколько было людей, столько частей; мы же говорим вскользь. Случалось ли вам бежать сломя голову, куда побежала уже, ржа и рыча, уличная толпа? Не бог весть что ожидаете вы увидеть, как, протолкавшись в самую гущу смятения, видите всего-навсего малыша с обмусоленным пряником в руке и багровым от слез лицом; нянька потеряла его; «где ты живешь?» — спрашивают ребенка; и он с изумлением, что не отведен еще по своему точному адресу, слезливо говорит: «там!»

В то время, как со стороны крыш висели уже в дыму заводских труб на привязи три баллона; в то время, как напоминающий перетянутую бечевками колбасу грузный аэростат, махая какими-то перышками, двигался на высоте пятисот футов, и четыре

бойких аэроплана, взрывая неровным гулом верхнюю тишину, носились над двором Воздухоплавательного Клуба с грацией крыш, сорванных ветром; в то время, как, следовательно, занавес аэропредставления взвился и совершались «успехи», — пред глазами судей явилось сверкающее изобретение фантастической формы. Оно было футов десять в длину и футов пять высоты. Его очертания спереди напоминали нос лодки, вытянутый и утонченный зигзагом лебединой шеи; причем точное подобие головы лебедя оканчивало эту шею-бугшприт. Корпус в профиль напоминал помпейский ладьеобразный светильник; корма странного судна, в том месте, где обыкновенно проходит руль, была, подобно передней части, вытянута и загнута вовнутрь, как бы над головой внутри сидящего, острым серпом. Тонкий, неизвестного материала, остов был, как каркас абажура, обтянут великолепным синим шелком, богато вышитым серебряным и цветным узором. Узор этот был так хорош, что многие, особенно женщины, дрогнули от восхищения; немедленно раздались их полные удовольствия, искренние, горячие восклицания. Борта аппарата были обшиты темно-зеленой с золотым лавром шелковой же материей; но самой замечательной и причудливой частью дива сверкнули целые гирлянды, фестоны, цепи и кисти мельчайших колокольчиков из чистого серебра, легких, как пузырьки; их кружевом было обнесено судно. Крукс тронул свое создание, и казалось, оно взвеселилось звоном, рассыпав мельчайший смех.

— Четыре тысячи колокольчиков, — сказал Крукс, когда умолкли крики, побежденные изумлением. И он посмотрел на Тави так внимательно-мягко, что простота и бодрость заряженного величайшим любопытством спокойствия тотчас вернулись к ней. — Изобретение это — тайна; скажу лишь, что согласованность звона и способ управления им производят воздушную вибрацию, двигающую аппарат в любом на-

правлении и с любой скоростью. Теперь я сяду и полечу; вам же предоставляю на свободе делать технические догадки.

— Он полетит! — задорно двигая круглыми щеками, сказал, с сигарой в зубах, немец-пилот. — «В театре; на канатах и блоках...» — добавил другой. — «Это сумасшедший!» — раздался серьезный голос. — «Глупая мистификация!» — определил юноша с пушком на губе. Вдруг пронзительный свист разрезал смятение; как сигнал к свалке, вызвал он хор нестройного свиста, криков и оскорблений. Но Крукс лишь рассеянно осмотрелся; заметив вновь Тави, он сказал ей:

— Скоро увидимся, ведь Торп умер, и вам теперь не надо будет служить.

Эти неожиданные слова так поразили девушку, что она отступила; лишь:

— А вы знаете? — успела она сказать, как сцена быстро развернулась к концу.

Видя, что Крукс усаживается внутри своего прибора, председатель, решительно оттолкнув мешавших, подошел к странному авиатору.

— Я не могу позволить вам совершать никаких опытов, явно и заранее бесполезных, — встревоженно закричал он. — Вы либо больны, либо имеете цель, совершенно нам постороннюю; кто в здравом уме допустит на момент мысль, что — тьфу! — можно полететь с этим... с этим... я не знаю что, — с этой негодной ветошью! Потрудитесь уйти. Уйти и унести ваше приспособление!

— Мне дано право, — холодно сказал Крукс, отвечая одновременно ему и тем, звонкоголосым из толпы, кто, до хрипоты крича, поддерживал председателя. — Право! И я от этого права не откажусь.

— Не я; не я один; мое мнение, требование мое — общее мнение, общее требование! Вы слышите?

Вот что вы натворили. Могли ли мы знать, с кем и с чем будем иметь дело? Оставьте собрание.

— Пусть скажут в с е, что хотят этого, — сказал Крукс.

— Прекрасно! — Председатель нервно расхохотался и так затряс колокольчиком, топая в то же время ногами, что тишина, улучив момент, встала стеной. — Господа! Милостивые государи! Помогите прекратить это! Господин Крукс, — если хоть один-единственный человек здесь присутствующий, нормальный и взрослый, скажет, что ожидает от вас действительного полета, — срамитесь или срамите до конца нас! Кто ожидает этого? Кто ждет? Кто верит?

Тут, врассыпную, но так скоро, что утих снова было поднявшийся шум, так ненарушимо-предательски установилось молчание действительное, полное невидимо обращенных вниз больших пальцев, что Та-ви сжалась: «раз, два, три, восемь», отсчитывала она, терпя в счете до десяти, чтобы разгромить ставшую ей ненавистной толпу, и вынудила себя сказать «десять», хотя от девяти держала мучительную, как боль, паузу. Молчание, сложив локти на стол, тупо уставилось в них подбородком, смотря вниз; Крукс быстро взглянул на девушку. Тогда, вся внутренно зазвенев и став до беспамятства легкой, шагнула она вперед, потрясая указательным пальцем, красная и сердитая на вынужденный героизм свой. Но лишь инстинкт двинул ее.

— Я! Я! Я! — закричала она с смехом и ужасом.

Тут все взгляды, как показалось ей, прошли сквозь ее тело; толпа двинулась и замерла, взрыв хохота окатил девушку ознобом и жаром, но, почти плача, увлекаемая порывом, она, сжав кулачок, двигала указательным пальцем, сердито и беспомощно повторяя:

— Да, да, я; я знаю, что полетит!

Сраженный председатель умолк; он растерялся. Члены совета, ухватив его за руки, яростно шептали

нечто невразумительное, отчего он, совершенно не поняв их, сдался решительно нападению Тави.

— Я держу слово, — сказал он, отмахиваясь и расталкивая советников, — но я больше не председатель; пусть дитя и сумасшедший владеют клубом!

— Увы, мне не нужен клуб, — сказал Крукс, — не нужен он и моей заступнице. Отойдите! — И, как никто уже не противоречил завоеванию, он поместился внутри аппарата, оказавшегося, несмотря на хрупкую видимость, отменно устойчивым; как бы прирос он к земле, не скрипнув, не прозвенев; и белая голова лебедя гордо смотрела перед собой, дыша тайным молчанием. Сев, Крукс взял кисть бисерных нитей, прикрепленных к бортам, и потянул их; тогда, вначале тихо, а затем с стремительно возрастающей силой тысячи мельчайших струн, от которых дрожит грудь, все вязи и гирлянды колокольцев стали звенеть, подобно знойным полям кузнечиков, где кричит и звенит каждый листок. Этой ли, или другой силой — совершилось движение: ладья мерно поднялась вверх на высоту дыма костра и остановилась; то место, где только что стояла она, блестело пыльным булыжником.

Что освободилось, что скрылось в вспотевшей душе толпы, как только грянул этот удар, разверзший все рты, выпучивший все глаза, перехвативший все горла короткой судорогой, — отметить не дано никаким перьям; лишь слабое сравнение с картонной цирковой гирей, ухватясь за которую профан заранее натуживает мускулы, но, вмиг брошенный собственным усилием навзничь, еще не в состоянии понять, что случилось, — может быть уподоблено впечатлению, с каким отступили и разбежались все, едва Крукс поднялся вверх. Некоторое время он был неподвижен, затем с правильностью нарезок винта и с быстротой велосипеда стал уходить вверх мощной спиралью, пока ладья и сам он не уменьшились до размеров букета.

Но здесь, порвав наконец все путы, настиг его вой и рев такого восторга, такого остервенелого и дикого ликования, что шляпы, полетевшие вверх, казалось, не выдержали жара голов, накаленных самозабвением. Только мертвец, сохрани он из исчезнувших чувств своих единственное: чувство внимания, мог бы разобраться в бреде и слепоте криков, какие, перепутав друг в друге все концы и начала, напоминали скорее грохот грузовых телег, мчащихся вскачь, чем человеческие слова; уже не было ни скептиков, ни философов, ни претензий, ни самолюбий, ни раздражительности, ни иронии; как Кохинур, брошенный толпе нищих, взорвал бы наиопаснейшее из взрывчатых потемок души, так зрелище это, эта непобедимая очевидность ринулась на зрителей водопадом, перевернув все.

— Ура! Ура! Гип! Ура! — вопили энтузиасты, оглядываясь, вопят ли другие, и видя, что, надрываясь, кричат все, — били в ладоши, перебегая взад-вперед, толкая и трясая за руки тех, кто, в свою очередь, уже давно сам тряс их. — Новая эра! Новая эра воздухоплавания! Гип, ура! Власть, полная победа над воздухом! Я умираю, мне дурно! — кричали дамы. Другие, с глазами полными торжественных слез, степенно утирали их, приговаривая как в бреду: «Выше электричества! может быть, больше радия... что мы знаем об этом?» — «О боже мой», — слышалось везде, где не находили уже ни слов, ни мыслей и могли только стонать.

Над всем этим, искрясь, едва слышно звеня и цветя подобно драгоценному украшению, покачивался, остановясь, шелковый прибор Крукса. Он там сидел, как на стуле. Его губы пошевелились, он что-то сказал, и благодаря высоте внизу лишь через одно — два дыхания, как из самого воздуха, раздалось:

— Четыре тысячи колокольчиков. Но могло быть и меньше.

Ладья повернулась, двинулась по уклону кривой прочь, так быстро, что никто не уследил направления, — стала точкой, побледнела и скрылась. Тогда, трепеща и плача от непонятной гордости, Тави сказала тем, кто успокаивал и утешал ее, допрашивая в то же время, кто такой Крукс, так как думали, что она близко знает его:

— Чему вы так удивляетесь! Аппарат тот изобретен и... имеет, конечно, ну... винты, и какие там надо двигатели. Летают же ваши аэропланы?! Я знала, что полетит. Уж очень мне понравились колокольчики!

VIII

Как часто, приветствуя покойный свет жизни, доверчиво отдаемся мы его успокоительной власти, не думая ни о чем ни в прошлом, ни в будущем; лишь настоящее, подобно листьям перед глазами присевшего под деревом путника, колышется и блестит, скрывая все дали. Но непродолжительно это затишье. Смолкла или нет та музыка, гром которой отрывал наше беспокойное «я» от уютных мгновений, — все равно; воскресает, усиливаясь, и заставляет встать, подобная крику, долгая звуковая дрожь. Она мощно звенит, и демон напоминания, в образе ли забытом, любимом; в надежде ли, протянувшей белую руку свою из черных пустынь грядущего; в поразившем ли мысль острым резце чужой мысли, — садится, смежив крылья, у твоих ног и целует в глаза...

С того дня, как навсегда ушел Друд, жизнь Руны Бегуэм стала неправильной; не сразу заметила она это. Поначалу неизменной текла и внешняя ее жизнь, но, подтачивая спокойную форму, неправилен стал тот свежий, холодный тон самодержавной души, силой которого владела она днями и ночами своими. Не было в ней ни гнева, ни сожаления, ни разочарования, ни

грусти, ни зависти; холодно отвернулась она от грез, холодно взглянула она на то, что встало непокорным перед ее волей, и оставила его вне себя. Она стала жить, как жила раньше; немного повеселее, немного лишь просторнее и общительнее. Галль уехал с полком в отдаленную колонию; она пожалела об этом. Все реже, все мертвеннее, как болезнь или причуду, о которой не с кем говорить так, чтобы понял то и правильно оценил собеседник, вспоминала она дни, павшие как разрыв в пену ее жизни, и Друда вспоминала скорее как наитие, сверкнувшее формой человеческой, чем как живое лицо, руку которого держала в своей. Но отдыхом лишь мелькнул этот спокойный один месяц; уже мрак был близко; он постучал и вошел.

Он вошел в серый день тумана, — в мозг, нервы и кровь, сразу, как, чуть покрав, льет затем дождь. То было после беспокойного сна. Еще чуть светало; Руна проснулась и села, не зная, чем вернуть сон; сна не было, ни мыслей не было, ни раздражения — ничего.

Взгляд ее блуждал размеренно, от пола и мебели направляясь вверх, как смотрим мы в поисках опорной точки для мысли. И вот увидела она, что спальня высока и светла, что музы и гении, сплетшиеся на фигурном плафоне, одержимы стройным полетом, и в чудовищной живости предстали ей неподвижные создания красок. — «Они летят, летят», — сказала, присмирив, девушка; широко раскрыв глаза, смотрела она душой, теперь еще выше и дальше, за отлетающие пределы здания, в ночную пустоту неба. Тогда, с остротой иглы, приставленной к самым глазам, Друд вспомнился ей сразу, весь; высоко над собой увидела она его тень, движения и лицо. Он мчался, как брошенный, свистя, нож. Тогда не стало уже и малейшего уголка памяти, в котором не запылал бы нестерпимый свет точного, второго переживания; снова уви-

дела она толпу, цирк и себя; хор музыки рванул по лицу ветром мелодии, и над озаренной ареной, поднявшись неувеличим толчком, всплыл как поднятая свеча тот человек с прекрасным и ужасным лицом.

Она дрогнула, вскочила, опомнилась, и страх тесно прильнул к ее быстро задышавшей груди. В уверенной тишине спальни никла роскошная пустота; в пустоте этой всплыло и двинулось из ее души все, равное высоте, — тени птиц, дым облаков и существа, лишенные форм, подобные силуэтам, мелькающим вокруг каретного фонаря. Она держала руку у сердца, боясь посмотреть назад, где звонок — с холодными и бесчувственными ногами. И вот прямо против нее, помутнев, прозрачной стала стена; из стены вышел, улыбнулся и, поманив тихо рукой, скрылся, как пришел, Друд.

Тогда словно из-под нее вынули пол; страх и кровь бросились в голову; как в темном лесу, среди блеска и тишины роскошного своего уюта, очутилась она, чувствуя кругом таинственную опасность, подкраившуюся неслышно. Боясь упасть, склонилась она к ковру, гордостью удержав крик. Но оцепеневшее сердце, вновь стукнув, пошло гудеть; мысли вернулись. Звонок! Спасительная точка фарфора! Она прижала ее, задыхаясь и изнемогая от нетерпения, боясь обернуться, чтобы не увидеть того, что чудилось, смотрит из всех углов в спину. С наслаждением усталого вздоха смотрела Руна на практично-здоровое лицо молодой женщины, прерванный сон которой был спокоен, как ее перина. Вихрь рассеялся, обычное вновь стало обычным, — вокруг.

— Поговори со мной и посиди здесь, — сказала горничной Руна, — мне не спится, не по себе; расскажи что-нибудь.

И пока рассвет не окружил штор светлой чертой, служанка, слово за словом, перешла к того рода бол-

товне, которая не утомляет и не развлекает, а помогает самому думать. Как жила, где служила раньше; что было у хозяев смешно, плохо или отлично. Руна вполслуха внимала ей, прислушиваясь как больная к щемящему душу жалу угрозы; слушала и перемогалась.

Немного прошло дней, и люди света, встречаясь или отписывая друг другу, стали твердить: «Вы будете на вечере Бегуэм?» — «Была ли у графа W Руна Бегуэм?» — «Кто был на празднике Бегуэм?» — «Представьте меня Руне Бегуэм». — «Расскажите о Руне Бегуэм». Как будто родилась вновь красавица Бегуэм и снова начала жить. Ее сумасшедшие заказы бросали в пот и азарт лучшие фирмы города; у ювелиров, портних, более важных и знаменитых, чем даже некоторые фамилии, у вилл и театров, у ярких как пожар ночью подъездов знати останавливалась теперь каждый день карета Бегуэм, смешавшей жизнь в упоительное однообразие праздника. Словно оглянувшись назад и спохватясь, вспомнила она, что ей лишь двадцать два года; что отчужденность, хотя бы и оригинального тона, гасит постепенно желанья, лишая сердце золотого узора и цветных гирлянд бесчисленных наслаждений. Щедрой рукой она повернула ключи, и, шумно приветствуя ее, грянули из всех дверей хоры привета; королевой общества, счастьем и целью столь многих любвей стала она, что уже в одном пожатии мужской руки слышала целую речь, — признание или завистливый вздох, или же тот нервный трепет холодных натур, который обжигает как лед, действуя иногда сильнее всех монологов. Казалось, рауты и балы, приемы и вечера восприняли несравненный блеск, волнение тончайшего аромата, с тех пор как эта нежная и сильная красота стала улыбаться среди них; остроумнее становились остроумцы, наряднее — щеголи; особый свет, отблеск восхитительного луча, сообщался даже некрасивым и старым лицам, если нахо-

дились те люди в ее обществе. Все обращалось к ней, все отмечало ее. Каждый, внимая ей или следя, как кружит она в паре с красивым фраком, где пробор и осанка, гордый глаз и бархатный ус тлеют, уничтожаясь близостью этого молодого огня, развевающего белый шлейф свой среди богатой и свободной толпы, думал, что здесь предел жизнерадостному покою, озаренному крылом счастья, что нет счастливей ее; и, так думая, не знали ничего — все.

«Забудьте, забудьте!» — слышала иногда Руна во взрыве ликующих голосов, в вырезе скрипичного такта или стука колес, ветром уносящих ее к новому оживлению; но «забудьте!» — само предательски напоминает о том, что тщится стереть. Не любовь, не сожаление, не страсть чувствовала она, но боль; нельзя было объяснить эту боль, ни про себя даже понять ее, как, в стороне от правильной мысли, часто понимаем мы многое, легшее поперек привычных нам чувств. Тоска губила ее. Куда бы ни приезжала она, в какое бы ни стала положение у себя дома или в доме чужом, не было ей защиты от впечатлений, грызущих ходы свои в недрах души нашей; то как молнии внезапно сверкали они, то тихо и исподволь, накладывая тяжесть на тяжесть, выщупывали пределы страданию. Смотря на купол театра, медленно поднимала она руку к глазам, чтобы закрыть начинающее возникать в высоте; высота кружилась; кружился, трепеща, свод; свет люстр, замирая или разгораясь, ослеплял, кроя туманом блестящий поворот ярусов, внизу которых, подобная обмороку, светилась отвесная бездна. Тогда все впечатления, вся наличность момента, зрелища, сцены и любезного за спиной полупшепота спокойных мужчин, чья одна близость была бы уже надежной защитой при всякой иной опасности, — делались невыносимой обузой; и, выждав удар сердца, удар, рождающийся одновременно в висках и душе, к барьеру соседней ложи подходил Друд.

Тогда, бледнея и улыбаясь, она говорила окружающим, что ей нехорошо, затем уезжала домой, зная, что не уснет. Всю ночь в спальне и остальных помещениях ее дома горел свет; прислушиваясь к себе, как к двери, за которой, тихо дыша, стоит враг, сидела или ходила она; то рассмеявшись презрительно, но таким смехом, от которого еще холоднее и глуше в сердце, то плача и трепеща, боролась она с страхом, стремящимся сорвать крик. Но крик был только в душе.

— Довольно, — говорила она, когда несколько дней покоя и хорошего настроения давали уверенность, что бред этот рассеялся. Прекрасная, с прекрасной улыбкой всходила она по лестнице, где на поворотах, отраженная зеркалами, сопровождала ее от рамы до рамы вторая Руна, или усаживалась в полукруг кресел, среди мелькающих вееров, или, опустя поводья, верхом двигалась по аллее, говоря спутникам те волнующие слова, в которых, как ни обманчиво близки они к счастливой черте скрытого обещания, незримой холодной гирей висит великое «нет», — все с той же мыслью «довольно» и даже без мысли этой, лишь в настроении счастливой свободы, вся собранная в пену и сталь. Тогда, смотря в зеркало с внезапной тоской, видела она, что в его глубине рядом с ней идет задумчивый Друд; что подобные жемчужным крыльям веера с свистом бьют воздух; что все громаднее, белее они, и чувство полета, острой и стремительной быстроты наполняло ее чудным мученьем. Она гладила лошадь, но, отвернув голову и собрав ноги, та, задрожав, не шла более; пятясь на месте, животное, казалось, жило в этот момент нервами своей госпожи, сердце которой билось, как копыта били песок; опустив голову, стоял, спокойной рукой держась за узду, Друд. Он взглянул и исчез.

Чем дальше, тем страшнее было ей жить. Не стерпев, она обратилась к Грантому — одному из тех положительных, но мало знаменитых людей, к которым привлекает окружающая их атмосфера ученой самобытности и практической чистоты; чья лысая голова с дарвиновским лицом и строго-человеческим взглядом поверх золотых очков как бы собирает на тени и свет доверия в одном теплом порыве. Раздумывая о сумасшествии и опасаясь его, но не желая, однако, говорить все, Руна обошла это формой галлюцинации, сказав профессору, что иногда видит бесследно скрывшегося знакомого. Отношение свое к вымышленному лицу она перевела с подлинника, обозначив таким образом все тонкости впечатлений рисунком обычных встреч. Одно прибавила она, дабы характеризовать общую форму: «казалось мне, что в натуре его лежит нечто поразительное и тайное, до тех пор занимавшее мои мысли, пока не стало безосновательным, странным предубеждением». Но сеть волнистых линий ее объяснения была в чем-то не вполне правильна, неровна была линия передачи этой, и Грантом почувствовал ложь.

— В а м хуже, если вы не вполне искренни, — сказал он, впрочем, не настаивая знать подробнее; выслушав и осмотрев Руну, он, пристукивая карандашом, как бы подчеркивая стуком некоторые слова, сказал ей: — Вы здоровы. Все нормально в вас; нормальны душа и тело. Я скажу более: физически вы безукоризненны. Немного поговорив с вами, я вижу, что крайняя нервность, вызванная особыми обстоятельствами, проявляется тем более резко, что она находится в замкнутом кругу сильной воли, сдерживающей ее проявление. Об этом я хочу поговорить с вами подробнее; пока перейдем к лечению, поскольку вы в нем нуждаетесь.

Он испытующе взглянул на нее, но мельком; так смотрят, имея заднюю мысль; при мимолетности взгляда можно было счесть его смысл ошибкою беглого впечатления. Но тон, тон — этот безошибочный привкус речи — настроил Руну еще внимательнее, чем была она до сей минуты, — если вообще может быть различно внимателен человек, ждущий спасения. Грантом продолжал:

— Брак. Вот первое, что — хотите вы или не хотите — уничтожит вторую сферу, дверь которой в мгновения, не подлежащие учету науки, раскрывается перед вами внезапно, являя таинственное сверкание двойственных образов психофизического мира, которыми полно недоступное. Заметьте — оно открыто не всем.

Он замолчал, щурясь и всматриваясь сквозь очки глухим взглядом в бледные черты Руны; сведя брови, надменно улыбалась она, стараясь связать некоторые странные фразы Грантома с особенностью своего положения. Казалось, он заметил ее усилие: едва чувствуемый оттенок расположения, большего, чем вправе ожидать т о л ь к о клиент, разом исчез, едва он, откинувшись по глубине кресла в тень лампы, вернулся к практическому совету.

— Здоровый человек, любящей и сильной души, — не может быть, чтобы вы не встретили такое простое, но с известной стороны, полное счастье, — такой человек, — говорю я, — брак и дети — словом, семья — выведут вас теплой и верной рукой к мирному свету дня. Допустим, однако, что осуществлению этого мешают причины неустранимые. Тогда бегите в деревню, ешьте простую пищу, купайтесь, вставайте рано, пейте воду и молоко, забудьте о книгах, ходите босиком, чернейте от солнца, работайте до изнурения на полях, спите на соломе, интересуйтесь животными и растениями, смейтесь и играйте во все игры, где не обойтись без легкого синяка или падения в сырую

траву, вечером, когда душистое сено разносит свой аромат, смешанный с дымом труб, — и вы станете такой же, как все.

Спокойное слово развеселило и ободрило девушку.

— Да, я так и сделаю, это прелестно, — сказала она с воодушевлением, полным живописных картин; как бы уже став полудикой, сильной и загорелой, отважно взмахнула она рукой. — Я вытрясу там все яблони; а лазить через забор? Девочкой я лазила по деревьям. Грантом! Добрый Грантом! Спасите меня!

— Я спасу. — Он сказал это с задумчивостью и суровой энергией, но так, что следовало ожидать еще слов, быть может, условий. Затем Грантом повернул лампу, выказавшись в ярком свете ее весь, с улыбающимся неподвижно лицом. Улыбка собрала к его мило прищуренным глазам бодрого и умного старика сетку морщин, эти глаза теперь блестели остро, как искры очков. — Но слушайте, — внезапно оживляясь, сказал он, — не многим я говорю то, что вы услышите; лишь тем, кто отвечает мне складом души. В а м будет понятно сказанное. Не поразитесь и не смутитесь вопросом: уверены ли вы, что э т о — галлюцинация?

Подозревая хитрое испытание, Руна, несколько волнуясь, сказала:

— Да, я вполне уверена; странно было бы думать иначе; не так ли?

— Думать, — сказал Грантом, смотря на ее лоб, — д у м а т ь. Или — знать. Что знаем мы о себе? Однако мы, действительно, знаем нечто, стоящее за пределом чистого опыта. Не д у м а е т е ли вы, что нервность наша, общая сумма нервности, звучащей ныне таким знаменательным и высоким тембром, есть явление свойственное и прежним векам? Отметим лишь эту громадную разницу, не задевая причин. Человек пятнадцатого столетия знал силу душевного напряжения, но не разветвлений его; во всяком случае, столь бесчисленных, столь подобных дробимости нитей асбеста;

там, где человек пятнадцатого столетия просто кричал «хочу», нынешнее это «хочу» облечено в тончайшие ткани изменчиво противоречивых душевных веяний и напевов, где самая основа его есть уже не желание, а — мировоззрение. Теперь возьмем ближе. Мы вздрагиваем от фальшивой ноты, морщимся от неточного или неверного жеста; заразиться или заразить других своим настроением так обычно, что распространено во всех классах и условиях жизни; слова «я знал, что вы это скажете», «это самое я подумал», понимание с полуслова, или даже при одном взгляде; оборачивание на взгляд в спину; ощущение, что перед нами кто-то был там, куда мы едва вошли; смена и глубина настроений — есть лишь жалкие и обыденнейшие примеры могущества нервного восприятия нашего, принимающего размеры стихийные. Не думаете ли теперь вы, что, быть может, скоро наступит время, когда в этом сплетении, в этом сливающимся скоплении нервной силы исчезнут все условные преграды и средства общения? Что слово станет ненужным, ибо мысль будет познавать мысль молчанием, что чувства определятся в сложнейших формах; что в едином духовном, том, океане — появятся души-корабли, двигаясь и правя наверняка? В какой же сфере действуют эти силы?

— Я пропущу, — продолжал он, понижая голос, — все соображения мои касательно этого пункта, как ни интересны они, чтобы подойти к главному, в связи с вами. Есть сфера — или должна быть — подобно тому, как д о л ж н а была быть Америка, когда стало это ясно Колумбу, — в которой все отчетливые представления наши несомненно реальны. Этим я хочу сказать, что они получают существование в момент отчетливого усилия нашего. Поэтому я рассматриваю галлюцинацию, как феномен строгой реальности, способной деформироваться и сгущаться вновь. Хотя мне ваш покой дорог, я со стеснением сочувствовал

вам; я вздрагивал от радости вашей усыпить душу деревней. Если только у вас есть сила, — терпение; есть сознание великой избранности вашей натуры, которой открыты уже сокровища редкие и неисчислимые, — введите в свою жизнь тот мир, блески которого уже даны вам щедрой, тайной рукой. Помните, что страх уничтожает реальность, рассекающую этот мир, подобно мечу в не окрепших еще руках.

Руна, опустив глаза, слушала и не могла вскинуть ресницы. Грантом говорил медленно, но свободно, с сдержанной простой силой точного убеждения; но не поднимала она глаз, ожидая еще чего-то, что казалось, — взгляни она, — не будет никогда сказано. Благодаря способности, присущей весьма многим, и инстинкту, она завязала рот всем впечатлениям, лишь умом отмечая периоды речи Грантома, но мысленно не отвечая на них. Грантом продолжал:

— Реальности, о которых говорю я, — реальности подлинные, вездесущи, как свет и вода. Так, например, я, Грантом, ученый и врач, есть не совсем то, что думают обо мне; я — Х о з и р е н е й, человек, забывший о себе в некоторый момент, уже не подвластный памяти; ни лицо, ни вкусы мои, ни темперамент, ни привычки не имеют решительно ничего общего с Грантомом данного типа. Но об этом мы поговорим в другой раз.

Тогда Руна почувствовала, что должна и может посмотреть теперь так, как выразилось ее настроение. Она взглянула — с впечатлительностью охотника, палец которого готов потянуть спуск, и увидела Грантома иначе: глаза, с полосой белка над острым зрачком. Лицо, потеряв фокус, — тот невидимый центр, к которому в гармонии тяготеют все черты лица, напоминало грубый и жуткий рисунок, полный фальшивых линий. Перед ней сидел сумасшедший.

— Грантом, — мягко произнесла девушка, — так что же? Брак и деревня? Не соединить ли мне это — пока?

Грантом стронулся, пожал плечами, поднял брови и, вздохнув, поправил очки. Малейшего следа искажения не оставалось теперь на его лице, смотревшем из-под очков с вежливой сухостью человека, ошибшегося в собеседнике. Он наклонил голову и поднялся. Руна подала руку.

— Да, — подтвердил он, — все, как я сказал, или в том духе. Лекарства не нужны вам. Будьте здоровы.

И она вышла, раздумывая, — то ли говорил он, что поразило ее. Но он говорил то, именно то, и она не разгадала его особой минуты.

Х

На другой день ей привезли розы из Арда; тот округ славился цветами, выращивая совершеннейшие сорта с простотой рая. Она разбиралась в их влажной красоте с вниманием и любовью матери, причесывающей спутанные кудри своего мальчика. Только теперь, когда все исключительное, как бы имея первый толчок в Друде, спокойно осиливало ее подобно магниту, располагающему железные опилки узором, — прониклась и изумилась она естественным волшебством цветка, созданного покорить мир. Перед ней, на круглом столе лежал благоухающий ворох, с темными зелеными листьями и покалывающей скользкой гладью твердых стеблей. Всепроникающий аромат, казалось, и был тем розовым светом, таящимся среди лепестков, какого лишены розы искусственные. Самые цветы покоились среди смелой листвы своей в чудесном разнообразии красоты столь прелестно-бесстыдной, какая есть в спящей, разметавшейся девушке. Бледный цвет атласисто завернувшихся лепестков

нежно оттенял патрицианскую роскошь алого как ночь венчика, твердые лепестки которого, казалось, связанные обетом, — рдели не раскрываясь. Среди их пурпура и зари снегом, выпавшим в мае, пестрели белые розы, которыми, невольно окрашивая их, слово «роза» сообщает уютную жизненность, дышащую белым очарованием. И желтые — назвать ли их так, повторяя давний грех неверного слова, — нет, не золотые, не желтые, но то, что в яркой особенности этих слов останется недосказанным, — были среди прочих цариц подобны редкому бархату, в складки которого лег густой луч.

Руна разобрала их, погрузив в вазы, и там, краше всех тонких узоров дорогого стекла, стали они по предназначенным им местам встречать взгляды.

Пока девушка занималась этим, в ней складывалось письмо; но не сразу поняла она, что это — письмо. Рассеянно погружаясь в цветы и аромат их, равный самой любви, слышала она слова, возникающие в рисунке усилий, в душе движения пальцев и роз, в самом прикосновении. Вот расцепились стебли, соединить которые хотелось ей ради эффекта, мешал же тому завернувшийся внутрь бутон, и без звука началась речь: — «Я хочу встретиться с вами, проверить и пересмотреть себя». — Слова эти были обращены к твердой и надежной руке, не похожей на женственную руку Лидса, приславшего тот цветник, каким увлеченно занималась она теперь, — к воображенной руке обращалась она, не существующей, но необходимой, и в т а к о й руке мысленно видела свои розы. — «Возьмите их, — сказал тот, чьего лица не видела Руна, — не бойтесь ничего рядом со мной». — На руку ее упал лепесток; — «Я жду, что вы мне напишете», — подсказал он; тут же, уколов палец, от чего движение руки случайно соединило две розы, белую и бордо, она увидела их прижавшимися, в столь разной, но столь внутренне близкой и взаимно необходимой

красе, что этого не могло не быть. — «Что знаем мы о себе и, если я вам пишу, — случайно ли это? Быть вместе, — пока все, о чем думаю я. Рады ли вы этим словам?» — так, без мысли о незримом резце, ваяющем настроение, импровизировала она речь твердой руке; здесь подали ей письмо.

Оставив цветы, Руна стала читать любезное и остроумное повествование бравого балагура: — лесть, шутки, наблюдения, остроты и гимны, — то легкое, лишь спокойному сердцу внятное давление мужского пара, каким действуют психологи сердечного спорта. Без улыбки прочла она привычную и искусную лесть, но был там постскрипtum, где одно имя — Г а л л ь — тяжело взволновало ее: «Вот черная весть, естественно вызывающая почтительное молчание, — и я кладу перо; капитан Галль скончался в Азудже от лихорадки. Мир славной его душе».

Ее как бы хлестнуло по глазам, и, тронув их холодной рукой, еще раз прочла Руна красноречивый постскрипtum. Все то же прочла она, — ни больше, ни меньше; лишь больше — в своей душе, поняв, что письмо, едва родившееся в ней, пока она разбирала цветы, — смято уже этим ударом; что думалось и назначалось оно в Азуджу, — р а д и с п а с е н и я — погибшему офицеру.

XI

К концу сентября Руна переехала в Гвинкль, где горы обступают долину небесным снегом, строго наказав прислуге не сообщать никому ее адрес, и всем запретила писать себе. Ее круг, узнав это, переглянулся с церемонной улыбкой, приветствующей каприз, ставший законом.

Она сняла в деревенской семье комнату с бедной обстановкой, живя, как жили окружавшие ее люди, преодолев насмешливые или недоброжелательные

взгляды, работала она на виноградниках и в садах, в изнеможении таская корзины, полные винограда и слив, копая землю, умываясь в ручье, засыпая и вставая с зарей, питаясь кислым хлебом и молоком, не зная книг, далеко уходя в лес, в дикой громаде которого печально рассматривала внутренний мир свой, как смотрят на драгоценный сосуд, теряющий замкнутое свое единство от расколовшей его трещины. Как ни уставала, как ни томилась она среди этого мира, где одинаково звучат ласка и брань, где позыв заменяет желание, где никто не видит листьев и цветов так, как видим мы их, будто читая книгу,— ничто не утратила она ни из осанки, ни из выражений своих и, содрогаясь тонким плечом под тяжестью фруктовых корзин, шла также, как входила на бал. Она загорела, ее руки покраснели и стали портиться, но следовала она намеченному с упорством страдающего бессонницей, который, повернувшись лицом к стене и отсчитывая до ста, готов еще и еще повторять счет, — пока не заснет. Так шла неделя, другая, — на третьей почувствовала она, что хороша и мила ей эта раскинувшаяся цветущим трудом земля; что «я» и «она» можно соединить в «мы», без мысли, лишь вздохом успокоения. Она стала напевать, мирно улыбаться прохожим, шевелить носком прут, устойчивость и мера вещей снова окружали ее. Руна окрепла.

Раз вечером утих ветер; западное небо побледнело и выяснилось, как зеркало, отразившее пустоту. Три облака встали над красной полосой горизонта — одно другого громаднее, медленно валились они к тускнеющему зениту, — обрывок великолепной страны, не знающей посещений. Едва наделяло воображение монументальную легкость этих эфемерид земной формой пейзажа, полного белым светом, как с чувством путника бродило уже вверху, в сказочном одиночестве непостижимой и вечной цели. Легко было задуматься без желаний отчетливым сном раскрывшей гла-

за души над отблесками этой страны, но не легко вернуться к себе, — печально и далеко звеня, падало, теряясь при этом, что-то подобное украшению.

Не скоро заметила Руна, что к легкому ее созерцанию подошло беспокойство, но, различив среди светлых теней вечера темную глухую черту, встала, как при опасности. Протянув руку, отталкивала она этот набег, — вихрь, какой — сердце не обмануло ее — возник в облачных садах Гесперид. Звонкие голоса играющих детей стали вдруг смутны, как за стеной; силы оставили ее; беспомощно устремив взгляд на плавное движение облачного массива, увидела она, что прямо к ее лицу мчатся, подобно летающей птице, блестящие, задумчивые глаза, — ни черт, ни линий тела не было в ужасной игре той, — одни лишь, получившие невозможную жизнь среди алой зари, падая и летя, близились с воздушных стремнин глаза Друда. Как при встрече, были уже близки и ясны они, но, едва сердце несчастной стало на краю обморока, мгновенно исчезли.

Два дня Руна была больна, на третий, с внезапным отвращением к тому, что так еще недавно поддерживало и веселило ее, — возвратилась домой. Она не потеряла надежды. Напротив, в новой надежде этой, так просто протянувшей ей руку, встретила она как бы старого друга, о котором забыла. Но друг был тут, рядом, — стоило лишь с доверием обратиться к нему. Его голос был так же спокоен, как и в дни детства, — вечен, как шум реки, и прост, как дыхание. Следовало послушать, что скажет он, выслушать и поверить ему.

Тот день она провела тихо, не беспокоили ее ни мелочи жизни, ни страх, ни воспоминания. Прошлось как бы за прозрачной стеной, незыблемой и пропускающей душевные бедствия, и она тихо рассматривала его. Как стемнело, Руна вышла одна, калиткой сада, в сеть второстепенных улиц города; за ними был переулочек с маленькой церковью, стоявшей на

небольшой площади. Вечерняя служба кончилась; несколько прохожих миновали ее, выйдя из освещенных дверей, в глубине которых блестели серебро и свечи. Уже разошлись все, храм был полутемен и пуст; церковный сторож, подметая за колоннами пол, передвигал огромную свою тень из угла в угол, сам оставаясь невидимым; мерный шум его щетки, потрескивание горящего воска и тишина, еще полная теплого церковного запаха, казалось, всегда были и всегда будут здесь, маня внутренне отдохнуть.

Хотя свечи догорали в приделах, сообщая лиловеющими огнями лицам святых особенное выражение тайной, ушедшей в себя жизни, алтарь был освещен ярко; блестели там цветные и золотые искры сосудов; огромные, снежной белизны свечи вздымали спокойное пламя к полутьме сводов, отблеск которого золотой водой струился по потемневшим краскам образа богоматери бурь, лет тридцать назад заказанной и пожертвованной моряками Лисса. Буйная братия украшала драгоценность свою, как могла. Не один изъеденный тропическими чесотками, почерневший от спирта и зноя, начиненный болезнями и деяниями, о которых даже говорить надо, подумав как это сказать, волосатый верзила, разучившись крестить лоб, а из молитв помня лишь «Дай», — являлся сюда после многолетнего рейса, умытый и выбритый; дрожа с похмелья, оставлял он перед святой девушкой Назарета, что мог или хотел захватить. На деревянных горках лежали здесь предметы разнообразнейшие. Модели судов, океанские раковины, маленькие золоченые якоря, свертки канатов, перевитые кораллом и жемчугом, куски паруса, куски мачт или рулей — от тех, чье судно выдержало набег смерти; китайские ларцы, монеты всех стран; среди пестроты даров этих лежали на спине с злыми, топорными лицами деревянные идолы, вывезенные бог весть из какой замысловатой страны. Смотря на странные эти коллекции, невольно думалось и о бедности и

о страшном богатстве тех, кто может дарить так, сам искренне любясь подарком своим, и ради него же лишний раз заходя в церковь, чтобы, рассматривая какого-нибудь засохшего морского ежа, повторить удовольствие, думая: «Ежа принес я; вот он стоит».

Среди этого вызывающего раздумье великолепия, воздвигнутого людьми, знающими смерть и жизнь далеко не понаслышке, взгляд божественной девушки был с кротким и важным вниманием обращен к лицу сидящего на ее коленях ребенка, который, левой ручонкой держась за правую руку матери, детским жестом протягивал другую к зрителю, ладошкой вперед. Его глаза — эти всегда задумчивые глаза маленького Христа — смотрели на далекую судьбу мира. У его ног, нарисованный технически так безукоризненно, что, несомненно, искупал тем общие недочеты живописи, лежал корабельный компас.

Здесь Руна стала на колени с опущенной головой, прося и моля спасения. Но не сливалась ее душа с озаренным покоем мирной картины этой; ни простоты, ни легкости не чувствовала она; ни тихих, само собой возникающих, единственно-нужных слов, ни — по-иному — лепета тишины; лишь ставя свое бедствие мысленно меж алтарем и собой, как приведенного насильно врага. Что-то неуловимое и твердое не могло раствориться в ней, мешая выйти слезам. И страстно слез этих хотелось ей. Как мысли, как душа, стеснено было ее дыхание, — больше и прежде всего чувствовала она себя, — такую, к какой привыкла, — и рассеянно наблюдая за собой, не могла выйти из плена этого рассматривающего ее — в ней же, — спокойного наблюдения. Как будто в теплой комнате босая на холодном полу стояла она.

— Так верю ли я? — спросила она с отчаянием.

— Верю, — ответила себе Руна, — верю, конечно, нельзя не знать этого, но отвыкла чувствовать я веру свою. Боже, окропи мне ее!

Измученная, подняла она взгляд, помня, как впечатление глаз задумавшегося ребенка подало ей вначале надежду увлекательного порыва. Выше поднялось пламя свечей, алтарь стал ярче, ослепительно сверкнул золотой узор церкви, как огненной чертой было обведено все по контуру. И здесь, единственный за все это время раз — без тени страха, так как окружающее самовнушенной защитой светилось и горело в ней,— увидела она, сквозь золотой туман алтаря, что Друд вышел из рамы, сев у ног маленького Христа. В грязной и грубой одежде рыбака был он, словно лишь теперь вышел из лодки; улыбнулся ему Христос довольной улыбкой мальчика, видящего забавного дядю, и приветливо посмотрела Она. Пришедший взял острую раковину с завернутым внутрь краем и приложил к уху. «Вот шумит море», — тихо сказал он. — «Шумит»... «море»... — шепнуло эхо в углях. И он подал раковину Христу, чтобы слышал он, как шумит море в сердцах. Мальчик нетерпеливым жестом схватил ее, больше его головы была эта раковина, но, с некоторым трудом удержав ее при помощи матери, он стал так же, как прикладывал к уху Друд, слушать, с глазами, устремленными в ту даль, откуда рокотала волна. Затем палец взрослого человека опустил на стрелку компаса, вода ее взад и вперед — кругом. Ребенок посмотрел и кивнул.

Усмотрев неподвижно застывшую в земном, долгом поклоне женщину, сторож некоторое время ожидал, что она поднимется — он собрался закрыть и запереть церковь. Но женщина не шевелилась. Тогда, окликнув, а затем тронув ее, испуганный человек принес холодной воды. Очнувшись, Руна отдала ему деньги, какие были с ней, и, сославшись на нездоровье, попросила позвать извозчика, что и было исполнено. Усталая и разбитая, как устают после долгого путешествия, она вернулась домой, спрашивая себя, — стоит ли и можно ли теперь жить?

Часть III

ВЕЧЕР И ДАЛЬ

I

К двенадцатому часу ночи Тави вернулась в Сан-Риоль. Все мелкие и большие события этого дня, подобных которым не было еще ничего в ее жизни, ехали и высадились с ней, и она не могла прогнать их. Они жили и осаждали ее под знаком Крукса.

По стеклянной галерее старого дома, среди развешенного для сушки белья, ненужных ящичков и другого хлама, откатывая ногой пустую бутылку или спотыкаясь о кошку, Тави нащупала свою дверь и, усталой рукою вложив ключ, задумчиво повернула его. Здесь на нее напал малый столбняк, подобный большому столбняку в Лиссе, когда, приложив к губам кончик пальца, она выстояла не менее получаса у витрины в глубокой рассеянности Сократа, решая все и не решив ничего. Среди волнения и потуг малый столбняк этот разразился наконец многочисленными бурными вздохами, а также тщеславным взглядом на себя со стороны, как на бывалого человека, — этакое тертого дядю, которого теперь трудно удивить чем-нибудь.

Получив наконец окончательное круговое движение, ключ пропахал таинственные внутренности замка, став теплым от горячей руки, и вырвался из железа с треском, наполнившим сердце Тави уважением к себе, а также желанием совершить рывком что-нибудь еще более отчетливое. Войдя, сумрачно осмотрелась она.

Запыленная электрическая лампочка, вокруг которой немедленно появились мухи, вспыхнула своей раскаленной петлей среди беспорядка, возвращаясь к которому после впечатлений иных, мы в первый раз замечаем его. Холодом и пустотой окружена каждая вещь; безжизненно, как засохший букет, в пыли и сору встречает нас покинутое жилище. Кажется, что год мы не были здесь, — так резка нетерпеливая жажда

уюта, — с неприглядностью, оставшейся после торопливых и полных надежд сборов.

Все этажи этого дома были окружены крытыми стеклянными галереями, с выходящим на них рядом дверей тесных полуквартир, имевших кухню при самой двери, с небольшою за ней комнатою, два окна которой обращены на полузасохшие кусты пыльного двора. Здесь ютилась ремесленная беднота, мелкие торговцы, благородные нищие и матросы. У Тави не было мебели, не было также никого родственников. Мебель в квартире осталась от прежнего жильца, пьяницы капитана, давно покинувшего свое ремесло; он умер собачьей смертью во время драки на Берадском мосту; шатнувшись, грузное тело багрового старика опрокинуло гнилые перила, и очевидцы могли рассказать только, что, падая, выругался он страшно и громко. Поток унес его тело, грехи и брань в острые расселины Ревущей щели; тело не было найдено. От него остались — комод, ящики которого распухали иногда по неизвестной причине, не закрываясь неделями; кровать, несколько ковровых складных стульев, шкаф с тряпками и коробки из-под табаку, гипсовый раскрашенный сарацин да пара тарелок; остальное, если и было что получше, — исчезло.

Тави не помнила ни отца, ни матери; ее мать, бросив мужа, бежала с проезжим красивым казнокрадом; отец поступил на военную службу и погиб в сражении. Детство свое провела Тави у полуслепой двоюродной тетки, мучаясь более чем старуха ее болезнями и припарками, так как они отняли у нее много крови. На пятнадцатом году знакомый теткин книготорговец взял девушку в работу по лавке; она продавала книги и жила впроголодь. Потом он разорился и умер, а Тави напечатала объявление.

Вот биография, в какой больше смысла, чем в блистательном отщелкивании подошв Казановы по полусветским и дворцовым паркетам мира. Но не об этом

думала Тави, сев в кухне перед плитой и кипятя чай; так были резки новые ее впечатления, что она не отрывалась от них. Куда бы задумчиво ни посмотрела она, стена проваливалась в ночь светлым пятном и в его лучистом дыме над свечами страшного гроба неслись серебряные гирлянды странного аппарата. То представлялось ей, что, как бы тронутый гигантским пальцем, кружится, пестрея, огромный диск города; то чувство случайно попавшего в сражение и благополучно его покинувшего человека поднималось вместе с благодарственным дымом от наболевших пяток к утомленным глазам; то искренно дивилась она, что не произошло чего-нибудь еще более ошеломительного.

— Тави, моя дорогая, — говорила девушка, — как ты на это смотришь? Знала ли я, что существуют города, где от тебя могут остаться только рожки да ножки? Воистину, Торп — Синяя Борода. Кто же такой Крукс? Но это, видимо, вполне порядочный человек. Все-таки он прост, как теленок. Он мог бы прилететь в своем аппарате и сесть к ним прямо на стол.

Представив это, она залилась смехом, упав в ладони лицом; выразительная дрожь тихой забавы, смеха и удовольствия перебегала в заискрившихся ее глазах, посматривающих на воображаемое из-за пальцев, как из фаты. Она принадлежала к тем немногим поистине счастливым натурам, для которых все в мире так же просто, как их кроткое благодушие; аэроплан и бабочка едва ли сильно разнились на взгляд Тави, разве лишь тем, что у бабочки нет винта. Поэтому более удивительным казался ей неистовый восторг зрителей, чем самый эксперимент.

— Он поднялся, но он сказал, что поднимется; и сказал — почему: вибрация звуков, производимых колокольчиками. Как вышло красиво! Правду сказал кто-то, что искусство воздухоплавания начинает новую эру! Давно пора делать эти вещи красивыми и разнообразными, как делают же, например, мебель.

Сквозь такие мысли, полные острого воспоминания, как она была окружена любопытными, вообразившими, что именно эта девушка в с е знает, и как бегством спаслась от них, неотступно мерещилось лицо самого Крукса; все еще слышала она его голос; как он сказал: «Мы скоро увидимся». — Зачем он сказал это? Почему знает он, что Торп умер? Она стала, наконец, раздражаться, так как ни объяснить, ни придумать ничего не могла, даже в спине заныло от размышлений. «Спросил ли он по крайней мере, — хочу ли я увидеть его?» — вот вопрос, о который споткнувшись, Тави начала повторять: — «Хочу ли увидеть его?» «Хочу ли увидеть его?» — пока ей это не надоело. «Хочу. Да, хочу, и все тут; у него было ко мне хорошее отношение». От этой мысли почувствовала она себя сиротливо-усталой, обобранной и затерянной; к глазам подступили слезы. Тави всплакнула, съела кусок хлеба, выпила чай, утихла и легла спать, твердо решив оживить завтрашний день рождения весельем и угощением немногих своих знакомых.

Повертываясь лицом к стене, тронула она грудь, чувствуя, что чего-то нет. Не было медальона, оставленного ею в Лисском ломбарде.

«Но я выкуплю его, как продам шаль, — подумала девушка. — Заказываю себе видеть хороший сон, о-чень интересный. Крукса хочу. Должно быть, увижу, как лечу с ним туда-сюда, в этой его штуковине.

Ах, Крукс, не знаете вы, что одна думает о вас и ничего не понимает и спит... спит... ссп...»

Здесь трубочкой собрались губы, с приткнувшимся к ним указательным пальцем; затем Тави умолкла, видя все, чего не увидим мы.

II

В семь утра Тави проснулась, увидев все, что видим и мы. Минуты две возилась она с изгнанием ночной свежести, проникшей под одеяло, утыкала его вокруг

себя, протерла глаза и восстановила момент. Он имел праздничный оттенок, с загадкой вчера и безденежьем сегодня. Меж настоящим и давно бывшим, отрывком непостижимой истории, лежало путешествие в Лисс.

Хотя, устав, спала она крепко, но проснулась так рано по внутреннему приказанию, какое бессознательно даем себе мы, если грядущий день ставит хлопотливые цели.

— Этого-то числа я родилась, — сказала девушка, вытаскивая из-под одеяла свои руки, глядя их и рассматривая как бы со стороны.

С скорбью нашла она, что они достойны гримасы, во всяком случае не хороши так, как у статуй или на известных картинах. Но — ничего. Полюбовавшись на руки, с тревогой ощупала она ноги, — не кривы ли они, — вдруг они кривы? Одну вытащила она из-под одеяла, подняв вверх, но кроме белизны, прямизны и маленькой ступни, не заметила ничего. Вдруг представила она, что кто-то видит эти поучительные занятия, и, взрыв постель, скрылась в ней, как в воде, таща тут же со стула брошенную вчера одежду, и оделась для уюта под одеялом.

С шалью, увязанной в газеты, вышла она из кухни. Ей стали встречаться соседи. Веселая, горбатая прачка бойко загремела за ней по лестнице, схватив ее руку и крича, как глухой:

— Разве не уезжала? Когда приехала?

Супруги Пунктир, заезжие актеры без сцены, кокетливые старички, поливали из чайника цветочные горшки; завидев Тави, дружно ринулись они к ней с жеманным любопытством в глазах.

— Устроили ли вы ваши дела, Тави? — сказала старушка; старик, приподняв одну бровь, готовил соответствующее выражение, в зависимости от того, какой будет ответ.

— Да, ваши дела, — повторил он. — Откройте в себе талант, талант к сцене, при выигрышной вашей фигуре...

Супруга перебила его ледяным взглядом, отчего, собрав плечи к ушам, умолк он с сладостью и приятностью в лице, стряхивая с рукава ниточку.

— У кого же будете вы служить, моя милая? — осведомилась мадам Пунктир тоном легкого нездоровья.

Еще несколько лиц, в туфлях на босую ногу, с трубкой или шпилькой в зубах задали Тави те же вопросы, и всем им отвечала она, что не согласилась на скаредные условия при трудной работе.

— Ну, как-нибудь! — был общий ответ.

Короче всего поговорила девушка с Квангом, массивная фигура которого, сидя на тюфяке у дверей и протянув ноги поперек галереи, не убрала бы их, шестувуй тут эскадрон; их требовалось обойти или перешагнуть. Кванг был кочегар. Увидев Тави, он только дрогнул ногой, но не убрал ее, а почесал спину. Вынув изо рта трубку, он сказал в разбегающееся кольцо дыма:

— Не вышло?

— Нет, — бросила на ходу Тави. При этом разговаривающие даже не посмотрели друг другу в лицо.

— Кикс? — сказал Кванг.

— Фью, — свистнула Тави.

Кванг продолжал курить.

Наступал один из тех упоенных блеском своим жарких и звонких дней, когда волнующаяся, легкая свежесть нарядного утра подобна приветливой руке, трогающей глаза, перед тем как взглянуть им за огненную черту чувств в полном и тяжелом цвету. Торопясь до наступления жары вернуться домой, Тави шла скоро, попав в центр к открытию магазинов. Ей пришлось уже иметь дело с лавками, торгующими случайными вещами самого разнообразного назначения; в одну такую лавку и обратилась она.

— Эту шаль я продаю, — сурово сказала она торговцу, бросившему свой завтрак ради наживы.

Жуя, стал он рассматривать шаль, вертя ее перед кисло-угрюмым своим лицом так тщательно-

но, как едва ли вертели ее ткачи.

— Пока вы смотрите, я поговорю в ваш телефон, — сказала девушка и, припомнив нужные номера, стала звонить.

— Квартира доктора Эммерсона, — сказал ей в ухо издалика женский голос.

— Ну, и что же вы хотите за вашу вещь? — спросил лавочник.

— Рита дома? — сказала Тави. — Тридцать она стоила, может быть, двадцать пять не разорит вас? — «Она дома, и я сейчас позову ее».

— Послушайте, барышня, — сказал торговец, — зачем говорить лишнее, когда я вам продам такую же, и еще лучше за пятнадцать, две, три, сто штук продам.

— Ведь я продаю, — кротко ответила девушка. — Рита, ты? — «Да, я, кто это?» — голос был спокоен и глуховат. — Но это я, Тави.

— Берите двенадцать, — сказал лавочник.

— Лучше я брошу ее. — «Тави, что ты говоришь? Я не поняла». — Не смущайся, Рита, я говорю с тобой и еще с одним. Приходи сегодня ко мне вечером с твоим пузиковатым Бутсом. Это? — День рождения.

— Берите пятнадцать! — крикнул торгаш.

— Ну, что там поздравлять, — хорошо, я возьму пятнадцать, — стареем мы с тобой, Рита, легко ли нести почти два десятка?! Жду и угощу всякими штуками. Что? Ну, будь здорова.

Отойдя, подставила она руку, серьезно и грустно смотря, как хозяин лавки опускал в нее одну за другой серебряные монеты. Он делал это, осклабясь и засматривая в лицо девушке.

— Будьте здоровы, — сказал он, — приносите, что будет; мы все купим.

— Купить, перекупить, распроприторговать и распротерепродать, — рассеянно сказала Тави, став на порог и оборачиваясь с задорной улыбкой, — но одно-го вы не купите.

— Ну, что такое? — задетый в торговом азарте, спросил лавочник, взбодрясь и потирая руки.

— Вы не купите дня рождения, как я купила его. Вот! — она сжала деньги, подняла руку и рассмеялась. — Не купите! Трафагатор, Эклиадор и Макрида-тор!

С тем, выпалив эти слова в подражание оккультному роману, который прочла недавно, смеясь, выпорхнула и исчезла девушка на блеске раннего солнца, мешающего смотреть прямо белой слепотой в слезящихся глазах.

Купив, о чем мечтала еще вчера, — красную розу и белую лилию, Тави приколола их к платью. В ее корзине лежали уже яйца, мясо, масло и мука; среди провизии торчало серебряное горлышко темной винной бутылки; несколько апельсинов рдели под батистовым локтем. Так, вооруженная, с сознанием подвига явилась она домой, присела, почмокала в хозяйственном раздумье и затопила плиту.

Разгоревшись, огонь вычертил щели чугунных досок. Комната и кухня пылали солнцем; уютен стал сам беспорядок; роза и лилия, в голубеньком молочном кувшине, поставленном на стол с оползшей скатертью, отрадно цвели. Смотря на них, Тави захотелось в сады, полные зеленого серебра лиственных просветов, где клумбы горят цветами, и яркая, как громкое биние сердца, тишина властвует над чистой минутой. Опустив мясо в кастрюлю, посмотрела она вокруг и увидела простой, одинокий час, пригретый утренним солнцем. Тогда захотелось ей, чтобы сердце билось больно и сладко; варварски расправилась она с своими припасами и, наспех, притопывая от нетерпения ногой, шлепнула на мясо кусок масла, решив посолить потом, как будет готово; кипя и сердясь, протолкла в глиняной чашке муку, полив ее молоком и яйцами, размесила фарш и начинила пирог. По приближении к концу этих занятий пред-

ставилось ей, как будет все вкусно; тогда, искательно посмотрев на пирог и мясо, уже несколько бережнее сунула она кушанье в духовой шкаф; затем вымыла руки, схватила книгу и уселась против окна.

Тонкий запах розы противоречил убожеству. Жажда роскоши овладела Тави; опрокинув на платок из флакона каплю духов, вдохнула она аромат их с видом относительного удовлетворения и положила платок рядом на стол. Но было что-то в другой руке, и она разжала ее: упал на колени кусок старого сыра, схваченного попутно, в рассеянности. Как водится, сыр просил хлеба. Нехотя придвинула она ногой стул, на котором со вчерашнего вечера лежала краюха, ущипнула от корки. Сыр был так горек, что она плюнула, но, воодушевясь, старательно выскребла ножом плесень, снова уселась и стала жевать, не забывая прикладываться к платку; меж тем ее блестящие глаза быстро, — взад-вперед, — пересекали страницу.

В то время, как в духовой яростно скворчало мясо, вздувался и опадал пирог, решив лучше подгреть, чем уступить какой-то литературе, всадник из Сен-Круа по каменистой дороге, взбивая пыль, мчался к Алансонскому герцогу с известием о нападении англичан, и, держась за всадника, сидела пропитанная духами Тави. В то время как лорд, губернатор Калэ, требовал от Дианы невозможных страстей, — соус полился через край, но Тави ледяным взглядом сказала лорду: — «О, нет!» И когда рыцарь, герой всех времен и стран, освобождал пленницу, пирог, лопнув, выпустил часть начинки, а Тави, краснея, решила уже сказать рыцарю с огромным мечом: — «Да».

О вы, люди, умершие люди, с детской чертой глаз, омраченных жизнью! Вам улыбаются и вас приветствуют все, кто дышит воздухом беспокойным и сладким невозможной страны. Спала или нет Тави — не знала она; но, устав, видела, как среди армий

англичан и французов появились индейцы. Переплет какой книги не удержал их? Все пропало. Проведя рукой по глазам, Тави очнулась и вернулась к хозяйству.

III

Убирая комнату, стирала она тряпкой пыль, гремела стульями, чистила и вытирала посуду, и от возни разгорелись ее нежные щеки. Чувствуя, что они горят, Тави подошла к зеркалу, фыркая и отплевываясь.

— Тьфу, тьфу! как ведьма, как трубочист; не лучше я этого Сарацина!

Действительно, ее нос был в пыли, полоса сажи мараля щеку, а шея засерела от пыли. Уже Тави схватила полотенце, чтобы вытереться, но, подавленная, со вздохом опустила руку, качая головой:

— Не для кого мне прибираться и умываться; хороша я и так.

Действительно, она была хороша и так.

Нет более удобного момента описать женщину, как когда она сама вспомнит об этом; описать, так сказать, при случае. Раз наступил такой случай, грешно было бы упустить его, ожидая нового случая. Вероятно, проникательный читатель заметил, что, подчеркивая наши слова — «она была хороша и так», — то есть хороша, несмотря на запачканное пылью и сажей личико, мы разумеем не классическую гармонию очертаний, которой именно нельзя быть тронутой сажой, так как сажное пятно мгновенно обезобразит ее. Попробуйте произвести опыт со статуей, попачкав ее прекрасные, однако лишенные иного выражения, кроме выражения условного совершенства, черты чем-нибудь темным, хотя бы той же сажой, — мгновенно исчезнет очарование. Пятно или полоска придадут спокойствию совершенных форм мрамора гибельную черту, так же неумолимо пора-

жающую законченность, как клякса на белом листе бумаги делает вдруг неопрятным весь лист. Равным образом красавица с головы до ног, женщина красоты безупречной и строгой, теряет все, если у ней запылится нос или осквернится щека чернильным пятном; такова природа всякого совершенства, могучего, но и беззащитного, если чему-нибудь в чем-нибудь резко уступило оно.

Однако живая и веселая девушка с неправильным, но милым и нежным лицом, с лучистым и теплым, как тихий звон, взглядом, выражение которого беспрерывно разнообразно; девушка, все время ткущая вокруг себя незримый след легких и беззаботных движений; худенькая, но хорошо сложенная, с открытым и чистым голосом, с улыбкой, мелькающей как трепет летней листвы, — может, не вредя себе ровно ничем, пачкаться и пылиться сколько душе угодно; ее вызывающая заботливую улыбку прелесть победит черное тягло сажи потому, что у нее более средств для этого, чем у неподвижной статуи, или живой, но с медленным темпом излучаемых впечатлений богини. Может ли последняя запрыгать, хохоча и хлопая себя по бокам? Нет. Но это может всякая просто миловидная девушка, мало заботящаяся о том, как выглядит подобный эксперимент.

Вот все, что мы хотели сказать, воспользовавшись подходящим моментом. Меж тем, вытирая вещи, стоящие на комодѣ, Тави повела мысленную беседу с Сарацином из гипса. Не раз о его подножие пропавший капитан выколачивал трубку, чем сбил краску, окружив ноги Сарацина ужасными ямами. Сарацин, поднеся руку к глазам, смотрел вдаль, другой же рукой держался за рукоять ятагана.

— Ну, как у вас в Сарацинии? — спросила девушка.

— Да ничего, помаленьку.

— Вот, говорят, вы просветили Испанию, — про-

должала Тави; — были вы, говорят, велики, но умилились. Почему это?

— Я гипсовый, я не знаю, — сказал Сарацин.

— Слушай, — подбоченясь, заговорила девушка, — вынь же наконец свой ятаган, свистни им в воздухе и издай боевой клич; сколько лет держишься ты за эфес, а вытащить клинок не можешь. Воспрянь и изобрази!

— Это не выйдет, — отвечал Сарацин, — но вот что я скажу тебе, белая христианская девушка: я смотрю вдаль, где вижу твою судьбу.

Так ясно прозвучали эти слова, как будто Тави сама произнесла их. И от неподвижного взгляда гипсовой фигуры, с думой о его направлении, невольно обратила она свой взгляд в сторону, куда смотрел мавр; смотрел он на стену. Но за ее скучной границей сияла громадная орифламма мира, с мелькающим голубым зигзагом, который был как бы будущее самой Тави. Так, часто в тени теней невидимого, чертит неразгаданные знаки наша душа, внимая и обещая им на языке размышляющего молчания все, что лишено слов.

За уборкой, мытьем посуды, беготней в лавочку, стряпней и различными касающимися всего этого соображениями прошел жаркий день, уступив душному вечеру. Но не было ничего забыто из происшествий памятного лисского дня; напротив, чем далее, чем упорнее и тяжелее катились мысли, тем непроницаемое становились события; была в них недоступная и непонятная связь. Как ни мучительно стягивала Тави узел из Крукса, з н а в ш е г о, что Торп умер; из Крукса, сразившего толпу действиями, покрывшими оскорбительный гвалт воплем немедленного признания; из Крукса, сказавшего, что они скоро увидятся и что ей не надо будет больше служить, — вся сложная плетенка узла оставалась все же не чем иным, как неразделимым шнуром, стягивая который, лишь каме-

нила она его, бессильная ни развязать, ни порвать. Смерть Торпа была, казалось, выбита двойным рельефом медали из одного с ней и Круксом куска. Размышляя о Круксе, не могла она отказать ему в силе и спокойной уверенности, наполняющих ожиданием, но, представляя себя с затерянной жизнью своей, она смущалась, недоумевая, что может быть общего у него с ней, — у человека, который, не сегодня, так завтра, затмит, может быть, Эдисона.

IV

К восьми вечера, соскучившись уже быть одна, Тави стремглав кинулась открывать дверь, услышав сиротливо-приличный стук, с каким входит человек, оглядывающийся на свои следы.

— Я тебя угадала, — крикнула она, — это ты, Рита, мышка, тихоня, и твой, надо быть, похудевший Бутс!

Рыженькая, сухая девушка, с мелкими чертами лица, солидно переступила порог, оглядываясь на шествующего сзади поклонника.

— Это я, — протяжно сказала она, — но почему же Бутс похудел?

За ее спиной хихикнуло существо столь толстенькое и круглое, что, казалось, положенное набок, могло бы вращаться оно в таком положении, подобно волчку, без опасения задеть ложе какой-либо второй точкой фигуры.

— Почему же Бутс похудел? Он кушает, слава богу. Но, милая, поздравляю тебя. Бутс, поздравляйте. Это тебе торт, Тави.

Взяв одной рукой торт и приняв коротенький поцелуй в губы, на который ответила порывистым чмоком в ухо, другой рукой Тави уцепилась за Бутса, притянув его вплотную к себе. Бутс был человек

двадцати двух лет, во всем цвете пышной полноты десятилетних великанчиков, при каждом повороте которых вспоминается младенец Гаргантюа.

— Так вы не хотите похудеть, Бутс, — сказала Та-ви, ущипнув его за вздрогнувший локоть, — жаль, а тогда вы мне стали бы больше нравиться! Как вы вспотели! Это вам воротничок жмет. Рита, ты не следишь, чтобы он всходил по лестнице тихо, — как у него сердце бьется, как дышит — бедный, бедный! Вам надо попудриться. Хотите, я вас попудрю?

Смеясь, она уже кинулась за пуховкой, но Бутс, подняв обе руки, защитился этим движением с самым жалким видом; искренний испуг и смятение выразились в побагровевшем его лице, а глаза стали влажны, но, поддавшись чему-то смешному, он неожиданно фыркнул, хихикнул и залился тихим смехом.

— По-пу... по-пудриться, — выговорил он наконец, задыхаясь и обтирая лицо платочком, — нет, нет, я никогда, никогда, никогда... не... не пудрюсь! Благодарю вас. Будьте здоровы!

Эти, сказанные наспех, но с жаром отвращения к пудре слова Бутса заставили хозяйку шлепнуться на табурет, удерживая обессиливающий хохот руками, прижатыми к лицу: даже Рита рассмеялась с благодушным спокойствием.

— Однако, милочка, — осведомилась она, — ты так возбуждена, что мне стало тревожно? А? Что с тобой?

Новый стук в дверь перебил это замечание.

— Я весь вечер буду такая! — успела сказать Та-ви. — Видишь ли, моя милая, у меня нервы.

Все еще смеясь, открыла она дверь, приняв в объятия чернокудрявую, с смуглым лицом маленькую обезьянку, в огромной шляпе, Целестину Дюфор, некогда служившую вместе с ней в книжной торговле.

— Здравствуй, Целестиночка, здравствуй!

— Поздравляю, Тавушка, поздравляю!

— Да, старость не радость. Целестинка, негодная, с кем ты пришла? Ах, это твой брат!

Взявшись за руки, скакнули они друг перед другом разка три; затем Тави была изысканно и хлестко поздравлена Флаком, братом девушки; его манеры, насмешливое, самоуверенное лицо, особый лоск заученных и вертлявых жестов, популярных на публичных балах, делали этого юношу с пожившим лицом опытным кавалером, сметливым в любую минуту.

— Цвести и украшать собой жизненный путь, цвета с каждым годом все пышнее и ярче! — так кончил он поздравление.

Внимательно с подвижной улыбкой выслушав как выговор эту тираду, Тави торжественно подала ему вытянутую палкой руку и, неистово тряся руку любезного поздравителя, со вздохом произнесла:

— Ах! Вы пронзили мне сердце! Пронзил он мне сердце или нет? — тут же обратилась она серьезной скороговоркой по очереди ко всем: — Пронзил или нет? Пронзил или нет? Пронзил или нет? — наткнувшись на учтиво посторонившегося Бутса. Умильно склонив голову, толстяк с азартом проклякотал:

— Нет, нет, нет! — и боязливо покосился на Риту, но его выходка была встречена милостивой гримасой.

Тут Тави собралась вытолкнуть гостей из кухни в освещенную, чистую комнату, но сквозь полуприкрытую дверь донеслась снизу металлическая трель мандолин, на что Флак, поведя бровью, заметил:

— О, вот идут Ральф и Муррей!

Точно, два рослых молодых человека, выдвинув вперед такую же рослую, крупную, мужественного вида девушку с некрасивым, но приятным лицом, стали против двери, выставив одну ногу и, тронув рукой бархатные береты, вырвали из струн «безумно-увлекательный» вальс. Так они и вошли с вальсом,

так и раскланялись, не переставая играть. Тут самый очаровательный черт, который сидел когда-либо под юбкой, взвизгнув, дернул девушек за икры, со стоном кинулись они к кавалерам, приладились к их обнявшей руке и завертелись на одном месте, так как вертеться по кругу было бы немисливо в такой тесноте даже цыплятам. Хотя Бутс более поворачивался, чем танцевал, Тави, казалось, была довольна.

— Но вы прелестно танцуете! — шепнула она. — Так легко, как пуховичок!

И добрый толстяк от всего сердца простил ей дерзновенную пудру. В это время высокая девушка, которую звали Алиса, прехладнокровно мяла и вертела в руках жеманно сияющую Риту; наконец, Целестина стукнулась спиной об одного музыканта и бал кончился.

— Как вы более живописны, — сказала Тави молодцам в беретах, чей одинаковый костюм состоял из голубых блуз с красными атласными воротниками, — то мы устроим пестринку. Что, если посажу я вас одного рядом с собой, — именно вас, Муррей, ибо вы приятно мне улыбаются, к тому же белое мое платье и черный пояс — одно к другому подходит?! Ральф, деточка, идите сюда! Алиса, дай, дружок, я к тебе немножко прижмусь.

Они обнялись и погладили друг друга по голове со смехом и теплотой.

— Вот, как-то теперь отраднее, — ну, идите, идите, садитесь, садитесь все, все, все! Этот стул хромой; этот, хотя и не хромой, но хрупок для вас, Бутс; ну, все сели? Уф!

Так, болтая, смеясь, проталкивая одного и усаживая-пересаживая другого, Тави поместила всех за круглым столом, сама усевшись меж Алисой и Мурреем. Не без гордости смотрела она на стол. Алиса принесла сладкий пирог, Рита торт, Ральф вытащил колбасу, а Муррей коробку цукат; кроме того,

перемигнувшись, басом пообещали они друг другу «выпить как следует», отчего дамы, хмыкнув, пожали плечами, спрашивая друг друга:

— Ты понимаешь что-нибудь? Нет. А ты? Еще меньше тебя!

С этого момента Тави можно было видеть в трех положениях: сидящей, ерзая на стуле, и помахивающей перед собой указательным пальцем, держа остальной кулачок сжатым, словно в нем был орех; вставшей, чтобы, топнув, усилить тем значение каких-либо ее стремительных слов, и парящей в полусогнутом виде над заставленным посудой столом. Смеялась и говорила она без умолку, но как камень лежало что-то под сердцем, мешая вольно вздохнуть. Так ноет иногда зуб, — ноет, когда вспомнишь о нем.

Как едят и пьют — нам известно, разве лишь если звякнет оброненная ложка, или поперхнется, брызнув изо рта кофеем, смешливый сосед, вызвав визг и отодвигание стульев, — стоит упомянуть об этом.

— Что же твоя поездка, Тави? — спросила Алиса, взглянув на ввернувшую словцо Риту.

— Ты не раздумала служить в о о б щ е е? — сказала Рита; — право, твой праздник хоть кому впору!

Тави перевернула блюдечко, подбросила, поймала его и стала еще подбрасывать, говоря:

— С этим делом прозевала, прозевала! Опоздала. Там нанялась другая.

Вдруг захотелось ей рассказать все, но, открыв рот и уже блеснув глазами, почувствовала, что не может. Есть минуты, которых нельзя коснуться без удивления, а может быть, и усмешки со стороны слушателя, во всяком случае рассказывают их с глазу на глаз, а не в трепете веселого вечерка.

— А... э... э... — этими щebetовидными звуками ограничился ее слабый порыв; она порозовела и толкнула Муррея, написав ему пальцем на щеке: — «Фью».

— Оставим это, — равнодушно сказала Тави; — сегодня мне не хочется говорить о моей неудаче.

— Ну, так и быть! — вскричал Ральф, хлопая себя по колену. — Займемся существенным. Неси бутылки, Муррей, а штопор у меня есть.

Ни слова не говоря, Муррей поднялся с лунатическим лицом, вышел и вернулся с бутылками, висящими у него горлышками меж пальцев, как гроздь.

— Вот так ручища, — сказал Флак. — Но где же было это добро?

— Боясь, что мы застанем всех пьяными, — сказал Муррей, — и не желая никому гибели, я оставил их в галерее.

Похохотав, компания стала рассматривать ярлыки. Целестина, обводя пальцами буквы, прочла: «Ром».

— Ром! — вскричала она с ужасом. — Но это нас убьет! Ты станешь пить эту гадость, Алиса? А ты, Рита? Я — нет, ни за что!

— Есть и мускат, — вежливо возразил Ральф, — вот он, водичка для канареек, позор пьющих и нищета философии!

— А что э т о такое? — спросила Рита, серьезно приглядываясь к бутылке.

— Простая касторка, — сказал Муррей.

Наконец переговорили и перешутили по этому поводу все, и Муррей стал наливать; дамы протягивали ему стаканы, прижимая отмеривающий пальчик почти к самому дну, но постепенно поднимая его выше, как повышался уровень булькающего из бутылки вина.

— А моя, моя, моя скромненькая бутылочка, что я купила, — сказала Тави, — мне подавать ли ее?

— Непременно, непременно! — вскричали мужчины. Бутс тихо потел, кланялся и сиял, вытирая лицо.

— Так выпьем! — предложил более других нетерпеливый Флак.

Тут кто пригубил, кто опрокинул, и стройные поздравления зашумели вокруг Тави, которая, поперхнувшись слегка вином, чихнула, нервно помахав рукой в знак благодарности.

— Всем, всем, всем! — сказала она, тут же подумав: — «Интересно, как поздравил бы меня таинственный мой знакомый Крукс?»

Но мысли ее перебились возгласом:

— Так должен я рассказать, — продолжал возгласивший, — это был Муррей, — что в преинтереснейшем номере сегодняшней газеты прочел я поразительнейшую вещь, — и я думал, Тави, что вы, может быть, вчера слышали об этом, так как были в Лиссе.

— Я тоже читала. Глупости, — сказала, прожевывая пирог, Рита. — Что-то невероятное.

— Так вы не знаете? — закричал Муррей. — Со мной есть эта газета. Речь идет о новом изобретателе. Он полетел так, что все ахнули. Неужели вы не слышали ничего?

Удерживая знаки тревожного волнения, Тави невинно обратила к нему лицо, мигая с внимающим недоумением, слегка окрашенным беззаботным усилием памяти.

— Я слышала, — протяжно сказала она, — я слышала что-то такое, что-то в этом роде, но, надо думать, я задремала и заспала, что говорили в вагоне. Ну, почитайте!

Муррей развернул газету, отыскивая статью, поразившую его.

— Тише, — сказала Рита, хотя все молча ожидали чтения; Муррею же никак не удавалось сразу разыскать нужный столбец. Общество, покашливая, ожидало начала чтения. Было тихо; этой тишине ответила вдруг ставшая неприятно ясной внешняя тишина дома; как будто разом погрузился он в сон, как бы заснул и весь город.

— Что это, как тихо везде! — заметила, нервно оглядываясь, Алиса, — неужели уже так поздно?

— Вот, — сказал, раскладывая газету, Муррей. — Судите сами, какое волнение произошло в Лиссе. Слушайте! — Но он остановился, как немедленно остановили свое внимание на другом все: быстрый, громкий стук заставил оцепенеть чтеца и слушателей.

— Это что такое? — воскликнула Тави, но еще громче и требовательнее грянули новые удары и, слабо побледнев, двинулась она с обеспокоенным лицом в кухню, жестом приглашая сидеть всех спокойно. У двери ее опередил Муррей; отстранив девушку, он сильно распахнул дверь; за ней, во тьме, пошевелилась толпа.

Кто понял, кто успел понять в чем дело, — уже вскрикнули и повскакали, грохоча стульями, но Тави, прижав рукой грудь, шаг за шагом отступала к комнате.

— Гром и молния! — сказал, оглядывая гостей, Флак; как он, оглядывались друг на друга все, видя, что бледны и поражены. Но Тави с упавшим сердцем могла только быстро дышать, не веря глазам. Шесть жандармов окружало ее; еще двое, войдя, остановились у двери; остальные, разъединив гостей, наполнили всю квартиру, став зорки и неподвижны, и в лицах их сверкнуло что-то цепное, готовое сорваться по приказанию.

Как вещь, которой только что любовались мы покойно и беззаботно, вырванная мгновенно из рук чужим, полным ненависти движением, исчезает с сразившей настроением болью внутреннего удара, так мгновенно вырван был, сломан и отброшен веселый цвет этого вечера. Страх вдвинул томительное жало в упавшие сердца бледных гостей; вскочив, вскрикнули и переглянулись они, видя по лицам других, как бледны сами, как схвачены и потрясены видом оружия.

— Тави! — вскричала Алиса.

— Я отказываюсь понимать что-нибудь, — с сердцем сказала девушка, мрачно рассматривая остановившегося на пороге человека в черном мундире, в свою очередь, пристально смотревшего на нее. У него был привычно отмечающий центр сцены взгляд; в руке он держал портфель, сжимая другой рукой острый свой подбородок.

— Так объясните, что это все значит, — сказала Тави, стараясь улыбнуться, — это вы привели их? Смотрите, как перепугали вы нас. Я еще вся дрожу. Ведь вы ошиблись, конечно? Тогда извинитесь и уйдите; и то еще я посмотрю, как прощу вас. Это помещение занимаю я. Меня зовут Тави Тум. Вот все, что вам было не нужно знать.

— Тави Тум, — сказал неизвестный, — установить вашу личность — как раз то, что нам нужно. Вы арестованы.

Эти слова вывели из оцепенения всех. Тави, двинув плечом, оттолкнула легшую на него руку жандарма и ушла в угол, повернувшись с тронутым слезами и надменной улыбкой лицом. Ральф и Муррей бросились к середине комнаты, мешая схватить хозяйку.

— Вы совершенно сошли с ума, — горячо заговорил Муррей, протягивая руки, чтобы задержать двинувшихся солдат, — стыдитесь!.. Нет более безобидного и кроткого существа, чем эта девушка, на которую вы нападаете всемером!

Его отбросило движение локтя.

— Здесь есть человек, который знает, что делает, — резко ответил чиновник. — Или вы хотите, чтобы я арестовал также и вас?

Целестина, бросившись на кровать, горько рыдала; Рита, трепеща, бессмысленно твердила, оглядываясь с жалким смехом:

— Уйдемте, уйдемте отсюда! Боже мой, какой ужас!

Но Бутс, вдруг налившись кровью, затопал ногами, схватил и швырнул стул.

— Не смей, я не дам! — азартно закричал он.

— Молчать! — громко сказал жандарм. Но, уже струсив сам, Бутс умолк с негодующим видом, помялся и стих.

Теперь, когда сказано было все самое страшное, наступила, как это бывает в случаях быстрого и напряженного действия, краткая тишина, подобная ужасной картине, неподвижной, но красноречиво памятной навсегда. Все взгляды были устремлены на пленницу, пытавшуюся тщетно вырваться из четырех сильных рук, механически державших ее. Плача, с открытыми мстительными глазами, с презрительно стиснутым, но полным слез ртом, между тем как лицо дергалось и тосковало совершенно уже по-детски, Тави перестала наконец рваться и выкручивать руки, но, сколько могла сжав руки, резко и внушительно потрясла ими. Она говорила и задыхалась:

— Я требую, — сказала она со всем пылом отчаяния, — чтобы вы объяснили мне вашу шутку! Сегодня мой праздник, день рождения моего, а вы взяли меня, как уличную воровку! Вот мои гости, мои друзья, — что подумают они обо мне?!

— Тави, дуручка! — поспешила перебить ее, утирая слезы, Алиса, — не говори глупостей!

— Подумаем, что ты ребячий кипятик, — сказал, сжимая ей руку, Муррей. — Послушай, с этими людьми препирательства бесполезны. Мы останемся ждать тебя. Не бей их и поезжай, когда так. Ошибка слишком груба. Черт их знает, что они там напутали.

— Одно слово, — сказала Тави человеку, руководившему арестом, — какая причина вашего мерзкого дела?

— Вам будут даны объяснения на месте, — сказал тот, двигая взглядом солдат по направлению к

выходу. — Я действую по приказанию и ничего ровно не знаю.

— Лжете, — ответила Тави с гневом и горечью, — лжете, вы лгать привыкли. Что делать вам здесь с целым отрядом? Я снова вас спрашиваю: зачем эта подлость?

— Довольно, — сказал чиновник, — попрощайтесь и идите беспрекословно вниз. Вас отвезут. Ну, господа, — он обратился к гостям, — вас всех я задержу несколько времени. Предстоит обыск. Пока он не окончится, никто отсюда не выйдет.

— Дайте же мне обнять их, — сказала Тави жандармам. Ее отпустили; она обняла друзей, встав на носки, когда дошло дело до Муррея и Ральфа, и, целуя, вымазала слезами всех. Солдаты не отходили от нее ни на шаг; ей подали шляпу, шарф, теплый жакет. Тыча в его затерявшиеся рукава дрожащими руками, она наспех собралась, ответила восклицаниям воздушными поцелуями, помахала рукой, вышла в громе сабель и сапогов и, заметив, что чиновник обернулся на замедление с таким видом, словно хотел прикрикнуть, спокойно показала язык.

V

Стиснув зубы, глотая слезы и трепеща, как бы голкаемая убийственным ветром, Тави быстро пошла по галерее, среди тесно шагавших вокруг солдат. На дворе, внизу, двигались фонари, стучали копыта; из дверей соседних квартир выглядывали дети и женщины, уцепившись друг за друга, словно им тоже грозила беда. Со страхом и вопросом смотрели они на помутившееся лицо девушки. Тави из последних сил кивала или беспомощно улыбалась тем, кого знала. Когда шествие равнялось с такой выпускающей свет и голоса дверью, она резко прихлопывалась и из-за

нее доносились глухие ругательства. Солдаты спешили; двое шли впереди, махая рукой убраться с дороги тем, кто шел случайно навстречу, и человек мигом прижимался к стене; лишь Кванг, ставший неподвижно по самой середине прохода, с пыхающей в зубах трубкой, отошел так медленно, что жандарм угрожающе потянул саблю.

— Я ничего не думаю! — успел крикнуть Кванг девушке. — До свиданья с торжеством!

Тави блеснула ему глазами так выразительно, что он понял все ее смятение.

— Ну да, — донеслось ей вслед, — схватили как птицу и ничего более.

Еще эти темные, но горячие слова грели ее порывом теплого ветра, как все внезапно остановилось: на лестницу вбежал солдат, крича:

— Карета уехала! Там перебесились все лошади: дрожат и рвутся, кучер ничего не мог сделать. Рванул, и понесли!

Гул восклицаний покрыл эти слова; меж тем шествие сбилось в кучу и, когда выровнялось, уже прозвучали торопливые приказания. С глубоким наслаждением слушала Тави, как часть солдат, покинув ее, загремела по ступеням вниз — что-то улаживать и выяснять.

— Вот вам, — сказала она сквозь зубы. — Лошадито умнее вас!

Оставшиеся с ней, подталкивая ее, свели девушку на озаренный окнами дома двор, где, повскакав в седла, с трудом удерживали чем-то напуганных лошадей; они ржали и били копытами, пятясь или шаркаясь с фырканием, полным ужаса.

— Ну, что же делать? — сказал кто-то с досадой.

— Сажай девушку на седло, — крикнул другой. — Смотрите в оба и помните, что случай опасный!

— Оружие наготове!

— Стой: держи арестованную посередине!

— Чего он боится? — прозвучал осторожный шепот.

— Это никому неизвестно, тут сам черт не поймет ничего.

Тави подвели к лошади; к ней протянулась рука нагнувшегося в седле солдата; другой, сзади девушки, неожиданно и сильно приподнял ее. Она рванулась, ударив с отчаянием ногой в бок коня, отчего тот внезапно проскакал в ворота на улицу, откуда гулкий, раскалывающий треск подков по булыжнику дал понять всем, что всадник едва сдерживает готовое закусить удила животное; оно храпело и ржало. Тогда раздались крики бешенства кинувшихся кончать дело людей.

— Ну и черт эта девчонка, — сказал тот, кто держал Тави.

— Не хочу, — мрачно сказала она, борясь с увлекающим ее хаосом хватки и возни жестких рук, сопротивляясь которым более почти не могла.

— Что за ночь! — раздалось над ее ухом.

— Давайте ближе фонарь! — кричали в стороне.

— Не могу справиться, — сказал жандарм в седле, с которым должна была ехать Тави. — Станьте по сторонам и придержите за узду этого дьявола.

Было темно, как человеку с завязанными глазами: ни звезд, ни луны; редкие фонари окраины мерцали издалека. Порывами налетал ветер. Казалось, в таком мраке навсегда забыт день и что пропало все, кроме стука и голосов. Фонарь, поданный торопливой рукой, озарил Тави каски державших ее солдат и задранную уздой вверх лошадиную голову, с безумием в огромных глазах; из ее рта текла пена. Теперь все крики и голоса были в затылок девушке; наконец ее почти бросили на седло, где схваченная за талию неподатливой как обруч рукой, очутилась она сидя-

щей с пылающим лицом, сожженным высохшими слезами.

— Скачи, Прост! — крикнули солдату, увозящему Тави. — Эй, расступись, все по седлам и догоняйте его; смотри в оба!

— Пусти лошадь, — сказал жандарм.

Державшие коня отбежали; солдат метнулся, ахнул и, прежде чем смолк в оцепеневшем слухе гром хлопнувшего как бы по лицу выстрела, разжал руки, валясь головой вниз, а Тави, потеряв равновесие, скользнула с седла; нога ее подвернулась, и, упав, она подумала, что убита. Лошадь, заржав, исчезла.

Взрыв криков, топот и лязг сабель рванулись со всех сторон. Встав, Тави прислонилась к стене, где тотчас ее схватили, трясая с исступлением и злобой, так как подумали, что выстрелила она.

— Обыщите, отнимите револьвер! — переговаривались перед ее лицом, — свяжите ее!

Оскорбленная грубым прикосновением, Тави ловко вывернула руку, ударив по лицу ближайшего: в то же время три выстрела, гулко толкнув тьму, с блеском, секнувшим глаза как бы посреди самой свалки, перевернули все; качаясь, двое солдат отошли и повалились со стоном; остальные, вне себя, ринулись куда попало, хватая и отталкивая впопыхах друг друга.

— Нас убивают! Чего смотрите, надо оцепить дом и всю улицу! На лошадей! Где арестованная?!

Застыв, прижалась Тави к стене, с поднятой для защиты рукой; изнемогая от страха, стала она кричать, в то время как паника и грохот лошадиных копыт вместе с меловым мельканием сабель кружились кругом нее, подкашивая колени. Вдруг в самое ее ухо прозвучал быстрый шепот:

— Сдержитесь; в полном молчании повинуйтесь мне.

— А кто это? — таким же шепотом, задыхаясь, спросила девушка.

— Я — Крукс.

Она не успела опомниться, как вокруг ее спины обвилась резким и спокойным усилием твердо отрывающая от земли рука; в то же время шум свалки отдалился, как если бы на нее бросили большое сукно.

VI

Он поднял ее в руках, обвив ими легкое тело девушки так покойно, как будто ничто не угрожало ему, и неторопливо поправился, когда заметил, что ее плечо стиснуто его левой рукой. Но были уже притуплены ее чувства, и только глубокий вздох, вбирающий с болью новую силу изнемогшему сердцу, показал Друду, как было тяжело и как стало теперь легко ей. Она была потрясенно-тиха и бесконечно блаженно-слаба. Но чувство совершенной безопасности охватило уже ее ровным теплом; она как бы скрылась в сомкнувшейся за ней толще стены. Это впечатление поддерживалось решительной тишиной, в даях которой мелькали лишь подобные шуму платья или плеску глухой струи неровные и ничтожные звуки, отчего подумала она, что скрыта где-то поблизости дома, в месте случайном, но недоступном. По ее лицу скользил, холодя висок, ветер, что могло быть только на открытом пространстве.

— Помогите же мне, — сказала она едва слышно, — все объясните мне, и как можно скорее, мне плохо; рассудок покидает меня. Вы ли это? Где я теперь?

— Терпи и верь, — сказал Друд. — Еще не время для объяснения; пока лучше молчи. Я без угрозы говорю это. Тебе очень неловко?

— Нет, ничего. Но не надо больше меня держать. Я встану, пустите.

— И этому будет время. Там, где мы стоим, сыро. Я по колено в воде.

Тави инстинктивно поджала ноги. «Ты» Друда не тронуло ничего в ее прижавшейся к спасению и защите душе; он говорил «ты» с простотой владеющего положением человека, не придавая форме значения. Она умолкла, но нестихающий ветер загадкой лился в лицо, и девушка не могла ничего понять.

— Я не буду говорить, — виновато сказала Тави, — но можно мне спросить вас о б о д н о м только, в два слова?

— Ну говори, — кротко согласился Друд.

— Отчего так тихо? Почему ветер в этих стенах?

— Ветер дует в окно, — сказал, помолчав, Друд, — мы в старом складе; окно склада разрушено; он ниже земли; вода и ветер гуляют в нем.

— Мы не потонем?

— Нет.

— Я только два слова, и ничего больше, молчу.

— Я это вижу.

Она затихла, покачивая ногой, висевшей на сгибе Друдова локтя, с целью испытать его настроение, но Друд сурово подобрал ногу, сказав:

— Чем меньше ты будешь шевелиться, тем лучше. Жди и молчи.

— Молчу, молчу, — поспешно отозвалась девушка; странное явление опрокинуло все ее внимание на круг световой пыли, неподвижно стоящей прямо под ней фосфорическим туманным узором; по нему с медленностью мух бродили желтая и красная точки.

— Что светится? — невольно спросила она. — Как угольки рассыпаны там; объясните же мне, наконец, Крукс, дорогой мой, — вы спасли и добры, но зачем не сказать сразу?

Думая, что она заплачет, Друд осторожно погладил ее засвеженную ветром руку.

— В сыром погребке светится, гниет свод; гнилые балки полны микроскопических насекомых; под ними вода и поблескивающая светом в ней отражена гниль. Вот все, — сказал он, — скоро конец.

Она поверила, посмотрела вверх, но ничего не увидела; стоял ветреный мрак, скованный тишиной, меж тем отражения в воде, о которых говорил Друд, меняясь и переходя из узора в узор, вычертились рассеянным полукругом. Ее томление, наконец, достигло предела; жажда уразуметь происходящее стала болью острого исступления, — еще немного, и она разразилась бы рыданиями и воплем безумным. Ее дрожь усилилась, дыхание было полно стоны и тоски. Поняв это, Друд стиснул зубы, каменея от напряжения, увеличившего быстроту вдвое; наконец мог он сказать:

— Смотри. Видишь это окно?

Глотая слезы, Тави протерла глаза, смотря по некоторому уклону вниз, где, без перспективы, что придавало указанному Друдом явлению мнимо-доступную руке близость, сиял во тьме узкий вертикальный четырехугольник, внутренность которого дымилась смутными очертаниями; всмотревшись, можно было признать четырехугольник окном; оно увеличивалось с той незаметной ощутительностью, какую дает пример часовой стрелки, если не отрывать от нее глаз. Момент этот, прильнув к магниту опрокинутого сознания, расположился, как железные опилки, неподвижным узором; страх исчез; веселое, бессмысленное «ура!», хватив через край, грянуло в уши Друда ликованием все озарившей догадки, и Тави заскакала в его руках, подобно схваченному во время игры козленку.

— Ничего больше, как страннейший распричудливый сон, — сказала она, посмеиваясь; ну-с, теперь мы с вами поговорим. Во сне не стыдно; никто не узнает, что делаешь и говоришь. Что хочу, то и выпалю;

жаль, что я вижу вас только во сне. А не проснуться ли мне? Но сон не страшен уже... Нам кое-что надо бы выяснить, уважаемый Монте-Кристо. Не смейте, не смейте прижимать крепко! Но держать можете. Во сне я не постесняюсь, велика важность. Знайте, что вы приятны моему сердцу. А я вам приятна? Где ваша машина с колокольчиками? Почему знали вы, что умер старик? Кто вы, скажите мне, таинственный человек? И как вы живете? Не скучно ли, не тяжело ли вам среди бездарных глупцов?

Говоря так, смеялась и трясла она его послушную руку, прижимаясь к его груди, где чувствовала себя уютно, размышляя в то же время о правах сновидения не без упрека себе, но в лени и усталости чрезвычайной.

— Краснею ли я? — думала она вслух.

— Так это твой сон? — спросил Друд так особенно, как звучат голоса во сне.

— Ну да, сон, — беззаботно твердила девушка, держа его руку и смотря на налетающее окно, — сон, — повторила она, подняв голову, чтобы рассмотреть кирпичную кладку. Окно охватило их и перебросилось взад.

— Сон, — растирая глаза, сказала, топнув ногой, Тави — Друд уже опустил ее. Отекшие ноги заставили ее опереться на стол, и от движения, звякнув, жестяная кружка перекатилась по плите пола. Стеббс, молча, поднял ее, светясь и улыбаясь всем своим существом.

Она вздрогнула, выпрямилась и перевела взгляд со Стеббса на Друда; отступила, волнуясь, взяла кружку и бросила вновь, прислушиваясь, как звякнула жесть. Неразложимый на призраки голос предмета открыл истину.

— Это не сон, — медленно выговорила, садясь и складывая руки, девушка; сверкнуло все и раздалось в ней чудным ударом.

Друд посмотрел на Стеббса, сказав рукой, что надо уйти. Тави, сжав руки, переступила шага два ближе, так что Друд был с ней теперь рядом.

— Посмотрите на меня долго!

Он посмотрел с тем выражением, желание какого угадал в ней, — покорно и просто.

— Теперь не смотрите на меня.

— Бог с тобой, я не смотрю, — взволнованно проговорил Друд, — сядь и овладей сердцем своим. В себе ты найдешь все.

— Не трогайте, не разговаривайте со мной, — чуть слышно сказала Тави. — Иначе что-то спутается...

Но не по силам было ей происшедшее во всем размахе его. Она встрепенулась.

— Очень много всего, — сказала Тави, взглядывая на Друда с бледным и тяжелым лицом.

Факты были сильнее ее, и она не могла одолеть их ни рассуждением, ни волнением; так резко жизнь бросила ее на другой берег, с которого прежний виден только в тумане, а этот поразителен, но молчит.

— Еще болят руки, так стиснул меня солдат. Спрашивается — за что?

— За тобой следили, думая, что узнают, где найти Друда. Мы перекинулись словами, когда мои колокольчики были еще потехой, когда ты славным сердцем своим встала на защиту осмеянного. Поэтому за тобой шел, а потом ехал приличный человек с умным лицом. Меня зовут Друд — ты слышала обо мне?

С ее лица не сходила задумчивость и покорность, а взгляд, блуждая с тихой рассеянностью, был полон теней — он не играл, не блеснул. Ее впечатления остановились, застывая сознание огромным слепым пятном, и Друд понимал это, но не тревожился.

— Нет, не слышала, — сказала, по-прежнему безучастно, девушка, — а вы кто?

— Я человек такой же, как ты. Я хочу, чтобы тебе было покойно.

— Мне покойно. Мне хорошо с вами. Здесь так хорошо сидеть. А это — что? — Тави слабо повела рукой. — Ведь это — старинный замок?

— Это маяк, Тави; но он, а также все приюты мои, — их много, — для тебя зámки и будут зámками. Все это для тебя и тебе.

Она подумала, потом улыбнулась.

— Вот как! Но что же... что же... чем же я отличилась?

— Наверное, тем, что ты сама не знаешь этого. Но я шел, а ты остановила меня. Правда, немного прошло времени, однако пора мне заботиться о тебе и с открытым сердцем слушать тебя. Мы, одинокие среди множества нам подобных, живем по другим законам. Час, год, пять или десять лет — не все ли равно? Ошибался и я, но научился не ошибаться. Я тебя зову, девушка, сердце родное мне, идти со мной в мир недоступный, может быть, всем. Там тихо и ослепительно. Но тяжело одному сердцу отражать блеск этот; он делается как блеск льда. Будешь ли ты со мной топить лед?

— Я все скажу... Я скажу все; но я с е й ч а с не могу. — Она дышала слабо и тихо; ее взгляд был странно покоен; временами она шептала про себя или покачивала головой. — Я ведь нетребовательна; мне все равно; мне только чтобы не было горести.

— Тави, — сказал Друд так громко, что кровь вернулась к ее лицу, — Тави, очнись!

Она посмотрела на свои руки, провела пальцами по глазам.

— Разве я сплю?! Но верно, — все в тумане кругом. — Что это? Что со мной? Очните меня!

Он положил руку на ее голову, потом погладил, как разволновавшегося ребенка.

— Сейчас ты станешь сама собой, Тави; туман рассеется и все будет ни чудесным, ни странным; все просто, когда двое думают об одном. Смотри, — стол;

на нем хлеб, яичница, кофейник и чашки; в помещении этом живет смотритель маяка, Стеббс; плохой поэт, но хороший друг. Он, правда, друг мне, и я это ценю. Здесь родился и твой образ — год назад, ночью, когда играли мы на стеклянной арфе из пузырьков; а потом я уже видел тебя всегда, пока не нашел. Вот и все; такое же, как и у других, и люди такие же. Только одному из них — мне — суждено было не знать ни расстояний, ни высоты; во всем остальном значительно уступаю я Стеббсу; он и сильнее, и проворнее, а также отлично ныряет, чему я не могу научиться, а потому иногда завидую. Хочешь, я позову Стеббса?

— Хочу. — Она взглянула снизу на стоящего перед ней Друда, потом схватила его руку своими обеими ручками и, зажмурясь, крепко потрясла ее, натужив лицо; открыла глаза и рассмеялась смехом, полным тихого удовольствия. — Вы еще мне много покажете?

— Довольно, чтобы тебе не было никогда скучно. Стеббс!

Он стал звать, открыв дверь.

— Иду, иду! — сказал Стеббс с лестницы, где стоял, ожидая зова. Он был причесан, был вымыт, и, хотя дело происходило ночью, его брюки были отчищены бензином и мылом.

— Как хорошо! — сказал он. — Какая отличная ночь! Не хочется оторвать глаз от звездных миров, и я рассматривал их... Что вы сказали?

— Стеббс, — перебил его Друд, — сядь; второй раз мы прощаемся с тобой так внезапно. Но со мной жизнь, которую я искал, и ей нужен глубокий отдых. Есть также сведения о маяке у тех, кого мы не любим. Поэтому я не задержусь, только поем. Но ты будешь извещен скоро и явишься навсегда.

— Спасибо, Гора, — сказал Стеббс. — Как зовут нового друга?

Друд засмеялся:

— «Великий маленький друг», — зовут его, — «Тави» зовут ее, «Быстрый ручей», «Пленительный звон»...

— Да, нас четырнадцать, — прибавила Тави, — но не все пересчитаны. Остальных, впрочем, вы знаете... А это правда, я — друг вам, друг, но только ведь навсегда?!

— Он знает это. Он — Гора, — сказал Стеббс, наполняя тарелку девушки. Но она не могла есть, лишь выпила, торопясь, кофе и снова стала смотреть поочередно на Друда и Стеббса, в то время как Стеббс спрашивал, куда отправится теперь Друд. Его мучило любопытство. Девушка была не совсем в его вкусе, но Друд принес и берег ее, поэтому Стеббс рассматривал Тави с недоумением почтальона, вскрывшего шифрованное письмо. Но ему было суждено привыкнуть и привязаться к ней очень скоро, — гораздо скорее, чем думал в эту минуту он, мысленно сопоставлявший всегда с Друдом Венеру Тангейзера, какой изображена она на полотне, меньше — Диану, еще меньше — Психею; его психологическое разочарование было все же приятным.

Любопытный как коза, Стеббс остерегся однако спрашивать о событиях, зная вперед, что не получит ответа, так как никогда Друд не торопился открывать душу тем, кто не теперь тронул ее. Но он сказал все же немного:

— Ты будешь думать, что я ее спас, как узнаешь впоследствии, что было; нет — она спасение носила в груди своей. Мы шли по одной дороге, я догнал, и она обернулась, и так пойдем вместе теперь.

Затем он встал, принес большое одеяло и подошел к девушке, говоря:

— Не будем медлить, здесь не место засиживаться, воспользуемся темнотой и этим отдыхом, чтобы продолжать путь. Утром не будет уже загадок тебе, я скажу все, но дома. Да, у меня есть дом, Тави, и не

один; есть также много друзей, на которых я могу положиться, как на себя. Не бойся ничего. Время принесет нам и простоту, и легкость, и один взгляд на все, и много хороших дней. Тогда эту резкую ночь мы вспомним, как утешение.

Красная, как пион, с отважными слезами в глазах, Тави скрестила руки, и Друд плотно укутал ее, обвязав, чтобы не свалилось одеяло, вязаным шарфом Стеббса. Теперь имела она забавный вид и чувствовала это, слегка шевеля руками, чтобы ощутить взрослость.

— Все гудит внутри, — призналась она, — о-о! сердце стучит, руки холодные. Каково это — быть птицей?! А?

Все трое враз начали хохотать до боли в боках, до спазм, так что нельзя было ничего сказать, а можно только трясти руками. Тут, более от страха, чем от естественной живости, на Тави напало озорство, и она стала покачиваться, приговаривая:

— Сезам, Сезам, отворись! Избушка на курьих ножках, стань к лесу задом, а ко мне передом! — С нежностью и тревогой посмотрел на нее Друд. — О, не сердитесь, милый! — пламенно вскричала она, пытаясь протянуть руки, — не сердитесь, поймите меня!

— Как же сердиться, — сказал Друд, — когда стало светло? Нет. — Он застегнул пояс, накрыл голову и махнул рукой Стеббсу. — Я тороплюсь. Сколько раз прощался уже я с тобой, но все-таки мы встречаемся и будем встречаться. Не грусти.

Он подошел к Тави; невольно отступила она, обмерла и очнулась, когда Друд легко поднял ее. Но уже двинулось кругом все, подобно обвалу; замораживая и щекоча, от самых ног поднялся к сердцу лед, пространство раздалось, гул сказки покрыл ропот далекой, внизу, воды, и ветер застрял в ушах.

— Тави? — вопросительно сказал Друд, чувствуя, что он вновь равен для нее летящей стремглав ночи, что он — Гора.

— Ау! — слабо выскочило из одеяла. Но тотчас с восторгом освободила и подняла она голову, крича, как глухому: — Что это светится там, внизу? Это гнилые балки, дерево гниет, светится, вот это что! И пусть никто не поверит, что можно жить так, пусть даже и не знает никто! Теперь не отделить меня от вас, как носик от чайника. Это так в песне поется...— Она оборвала, но сквозь зубы взволнованно и сердито окончила: — «Ты мне муж будешь, а я буду твоя жена», — а перед тем так: «Если меня не забудешь, как волну забывает волна... та-та-та-та-та-та-та будешь и... та-та-та, та-та-та... жена».

Она уже плакала, так печально показалось ей вдруг, что «волну забывает волна». Затем стал говорить Друд и сказал все, что нужно для глубокой души.

Как все звуки земли имеют отражение здесь, так все, прозвучавшее на высоте, таинственно раздаётся внизу. В тот час, — в те минуты, когда два сердца терпеливо учились биться согласно, седой мэтр изящной словесности, сидя за роскошным своим столом в сутане а-ля-Бальзак и бархатной черной шапочке, среди описания великосветского раута, занявшего четыре дня и выходящего довольно удачно, почувствовал вдруг прилив томительных и глухих строк мелькающего стихотворения. Бессильный отстранить это, он стал писать на полях что-то несвязное. И оно очертилось так:

Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна,
Ты мне мужем приветливым будешь,
А я буду твоя жена.

Он прочел, вспомнил, что жизнь прошла, и удивился варварской версификации четверостишия, вы-

веденной рукой, полной до самых ногтей почтения, с каким пожимали ее.

Не блеск ли ручья, бросающего веселые свои воды в дикую красоту потока, видим мы среди водоворотов его, рассекающего зеленую страну навеки запечатленным путем? Исчез и не исчез тот ручей, но, зачерпнув воду потока, не пьем ли с ней и воду ручья? Равно — есть смех, похожий на наш, и есть печали, тронувшие бы и нашу душу. В одном движении гаснет форма и порода явлений. Ветер струит дым, флюгер и флаг рвутся, вымпел трепещет, летит пыль; бумажки, сор, высокие облака, осенние листья, шляпа прохожего, газ и кисея шарфа, лепестки яблонь, — все стремится, отрывается, мчится и — в этот момент — одно. Глухой музыкой тревожит оно остановившуюся среди пути душу и манит. Но тяжелей камня душа: завистливо и бессильно рассматривает она ожившую вихрем даль, зевает и закрывает глаза.

VII

В течение пяти месяцев шесть замкнутых, молчаливых людей делали одно дело, связанные общим планом и общей целью; этими людьми двигал руководитель, встречаясь и разговаривая с ними только в тех случаях, когда это было совершенно необходимо. Они получали и расходовали большие суммы, мелькая по всем путям сообщения с неутомимостью и настойчивостью, способными организовать великое переселение или вызвать войну. Если у них не хватало денег или встречались препятствия, рассекаемые, единственно, золотым громадным мечом, — треск телеграмм перебегал по стране, вручая замкнутый трепет своей белой руке, открывавшей нетерпеливым женским движением матовые стекла банковых

кабин, где причесанный человек нумеровал, подписывал и методично оканчивал дело превращения еще не высохшей подписи в цветные брикеты ассигнаций или золотых свертков, оттягивающих руку к земле.

Вначале маршруты шестерых, посвятивших, казалось, всю жизнь свою тому делу, для которого их призвал руководитель, охватывали огромные пространства. Их пути часто пересекались. Иногда они виделись и говорили о своем, получая новые указания, после чего устремлялись в места, имеющие какое-либо отношение к их задаче, или возвращались на старый след, устанавливая новую точку зрения, делающую путь заманчивее, задачу — отчетливее, приемы — просторнее. Они были все связаны и в то же время каждый был одинок.

Постепенно их путешествия утрачивали грандиозный размах, сосредоточиваясь вокруг нескольких линий, отмеченных на своеобразной карте, в которой мы не поняли бы ничего, сложными знаками. От периферии они стягивались, кружась, к некоему центру или, вернее, к территории с неустойчивыми границами, в пределах которых цель чувствовалась более отчетливо, более вероятно, хотя и определяясь немногими шансами простой случайности, но все же возбуждая решительные надежды.

Уже мерещилась некая глухая развязка. Уже факты, несколько раз проверенные, повторялись блестящей, беглой чертой, подобной отдаленной вспышке беззвучного выстрела; уже прямой след кинулся под ноги, мгновенно сцепив все тщательные соображения в одно последнее действие... действие развернулось, руки, схватив пустоту дрогнули, немея в изнеможении, и обратный удар вдребезги разнес таинственные тенета. Затем наступил день, в свете которого ошеломляюще ясно стало на свои места все, видимое обыкновенными глазами обыкновенных людей, — как не было ничего.

Мы возвращаемся к Руне Бегуэм, душа которой подошла к мрачной черте. Ее голос стал сух, взгляд неподвижно спокоен, движения устали и резки. Но ни разу за все время, что искала смерти пламенному сердцу невинного и бесстрашного человека, она не назвала вещи их настоящими именами и не подумала о них в ужасной тоске. Она гибла и защищалась с холодным отчаянием, найдя опору в уверенности, что смерть Друда освободит и успокоит ее. Эта уверенность, подобная наитию или порыву, вызванному нестерпимой мукой, но длящемуся бесконечно, создала цель, доверенную руководителю, и только с ним говорила она об этом, но всегда с просьбой как можно менее беспокоить ее.

Нет дела и цели, какие рано или поздно не овладели бы всей мыслью и всей душой какого-нибудь одного человека, дотоле, быть может, живущего без особых планов, но с предчувствием и настроением своей роли. Его надо было извлечь из ровной травы голов, узнать и отметить среди множества подобных ему лицом, среди двойников с обманчивым впечатлением оригинала. Казалось, ничто подобное не совместимо с силами и опытом девушки, отъезд и приезд которой отмечался светской газетной хроникой в повышенном тоне. Действительно, она не могла совершить это при всем сознании особенностей задачи и ясном отчете самой себе, что надо было бы сделать; предстоял публичный вызов или пересмотр населения нескольких городов с испытаниями, занятыми бы не один год.

Нужный человек пришел сам, как будто бы ловил минуту изнеможения, чтобы постучать, войти и заговорить. Был слышен по пустынной ночной улице стук колес, звучащий все громче, и Руна, отогнав сон, — вернее, мертвую неподвижность мысли, с какой пыталась забыться на жегшей щеку подушке, — прислушивалась к шуму невидимого экипажа.

— Кто едет ночью? куда? — спрашивала она, невольно замечая, что прислушивается с странным ожиданием, что кровь дико стучит; казалось, к ней именно направлен был этот одинокий стук ночи. Все громче звучал он, отчетливее и поспешнее становилась его трескучая трель; кто-то спешил, и Руна приподнялась, вслушиваясь, не загремят ли снова колеса. Но шум стих против ее дома; другой шум, возникающий лениво и смутно, коснулся напряженного слуха; тихий как пение комара, далекий звонок, еще звонок, — ближе, стук отдаленной двери, шорох и замирание смутных шагов. Не выдержав, она позвонила сама, с облегчением чувствуя, как это самостоятельное действие выводит ее из оцепенения.

Тихо постучав, вошла горничная.

— К вам приехали, — сказала она, — и мы не могли ничего сделать. Карета с гербами: из нее вышел человек, настойчиво приказавший передать вам письмо. «Едва его прочтут, — сказал он, — как вы получите приказание немедленно провести меня к госпоже вашей». Мы посоветовались. Видя, что не решаются беспокоить вас, он роздал нам, смеясь, по несколько золотых монет. Нам стало ясно, что такое, по-видимому, важное лицо не решится беспокоить вас по-пустому. «Рискнем!» — подумали мы...

— Как! — невольно возмутясь, сказала Руна. — Лишь несколько золотых монет... Я посмотрю это письмо. Горе вам, если оно недостаточно серьезно для такого неслыханно дерзкого посещения.

Она разорвала конверт, мрачно смотря на горничную, успевшую, запинаясь, пролепетать:

— Никто не знает, почему мы пустили его. В нем что-то есть, будто он знает, что делает. Он так спокоен.

Руна уже не слышала ее. Устремив взгляд на атласный листок, она видела и переживала слово — одно слово: «Друд»; сама фраза могла показаться бессмыс-

лицей всякой иной душе. Она прочла: «По следам Друда» — более ничего не было в той записке, но этого оказалось довольно.

— Подайте одеться, — быстро сказала девушка, мгновенно сжав письмо, как сжимают платок, — ведите этого человека в мраморную гостиную.

Тогда, среди ночи, вспыхнули обращенные к саду окна. Ярко озарил свет статуи и ковры; неестественным оживлением веяло от этого часа ночной тревоги, замкнутой в беззвучное колесо тайны. Болезненно владея собой, вошла Руна с холодным и неподвижным лицом, увидев там человека, обратившего к ней полуприкрытый взгляд узких тяжелых глаз. Эти глаза выражали острую, почти маниакальную внимательность, равную неприятно резкому звуку; вокруг скул темного лица вились седые, падающие локонами на грудь волосы, оживляя восемнадцатое столетие. Кривая линия бритого рта окрашивала все лицо мрачным светом, напоминающим улыбку Джоконды. Такое лицо могло бы заставить вздрогнуть, если, напевая, беззаботно обернуться к нему. Он был в черном сюртуке и шляпу держал в руках.

Руна вошла с вопросом, но лишь взглянула на посетителя, как понятно стало ей, что не нужен вопрос. Это было как бы продолжением только что при молкшего разговора.

— Я не назову себя, — сказал неизвестный, — а также не объясню вам, почему только теперь, но не позже, не раньше, вхожу сюда. Но вы ждали меня, и я пришел.

Дрожа, знаком пригласила она его сесть и, стиснув руки, села сама, по праву ожидая неслыханного. Без жестов и улыбки продолжал свою речь гость; он сложил на остром колене желтые руки, став более неподвижен, чем мраморные Леандр и Геро сзади него со скорбью и смертью своей. Он сказал:

— Я знаю, как вы живете, знаю, что ваша жизнь полна вечного страха, что ваша молодость гаснет. И я также знаю, что думая в одном направлении, всегда думая об одном и том же, без тени надежды победить этот след молнии, опалившей вас среди вашего прекрасного голубого дня, вы пришли к спокойному и задумчивому решению.

Этими словами ее состояние было схвачено и показано ей самой.

— Ваше имя, — сказала она, отшатываясь, и так хрипло, что было близко к вскрику. — Первый раз я вас вижу. Который раз видите вы меня? Разве я говорила с вами? Где? Скажите, кто предал меня? Да, я уже не живу; я грежу и погибаю.

— Кто бы я ни был, — сказал неизвестный, изменив своей неподвижности и слегка покачиваясь с глубокой и зловещей рассеянностью, — я, как и вы, — враг ему, следовательно, — друг ваш. Отныне, если наш разговор соединит нас, вы будете звать меня просто — «Руководитель». Друд более жить не должен. Его существование нестерпимо. Он вмешивается в законы природы, и сам он — прямое отрицание их. В этой натуре заложены гигантские силы, которые, захоти он обратить их в любую сторону, создадут катастрофы. Может быть, я один знаю его тайну; сам он никогда не откроет ее. Вы встретили его в момент забавы — сверкающего вызова всем, кто, встречая его в толпе, далек от иных мыслей, кроме той, что видит обыкновенного человека. Но его влияние огромно, его связи бесчисленны. Никто не подозревает, кто он, — одно, другое, третье, десятое имя открывают ему доверчивые двери и уши. Он бродит по мастерским молодых пьяниц, внушая им или обольщая их пейзажами неведомых нам планет, насвистывает поэтам оратории и симфонии, тогда как жизнь вопит о неудобоваримейшей простоте; поддакивает изобретателям, тревожит сны и вмешивается в судь-

бу. Неподвижную, раз навсегда данную как отчетливая картина жизнь волнует он, и меняет, и в блестящую даль, смеясь, движет ее. Но мало этого. Есть жизни, обреченные суровым законом бедности и страданию безысходным; холодный лед крепкой коркой лежит на их неслышном течении; и он взламывает этот лед, давая проникать солнцу в тьму глубокой воды. Он определяет и разрешает случаи, по его воле начинающие сверкать сказкой. Мир полон его слов, тонких острот, убийственных замечаний и душевных движений без ведома относительно источника, распространившего их. Этот человек должен исчезнуть.

Где слабый ненавидит — сильный уничтожает. Воля и золото говорят теперь между собой. Совершите траты необходимые, быть может, безумные; но помните, что нет спасения без борьбы; не вы нанесете этот удар. Начнем издалека, уверенно сжимая кольцо. По свету бродят цыгане, и они знают многое, что никому не доступно, кроме их грязных кочевий. Они жадны и скрытны. Однако под рукой у меня есть несколько людей особой породы, углубленных, как и я, в рассматривание дымных фигур жизни, в мелькающий и едва слышный трепет ее. Мы сходим по золотой тропе к этим оборванным, волосатым кочевникам, где, под полами цветных шатров, таятся хитрая красота и сведения самого различного свойства, по тем линиям, на какие нам надо ступить. Но не будем пренебрегать также помощью официальной, лишь с осторожностью и выбором чрезвычайными, если не хотим, чтобы поиски наши стали достоянием всех. В этом случае наши карты будут смешаны и поражены тем противоречием, в какое станем мы с задачей своей к прочей действительности.

Чем более слушала его Руна, тем яснее возникала ее надежда; и уже не хотелось ей ни о чем спрашивать, но лишь, единственно, действовать. Глу-

хая пелена укрыла ее душу; без жестокости, без ясного отчета себе, на что решается, блаженно смеясь, сказала она:

— Будьте Руководителем. Я ничего не пожалею на это, ни о чем не вздохну, но буду ждать терпеливо и дам все, что нужно.

Она вышла и принесла все деньги, какие были у нее в этот момент, также принесла чек на крупную сумму.

— Довольно ли этого?

— Пока довольно, — сказал гость, — теперь я могу отлично провести время. А что, безумная девушка, скажете вы, если одно из самых замечательных мошенничеств разыгралось только что на ваших глазах?

Но она улыбнулась, — так слабо, как слабо подействовала на нее шутка.

— Вы правы, — сказал посетитель, вставая и отвешивая глубокий поклон. — Когда придет время, я извещу вас обо всем важном. Спокойной ночи.

Он сказал это с резкой улыбкой, пристально посмотрев на нее.

Выразилась ли в жестких словах этих ее собственная жажда отлетевшего в бред и ужас покоя, или было задето что-нибудь еще, более значительное, — но мгновенной болью исказилось лицо девушки. Вдруг, выпрямилась и овладела она собой.

— Идите, — сказала она, быстро и тяжело дыша, — вас зовет пославшая сюда ночь. Идите и убейте его.

— Я выйду и стану на его след; и буду идти по следу, не отрываясь, — сказал Руководитель. — Я спешу, ухожу.

Он вышел; его карета отъехала; быстро отлетающий стук колес, прогремев у подъезда, стал вскоре смутным жужжанием. Прислушиваясь к нему, Руна говорила с собой, сжимая руку, смеялась и плакала.

С той ночи стало медленнее идти время. Ее тревога росла; неподвижное упорство человека, вынужденного ожидать пассивно и может быть в те часы, когда ломаются самые острые углы тайного действия, скользящего по земле, росло в ней костенеющей массой, мрачно сжимая губы всякий раз, когда ясно представляла она конец. По-прежнему мелькали среди ее дней улыбка или лицо Друда, данного как бы навсегда в спутники, но уже не так потрясая, не так с б р а с ы в а я могучим толчком, как то было недавно. Теперь смутно мерещилось ей рядом с ним другое лицо, но с неуловимыми и тонкими очертаниями, едва выраженным намеком беспокойного света; то пропадало, то появлялось это лицо, и она не могла отчетливо уловить его. Меж тем ее пораженная мысль двигалась по кругу, стиснувшему в себе чувство безотчетной утраты и тупой страх душевной болезни. Это состояние, усиливаясь, ослабевая и вновь усиливаясь, достигло наконец мрачных пустынь, в свинцовом свете которых гнется и кричит жизнь.

На второй день после того как Друд, смеясь, перешел границу, раскинутую страшной охотой, Руководитель посетил Руну в последний раз. Как приговор, выслушала она его слова, не поднимая взгляда, лишь тихо перебирая рукой кисть веера; бледней жемчуга было ее лицо. Казалось, сама ненависть, принявшая жуткий человеческий облик, сидит с ней. Его слова шипели и жгли, и он с трудом, сквозь разорванное злобой дыхание, быстро, как выстрелы, бросал их:

— Не было ни одного момента в связи всех действий и слов наших, не проверенного с точностью астрономического хронометра. Друзья были приведены к молчанию; предатели выслежены и убиты; все негодное, бездарное в этом деле было обречено ничтожеству и бездействию. Мы предусмотрели слу-

чайности, высчитали миллионные части шансов, — больше чем исчисляет сама природа, производя живое существо, сделали мы, но лучший момент упущен. Как, где, кем допущена ошибка? Еще не ясно это, но что в том? Какую черту, какой оттенок мысли кого-либо из связанных с нами людей упустили мы или придали ей неточное значение? А! Я опять спрашиваю этот пустой воздух, когда он уже пуст и невинен! когда можно смотреть вверх только на птиц! когда струсившее, или слабое, или сманенное им сердце, покойно улыбаясь, ложится спать, тихо вздохнув!

Он умолк, и Руна подняла глаза. Но более испугалась она теперь, чем когда-либо в худшие минуты своего бреда. Само бешенство с дергающимся синим лицом сгибалось перед ней, и залитые мраком глаза неистово ссекали острым блеском своим вздрогнувший взгляд девушки.

— Мне нехорошо, — сказала она, — идите; все кончено. И все кончено между нами.

Вдруг слабым стал ее голос; плечи поникли, взгляд потух, руки, растерянно и беспомощно дрожа, как будто искали опоры. Он встал, осунувшись; вяло и тускло осмотревшись, скорбно повел он бровью и направился к выходу.

— Я только старик, — услышала девушка, — силы оставляют меня, слабеет зрение, — и жизнь, данная на один порыв, восстанет ли опять стальным блеском своим? Я сломан: борьба вничью.

Он удалился, шепча и покачивая головой в свете огромных дверей, делающих его старинную фигуру легкой, как марионетка; забыв о нем, Руна сошла вниз. Ее вело желание двигаться, в то время как смерть была уже решена уснувшей ее душой. Но Руна не знала этого.

Она оделась и вышла, рассеянно кивнув слуге на вопрос, которого и не поняла и не слышала. У нее не

было цели, но двигаться среди вечерней толпы манило ее холодным отдыхом шумного и пестрого одиночества. Обычно сияли окна; дрожащие лучи моторов, обгоняя лошадей и людей, то ослепляли спереди прямо в глаза, то брызгали из-за спины, двигаясь и исчезая среди пересекающих теней. Густая толпа двигалась ей навстречу, раскалываясь перед этим бледным и прекрасным лицом с точностью водораздела, обливающего скалу; небрежно и тихо шла девушка, не замечая ничего, кроме золотых цепей вечерней иллюминации, рассеивающей под небом прозрачный голубой газ. Временами ее внимание отмечало что-нибудь, немедленно принимающее гигантские размеры, как если бы это явление подавляло все остальное: газету величиной в дом, женское или мужское лицо с страниц «Пищи богов», ширину улицы, казавшейся озаренной пропастью, щель или плиту тротуара, делавшиеся немедленно центром, вокруг которого гремел город.

Постепенно толпа становилась гуще и шире, в ней замечался некоторый беспорядок, разраставшийся в легкую давку. Слышались вопросы и возгласы. Сколько могла, Руна продвигалась вперед, пока не была вынуждена остановиться. Под ее рукой шмыгали дети; ряды спин, сомкнутых перед ней, скрывали сцену или событие, вокруг которого установилось цепляющееся за любопытство молчание; если кто на мгновение оборачивался из переднего ряда, в его лице светилось сдержанное волнение.

С сознанием, что происходящее или происшедшее там каким-то особым образом относится к ней, хотя никак не могла бы сказать, почему это, а не другое чувство вызвано было уличным внезапным затором, Руна громко и спокойно произнесла:

— Пропустите меня.

Этот тон, выработанный столетиями, действовал всегда одинаково. Часть людей отскочила, часть, изо-

гнувшись, вытолкнута была раздавшейся массой, и девушка вошла в круг.

Она не замечала теперь, что привлекла больше внимания, чем человек, лежавший ничком в позе прильнувшего к тротуару, как бы слушая подземные голоса. У самых ее ног блестел расползающийся кровавой развод, с терпким, сырым запахом. Лежащий был прекрасно одет, его темные волосы мокли в крови и на ней же лежали полусогнутые пальцы левой руки.

Безмолвно, глубоко и тяжело вздыхая, смотрела Руна на этого человека, уступая одну мысль за другой, пока, молниями сменяя друг друга, не разразились они полной и веселой отрадой. В этот момент девушка была совершенно безумна, но видела, для себя, с истиной, не подлежащей сомнению, — того, кто так часто, так больно, не ведая о том сам, вставал перед ее стиснутым сердцем. Вдруг смолкли и отступили все, едва заговорила она.

— Вы говорите, — тихо сказала Руна, уловив часть беглого разговора, — что этот человек — самоубийца? Что он бросился из окна? О нет! Вот он — враг мой. Земля сильнее его; он мертв, мертв, да; и я вновь буду жить, как жила.

Улыбаясь, осмотрела она всех, кто, внимательно шепча что-то соседу, сам пристально смотрел на нее и, встав на колени, прижала к губам теплую, тяжелую руку умершего. Со стуком упала рука, когда девушка поднялась.

— Прости, — сказала она. — Все прости. В том мире, где теперь ты, нет ненависти, нет страстей; ты мертв, и я отдохну.

Она откинулась, обмерла и, потеряв сознание, стала биться в руках тех, кто, подскочив, успел ее удержать. Обычная в таких случаях суматоха окончилась появлением врача и вызовом собственного экипажа Руны, — так как некоторые из толпы узнали ее.

Вот все, что надо, что можно, что следовало сказать об этой крупной душе, легшей ничком. Но еще несколько слов, может быть, совершенно удовлетворяя пытливого читателя, думающего дальше, чем автор, и в одной истории отыскивающего другую, пока не будут исчерпаны все жизни, все любви, все встречи и случаи, пока кроткие могильные холмы, пестреющие зеленью и цветами, не прикроют жизни и дела всех героев, всех людей этого скромного повествования о битвах и делах душевных. Так, следуя за выздоровевшей, но совершенно забывшей все девушкой, отметим мы и ее брак с Квинсеем, твердой рукой протянувшим ей новые, не менее чудесные цветы жизни, и возвращение жизнерадостности, — и все, чем дышит и живет человек, когда судьба благоприятна ему. Только иногда, обращая взгляд к небу, где вольные черты птиц от горизонта до горизонта ведут свой невидимый голубой путь, Руна Квинсей пыталась припомнить нечто, задумчиво сдвигая тонкие брови свои но момент гас, и лишь его тень, светлым эхом возвращаясь издали, шептала слова, — подслушанные ли где, или возникшие чужой волей? — быть может, слышанные еще в детстве:

Если ты не забудешь,
Как волну забывает волна...

*14 ноября 1921 г.
28-го марта 23 г.*

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

Роман

I

«Дул ветер...», — написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвет блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике «Эспаньолы». Это суденышко едва поднимало шесть тонн, на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы.

Все судно пропахло ужасом, и, лежа один в кубрике с окном, заткнутым тряпкой, при свете скраденной у шкипера Гро свечи, я занимался рассмотриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практичным чтецом, а переплет я нашел.

На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами:

«Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки».

Ниже стояло:

«Дик Фармерон. Люблю тебя, Грета. Твой Д.».

На правой стороне человек, носивший имя Лазарь Норман, расписался двадцать четыре раза с хвостиками и всеобъемлющими росчерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание Нормана и в самом низу оставил загадочные слова: «Что знаем мы о себе?»

Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит пчела — Грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с «Мелузины», напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколдов татуировку в виде трех слов: «Я все знаю». Они высмеяли меня за то, что я читал книги, — прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.

Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки розовела вспухшая кожа. Я думал, так ли уж глупы эти слова «Я все знаю»; затем развеселился и стал хохотать — понял, что глупы. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в отверстие.

Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий, как щелчки, дождь бил в лицо. В мраке суетилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла «Мелузина»; там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о сказочной роскоши, подземных ходах и многом подобном. Я различал голоса Патрика и Моольса, двух рыжих свирепых чучел.

Моольс сказал:

— Он нашел клад.

— Нет, — возразил Патрик. — Он жил в комнате, где был потайной ящик; в ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта.

— А я слышал, — заговорил ленивый, укравший у меня складной нож Каррель-Гусиная шея, — что он каждый день выигрывал в карты по миллиону!

— А я думаю, что продал он душу дьяволу, — заявил Болинас, повар, — иначе так сразу не построишь дворцов.

— Не спросить ли у «Головы с дыркой»? — осведомился Патрик (это было прозвище, которое

они дали мне), — у Санди Пруэля, который в с е з н а е т?

Гнусный — о, какой гнусный! — смех был ответом Патрику. Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков в гавани. Он производил крепкое действие — в горле как будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, пуская дым через ноздри.

Мне следовало быть на палубе: второй матрос «Эспаньолы» ушел к любовнице, а шкипер и его брат сидели в трактире, — но было холодно и мерзко сверху. Наш кубрик был простой дощатой норой с двумя настилами из голых досок и сельдяной бочкой-столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только что слышанный разговор. Он встревожил меня, — как будете встревожены вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар-птица или расцвел розами старый пенъ.

Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках, с бледным, ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, окованным золотыми скрепами.

«Почему ему так повезло, — думал я, — почему?..»

Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к шкиперу, — с 17 октября, когда я поступил на «Эспаньолу» — по 17 ноября, то есть по вчерашний день. Я сам записал на ней все вычеты из моего жалованья. Здесь были упомянуты: разбитая чашка с голубой надписью «Дорогому мужу от верной жены»; утопленное дубовое ведро, которое я же сам по требованию шкипера украл на палубе «Западного Зерна»; украденный кем-то у меня желтый резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук шкипера и разбитое — все мной — стекло каюты. Шкипер точно сообщал

каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку.

Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалованье. Мне не приходилось ничего получить. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого времени упорно решал вопрос — «кто я — мальчик или мужчина?» Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове «мужчина» — мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, — она сказала: «Ну-ка, посторонись, мальчик», — то почему я думаю о всем большом: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребятишках, о том, как надо басом говорить: «Эй вы, мясо акулы!» Если же я мужчина, — что более всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: «Дай-ка прикурить, дядя!» — то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?

Мне было тяжело, холодно, неудобно. Выл ветер. — «Вой!» — говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь. — «Лей!» — говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно, — не только мой счет с шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь и умру, мое неприкаянное тело...

II

Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху; но то не были голоса наших. Палуба «Эспаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось,

и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. — «Ну, кто там?! — громче сказал первый, — в кубрике свет; эй, молодцы!»

Тогда я вылез и увидел — скорее различил во тьме — двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядываясь, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал:

— Мальчик, где шкипер?

Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал — густо, окладисто, с хрипотой, — что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя ад!» — или: «Пусть перелопаются в моем мозгу все тросы, если я что-нибудь понимаю!»

Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные.

— В таком случае, — заявил спутник высокого человека, — не спуститься ли в кубрик? Эй, юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро.

Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса и слышен крик — песня — шепот: «Тайна — очарование! Тайна — очарование!» «Неужели н а ч а л о с ь?» — спрашивал я себя; мои колени дрожали.

Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей — они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, — и сидели согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок-палубу.

«Вот это люди!» — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились — каждый в своем роде. Старший, широко-

лицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, — увы! — имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах; у высоких сапогов с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги.

— Поговорим, молодой друг! — сказал старший. — Как ты можешь заметить, мы не мошенники.

— Клянусь громом! — ответил я. — Что ж, поговорим, черт побери!..

Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безмерную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду.

— Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись потому, что немного выпили. — И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза.

Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение «Эспаньолы», я хорошенько не понял, — так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного, неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, опоздали благодаря этому на пароход «Стим», единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими; «Стим» уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем неотложное дело

требует их на мыс Гардена или, как мы называли его, «Троячка» — по образу трех скал, стоящих в воде у берега.

— Сухопутная дорога, — сказал старший, которого звали Дюрок, — отнимает два дня, ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше... и ты повезешь нас на мыс Гардена, если хочешь заработать, — сколько ты хочешь получить, Санди?

— Так вам надо поговорить со шкипером, — сказал я и вызвался сходить в трактир, но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колено и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону.

— Вот твой заработок сегодняшней ночи, — сказал он, — здесь тридцать пять золотых. Я и мой друг Эстамп знаем руль и паруса и весь берег внутри залива, ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковый билет. Тогда вместо одной галоши у него будут две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой «спрыснуть» отплытие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула — стать к рулю. Вообще, будет так ловко с ним, как, надев на ноги мешок, танцевать.

— Разве вы его знаете? — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами.

— О нет! — сказал Эстамп. — Но мы... гм... слышали о нем. Итак, Санди, плывем.

— Плыдем... О рай земной! — Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренно и со всем согласясь, так как все было правда и Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут.

— В таком случае... Вы, конечно, знаете... Вы не подведете меня, — пробормотал я.

Все переменялось: дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса, — два косых паруса с подъемной реей, снял швартовы, поставил кливер, и, когда Дюрок повернул руль, «Эспаньола» отошла от набережной, причем никто этого не заметил.

Мы вышли из гавани на крепком ветре, с хорошей килевой качкой, и как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг, верно, полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место, или нет? Не пойму».

— Верно, то, — должен сказать брат, — это то самое место и есть, — вот тумба, а вот свороченная плита; рядом стоит «Мелузина»... да и вообще...

Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться.

Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была растегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки, одна нога отставлена далеко, другая — под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня; в этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части (затем запер), и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы.

— Клянусь брамселем, — сказал я, — славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?

— Что ж, это дело! — сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. — Эстамп, не принести ли вам стакан водки?

— Отлично, дайте, — донесся ответ. — Я думаю, не опоздаем ли мы?

— А я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой, — крикнул, полуобернувшись, Дюрок. — Миновали ли мы Флиренский маяк?

— Маяк виден справа, проходим под бейдевинд. Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал:

— Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус.

— В моей семье не было трусов, — сказал я с скромной гордостью. На самом деле, никакой семьи у меня не было. — Море и ветер — вот что люблю я!

Казалось, мой ответ удивил его, он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь.

— Ты, Санди, или большой плут, или странный характер, — сказал он, подавая мне папиросу, — знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?

— Вы должны любить, — ответил я.

— Почему?

— У вас такой вид.

— Никогда не суди по наружности, — сказал, улыбаясь, Дюрок. — Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?

Я как мог взросло покачал головой и ногой.

— У мыса Гардена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем сто шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время.

Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи.

— Ну, это как сказать, — ответил Дюрок рассеянно. — Боюсь, что нам будет не до тебя. — Он повернулся к окну и крикнул: — Иду вас смеять!

Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая заочневшие руки, сказал:

— Третья смена будет твоя. Ну, что же ты делаешь на свои деньги?

В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты!

— Что я сделаю? — переспросил я. — Пожалуй, я куплю рыбацкий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом.

— Вот как?! — сказал Эстамп. — А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей душеньке.

Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька — вырезанная из журнала женская голова, страшно пленившая меня, — лежит на дне моего сундучка.

Эстамп выпил, стал рассеяннo и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит «Эспаньола», сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает и грязненькая, тесная, как курятник, каюта ему противна. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности, «Томми» — и я басом поправил его, сказав:

— Санди, Санди мое имя, клянусь Лукрецией!

Я вычитал, не помню где, это слово, непогрешимо веря, что оно означает неизвестный остров. Захотав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал: «Каково! Ее зовут Лукрецией, ах ты, волокита! Дюрок, слышите? — закричал он в окно. — Подругу Санди зовут Лукреция!»

Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый, поверхностный человек отважен и добр, — но в этот момент я ненавидел его наглые усики.

— Не дразните мальчика, Эстамп, — ответил Дюрок.

Новое унижение! — от человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя,

но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню.

В это время Дюрок прокричал: «Поворот!» Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать», — сказал Дюрок, указывая румб, и я молодецкато ответил: «Есть так держать!»

Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни; о том, что «надо точно узнать». Я должен был крепко держать румпель и стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало «Эспаньолу», как качель, поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы «Эспаньолу» бегом, держа веревку в зубах.

Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом.

— Ну что, — сказал он, хлопая меня по плечу, — вот мы подплываем. Смотри!

Слева, в тьме, стояла золотая сеть далеких огней.

— Так это и есть тот дом? — спросил я.

— Да. Ты никогда не бывал здесь?

— Нет.

— Ну, тебе есть что посмотреть.

Около получаса мы провели, обходя камни «Троячки». За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и, когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной, огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты.

Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, — вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи.

Тем временем «Эспаньола» ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон; напротив, — резко, болезненно-весело и неизбежно чувствовал я себя в этом неизвестном углу.

— Что Ганувер? — спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего. — Вы нас узнали? Надеюсь. Идемте, Эстамп. Иди с нами и ты, Санди, ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устройте его всесторонне, затем вам предстоит путешествие. — И он объяснил, куда отвести судно.— Пока прощай, Санди! Вы готовы, Эстамп? Ну, тронемся, и дай бог, чтобы все было благополучно.

Сказав так, он соединился с Эстампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня.

III

Из его рта, ворочавшего, как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий, приятный голосок, подобный струйке воды.

— Ты капитан, что ли? — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. — У, какой синий! Замерз?

— Черт побери! — сказал я. — И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?

— Это какую же такую историю?

Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца.

— Какую же это такую историю? Пойдем-ка, поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя.

С этим его рот захлопнулся — словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним.

От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх; еще ступени — мы прошли дальше — указывали поворот влево, я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве, со всех сторон и над головой ярко озаренном большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было свет-

ло, как днем; три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где, казалось, некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит; пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды; здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь.

— Пстой-ка, — сказал Том, — я поговорю тут с одним человеком, — и отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю, — меня толкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом, и уже несколько человек крикнули ворчливо-поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девчонка, спеша, растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибор миндаля подлетел к моим ногам; в то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара — в другую и пробороzdили миндаль рыбьим хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока наконец в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том.

— Пойдем-ка, — сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко; мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов.

— Я думаю, нам не помешают, — сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. —

Ну-ка выпей, а там принесут, что тебе надо, — и Том передал мне бутылку.

Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, — так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой; вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом, в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома:

— Ему, что ли?

Том не удостоил его ответом, а взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался.

— Ты в лохмотьях, — говорил он, — вот мы тебя нарядим. Хорошенький ты сделал рейс, — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. — Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь.

Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут, как из глины, лепить, что им вздумается. Оба мои пестуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову вбок, трудится над чем-то очень внимательно.

Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем.

— Ты все знаешь? — пробормотал он, озадаченный, и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. — Санди! — кричал он, тряся злополучную мою руку. — А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?! Вот ловко! Джон, взгляни сюда, тут ведь написано бесстыднейшим образом: «Я все знаю»!

Я стоял, прижимая к груди рубашку, полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пестунов моих привлекли кучу народа и давно уже шли взаимные, горячие объяснения — «в чем дело», — а я только поворачивался, взглядом разя насмешников: человек десять набилось в комнату. Стоял гам: «Вот этот! Все знает! Покажите-ка ваш диплом, молодой человек». — «Как варят соус тортю?» — «Эй, эй, что у меня в руке?» — «Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона?» — «Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты!» — Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом, положила меня на обе лопатки, пропищав: — «Папочка, не знаешь ты, сколько трижды три?»»

Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, не много надо, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся — горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый.

— Кто бросил деньги? — сухо спросил он.

Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история.

— В самом деле, есть у него на руке эти слова, — сказал Том, — покажи руку, Санди, что там, ведь с тобой просто шутили.

Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после.

— Соберите ему деньги, — сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. — Это вы написали сами?

— Я был бы последний дурак, — сказал я. — Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня.

— Так... а все-таки — может быть, хорошо все знать. — Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были, хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене.

— Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек, — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.

— При случае в грязь лицом не ударю, — сказал я, упрятывая свое богатство.

Поп посмотрел на меня, я — на него. Что-то мелькнуло в его глазах, — искра неизвестных соображений. «Это хорошо, да...» — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились; тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли, — я не понимал, хотя съел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я попытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю, — и что мне предстоит дальше?! Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что «если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую».

Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувство сопротивления и вопрос: «А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо,

готовых подхватить «вилок», выйду и вернусь на «Эспаньолу», где на всю жизнь случай этот так и останется «случаем», о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно «могшего быть» и «неразъясненного сущего». Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску и, действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии.

Однако ничего подобного пока мне не предстояло, — напротив, случай, или как там ни называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной, — а, как я сказал, помещение было без двери, — ее заменял сводчатый широкий проход, — несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор, непонятный, но интересный, — вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие:

— Ну что, опять, говорят, свалился?!

— Было дело, попили. Спят его, как пить дать, или сам сопьется.

— Да уж спился.

— Ему пить нельзя; а все пьют, такая компания.

— А эта шельма Дигэ чего смотрит?

— А ей-то что?!

— Ну, как что! Говорят, они в большой дружбе или просто амурь, а может быть, он на ней женится.

— Я слышал, как она говорит: «Сердце у вас здоровое; вы, говорит, очень здоровый человек, не то что я».

— Значит — пей, значит, можно пить, а всем известно, что доктор сказал: «Вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком».

— Сердце с пороком, а завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?

— Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях.

— А что? Видел ты что-нибудь?

— Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, — нигде ничего нет.

— Да, поэтому это есть секрет.

— А зачем секрет?

— Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.

— Стану ли я еще тебя спрашивать?!

Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал:

— Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит. А видел — и он клянется — Кваль; Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая ухорвертка, и лицо покрыла платком.

Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил:

— Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли, старику, заводить шашни. Кваль любит выдумывать.

Тут они вышли и подошли ко мне, — спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа, сказал:

— Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скорпечатную афишу.

Паркер был лакей, — я видел такую одежду, как у него, на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его и спросил. Он ответил:

— Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость.

Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь.

— Нет, — сказал он, — но я не в духе и буду придираться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня.

Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением.

Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченная линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, — среди пересечения линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронута чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии, в соединении с цветом и светом, могут улыбаться, останавливать, задержать вздох, изменить настроение, что они

могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов.

Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу лент и цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал:

— Санди, которого вы желали видеть, — вот он, — затем исчез. Я обернулся — его не было.

— Подойдите-ка сюда, Санди, — устало сказал кто-то.

Я огляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам, с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом; они стояли, куря, подле камина и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет двадцати восьми, с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял Поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красива, и оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, — немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени.

— Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями? — произнес закутанный человек, морщась и потирая

висок. — Они, как приехали на твоём корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер; садись, Санди, ко мне поближе.

Он указал кресло, в которое я и сел, — не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но наконец укрепился.

— Итак, — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — ты любишь «море и ветер»!

Я молчал.

— Не правда ли, Дигэ, какая сила в этих простых словах?! — сказал Ганувер молодой даме. — Они встречаются, как две волны.

Тут я заметил остальных. Это были двое молодых людей. Один — нервный человек с черными баками, в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его белое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше плотен, брит и в очках.

— Волны и эскадрильи! — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня, рокочущим басом. — Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны; цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!

Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные, только Дюрок остался, — с несколько мрачным лицом, — безучастным к этой шутке и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мною и Ганувером.

— Что ж, — сказал он, кладя мне на плечо руку, — Санди служит своему призванию, как может. Мы еще поплывем, а?

— Далеко поплывем, — сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник.

Все снова стали смеяться, затем между ними произошёл разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне, — легонько подсмеиваясь или серьёзно — я не разобрал. Лишь некоторые слова, вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль», запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Эстампом.

Эстамп обратился ко мне, сказав:

— А помнишь, как ты меня напоил?

— Разве вы напились?

— Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку. Признавайся, — «огненная вода», «клянись Лукрецией!» — вскричал он, — честное слово, он поклялся Лукрецией! К тому же, он «все знает» — честное слово!

Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился; я подметил каверзную улыбку Попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло.

Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, — тем хуже для них: опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя, как часть некой истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отрапортовал:

— Если я что-нибудь «знаю», так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях и я перед

тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное, — здесь я разорвал Попа глазами на мелкие куски, как бумажку, — я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому.

Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.

— Он мне нравится, — сказал Ганувер, — однако не надо ссориться, Санди.

— Посмотри на меня, — сурово сказал Дюрок; я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю. — С тобой шутили и ничего более. Пойми это!

Я отвернулся, взглянул на Эстампа, затем на Попа. Эстамп, несколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «Ба!» — и заговорил с неизвестным в очках. Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.

— Экий вы горячий, Санди, — сказал он. — Ну здесь нет ничего особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра.

За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон выражаемой лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедшей с годами в способность верно угадывать отношение к себе впервые встречаемых людей, — но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Эстамп отделены от всех, кроме Ганувера, особым, неизвестным мне, настроением и что, с другой стороны, — дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отда-

ленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний, — значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, к которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи с о с т о я н и й отдельных людей и групп теперешнее ощущение хранит верно.

Я впал в мрачность от слов Попа; он уже отошел.

— С вами говорит Ганувер, — сказал Дюрок; встав, я подошел к качалке.

Теперь я лучше рассмотрел этого человека, с блестящими, черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, может быть, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками:

— Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу, в библиотеку, там ты будешь разбирать... — он не договорил, что разбирать. — Нравится он вам, Поп? Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну, иди. Не бери себе в поверенные вино, милый ди-Сантьяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй; все в порядке.

Я тронулся, Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дигэ:

— Этот молодой человек не в меру строптив.

Я не знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Гануверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатики.

— Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе, эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы.

Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо-красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо.

IV

Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках — так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но, кроме «туда», «сюда», не говорил ничего. Очутившись в библиотеке — круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле, — мы стали друг к другу лицом и устали смотреть, — каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык.

— Вы отличились, — сказал он, — похитили судно; славная штука, честное слово!

— Едва ли я рисковал, — ответил я, — мой шкипер, дядюшка Гро, тоже, должно быть, не в накладе. А скажите, почему они так торопились?

— Есть причины! — Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. — Не будем говорить сегодня о библиотеке, — продолжал он, когда я уселся. — Правда, что я за эти дни все запустил, — материал

задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... вы... одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?

— Как же, — сказал я, радуясь, что могу, наконец, удивить этого изящного юношу. — Я читал много книг. Возьмем, например, «Роб-Роя» или «Ужас таинственных гор»; потом «Всадник без головы»...

— Простите, — перебил он, — я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу, или, лучше, послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату.

— Но где же я и что это за дом?

— Не бойтесь, вы в хороших руках, — сказал Поп. — Имя хозяина Эверест Ганувер, я — его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом.

— Может ли быть, — вскричал я, — что болтовня на «Мелузине» суцая правда?

Я рассказал Попу о вечернем разговоре матросов.

— Могу вас заверить, — сказал Поп, — что относительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменной судьбы.

«Творится невероятное», — подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери.

— Здесь помещаюсь я, — сказал Поп, указывая одну дверь, и, открыв другую, прибавил:— А вот ваша комната. Не робейте, Санди, мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах, — сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. — Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги (а я как раз так и думал)? Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо.

Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкапом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за Попом с сердцембиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро.

— Я думаю, вы устроитесь, — сказал Поп, оглядывая помещение. — Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра.

— О да, — сказал я, нервно хихикнув. — Пожалуй, что так. И чемодан и все прочее.

— У вас много вещей? — благосклонно спросил он.

— Как же! — ответил я. — Одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти.

— Пять?.. — Он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. — Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить: если вы потянете шнур один раз, — по лифту, устроенному в стене, поднимется завтрак. Два раза — обед, три раза — ужин; чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном. — Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку: — Алло! Что? Ого, да, здесь новый жилец. — Поп обернулся ко мне. — Что вы желаете?

— Пока ничего, — сказал я с стесненным дыханием. — Как же едят в стене?

— Боже мой! — Он встrepенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12. — Я должен идти. В стене не едят, конечно, но... но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно, как для вас, так и для слуг... Решительно ухожу, Санди. Итак, вы — на месте, и я спокоен. До завтра.

Поп быстро вышел; еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги.

V

Итак, я остался один.

Было от чего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул; перевел дыхание. Потикиванье часов вело многозначительный разговор с тишиной.

Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история».

Обдумать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва появилась связная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. Черт побери! — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жажда вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: — Кресло, диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало. — Я заглянул в зеркало. Там металось подобие франтоватого красного мака с блаженно-перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь, с новым смятением моей душе. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины — отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчи-

тал монеты, — тридцать пять золотых монет, — но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения.

Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкапов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавший: «Никого нет», — и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался — метнулся, прижавшись к стене между двух шкапов, где еще не был виден, но, если бы вошедшие сделали пять шагов в эту сторону, — новый помощник библиотекаря, Санди Пруэль, явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкапе, очень большом, с глухой дверью без стекол была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкапа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хотя стать за ее прикрытием, если шкап ока-

жется полон. Шкап должен был быть полон, — в этом я давал себе судорожный отчет, и, однако, он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрожа, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей.

Женщина была Дигэ, — с другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать, по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина — догадаться не составляло особого труда: мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэй и Дигэ.

— Я хочу взять книгу, — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.

— Но здесь, действительно, нет никого, — проговорил Галуэй.

— Да. Так вот, — она словно продолжала оборванный разговор, — это непременно случится.

— Ого!

— Да. В бледных тонах. В виде паутинных душевных прикосновений. Негреющее осеннее солнце.

— Если это не самомнение.

— Я ошибаюсь?! Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него.

— Так. Дальше! — сказал Галуэй. — А обещание?

— Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томсону. — Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня. — Его выгоднее для будущего держать

на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу... на всякий случай... Прелестное издание, — продолжала Дигэ тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон: — Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят... эти... эти.

— Кажется, старые друзья; кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде, — сказал Галуэй. — Что могут они сделать, во всяком случае?!

— Ничего, но это сбивает.

Далее я не расслышал.

— Заметь. Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?

— Идиот!

— Я задал неделовой вопрос, только и всего.

— Если хочешь знать. Даже скажу больше, — не будь я так хорошо вышколена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, — страстишка. Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно.

— В таком случае, — заметил Галуэй, — я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томсону?

— То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка «Вас-ис-дас». Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.

— Он влопается.

— Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего, — по своей линии.

— Идем. Что ты взяла?

— Я поищу, нет ли... Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги.

— Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя.

Дигэ перешла часть пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылушил из непонятого все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода — куда! — хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии, с смелой надеждой, что пространство расширится, — безрезультатно. Наконец, я повернул ее влево. И произошло, — ну, не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? — произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкапа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал, коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

Такое сожжение кораблей немедленно отозвалось в сердце и уме, — сердце перевернулось, и я увидел, что поступил опрометчиво. Пробовать снова открыть стену библиотеки не было никаких оснований, — перед глазами моими был тупик, выложенный квадратным камнем, который не понимал, что такое «Сезам», и не имел пунктов, вызывающих желание нажать их. Я сам захлопнул себя. Но к этому огорчению примешивался возвышенный полустрах (вторую половину назовем ликование) — быть одному в таинственных запретных местах. Если я чего опасался, то единственно — большого труда выбраться из тайного к явному; обнаружение меня здесь хозяевами этого дома я немедленно смягчил бы рассказом о подслушанном разговоре и вытекающем отсюда желании скрыться. Даже не очень сметливый человек, услышав такой разговор, должен был настроиться подозрительно. Эти люди, ради целей, — откуда мне знать — каких? — беседовали секретно, посмеиваясь. Надо сказать, что заговоры вообще я считал самым нормальным явлением и был бы очень неприятно задет отсутствием их в таком месте, где обо всем надо догадываться: я испытывал огромное удовольствие, — более, — глубокое интимное наслаждение, но оно, благодаря крайне напряженному сцеплению обстоятельств, втянувших меня сюда, давало себя знать, кроме быстрого вращения мыслей, еще дрожью рук и колен; даже когда я открывал, а потом закрывал рот, зубы мои лязгали, как медные деньги. Немного постояв, я осмотрел еще раз этот тупик, пытаюсь установить, где и как отделяется часть стены, но не заметил никакой щели. Я приложил ухо, не слыша ничего, кроме трений о камень самого уха, и, конечно, не постучал. Я не знал, что происходит в библиотеке. Быть может, я ждал недолго, может

быть, прошло лишь пять, десять минут, но, как это бывает в таких случаях, чувства мои опередили время, насчитывая такой срок, от которого нетерпеливой душе естественно переходить к действию. Всегда, при всех обстоятельствах, как бы согласно я ни действовал с кем-нибудь, я оставлял кое-что для себя и теперь тоже подумал, что надо воспользоваться свободой в собственном интересе, вдосталь насладиться исследованиями. Как только искушение завияло хвостом, уже не было для меня удержу стремиться всем существом к сногшибательному соблазну. Издавна страстью моей было бродить в неизвестных местах, и я думаю, что судьба многих воров обязана тюремной решеткой вот этому самому чувству, которому все равно, — чердак или пустырь, дикie острова или неизвестная чужая квартира. Как бы там ни было, страсть проснулась, заиграла, и я решительно поспешил прочь.

Коридор был в ширину с полметра да еще, пожалуй, и дюйма четыре сверх того; в высоту же достигал четырех метров; таким образом, он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в дальний конец которой было так же странно и узко смотреть, как в глубокий колодец. По разным местам этого коридора, слева и справа, виднелись темные вертикальные черты — двери или сторонние проходы, стынущие в нем свете. Далекий конец звал, и я бросился навстречу скрытым чудодейственным таинствам.

Стены коридора были выложены снизу до половины коричневым кафелем, пол — серым и черным в шахматном порядке, а белый свод, как и остальная часть стен до кафеля, на правильном расстоянии друг от друга блестел выгнутыми круглыми стеклами, прикрывающими электрические лампы. Я прошел до первой вертикальной черты слева, принимая ее за дверь, но вблизи увидел, что это узкая арка, от которой в темный, неведомой глубины низ сходит узкая витая

лестница с сквозными чугунными ступенями и медными перилами. Оставив исследование этого места, пока не обегу возможно большего пространства, чтобы иметь сколько-нибудь общий взгляд для обсуждения походов в дальнейшем, я поторопился достигнуть отдаленного конца коридора, мельком взглядывая на открывающиеся по сторонам ниши, где находил лестницы, подобные первой, с той разницей, что некоторые из них вели вверх. Я не ошибусь, если обозначу все расстояние от конца до конца прохода в 250 футов, и когда я пронесся по всему расстоянию, то, обернувшись, увидел, что в конце, оставленном мной, ничто не изменилось, следовательно, меня не собирались ловить.

Теперь я находился у пересечения конца прохода другим, совершенно подобным первому, под прямым углом. Как влево, так и вправо открывалась новая однообразная перспектива, все так же неправильно помеченная вертикальными чертами боковых ниш. Здесь мной овладело, так сказать, равновесие намерения, потому что ни в одной из предстоящих сторон или крыльев поперечного прохода не было ничего отличающего их одну от другой, ничего, что могло бы обусловить выбор, — они были во всем и совершенно равны. В таком случае довольно оброненной на полу пуговицы или иного подобного пустяка, чтобы решение «куда идти» выскочило из вязкого равновесия впечатлений. Такой пустяк был бы толчком. Но, посмотрев в одну сторону и обернувшись к противоположной, можно было одинаково легко представить правую сторону левой, левую правой или наоборот. Странно сказать, я стоял неподвижно, озираясь и не подозревая, что некогда осел между двумя стогами сена огорчался, как я. Я словно прирос. Я делал попытки двигаться то в одну, то в другую сторону и неизменно останавливался, начиная решать снова то, что еще никак не было решено. Возможно ли изо-

бразить эту физическую тоску, это странное и тупое раздражение, в котором я отдавал себе отчет даже тогда; колеблясь беспомощно, я чувствовал, как начинает подкрадываться, уже затемняя мысли, страх, что я останусь стоять всегда. Спасение было в том, что я держал левую руку в кармане куртки, вертя пальцами горсть монет. Я взял одну из них и бросил ее налево, с целью вызвать решительное усилие; она покатилась; и я отправился за ней только потому, что надо было ее поднять. Догнав монету, я начал одолевая второй коридор с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел, так расстроюсь, что еще слышал сердцебиение.

Однако придя в этот конец, я увидел, что занимаю положение замысловатее прежнего, — ход замыкался в тупик, то есть был ровно обрезан совершенно глухой стеной. Я повернул вспять, рассматривая стеновые отверстия, за которыми, как и прежде, можно было различить опускающиеся в тень ступени. Одна из ниш имела не железные, а каменные ступени, числом пять; они вели к глухой, плотно закрытой двери, однако когда я ее толкнул, она подалась, впустив меня в тьму. Зажегши спичку, увидел я, что стою на нешироком пространстве четырех стен, обведенных узкими лестницами, с меньшими наверху площадками, примыкающими к проходным аркам. Высоко вверху тянулись другие лестницы, соединенные перекрестными мостиками.

Цели и ходы этих сплетений я, разумеется, не мог знать, но имея как раз теперь обильный выбор всяческих направлений, подумал, что хорошо было бы вернуться. Эта мысль стала особенно заманчива, когда спичка потухла. Я истратил вторую, но не забыл при этом высмотреть выключатель, который оказался у двери, и повернул его. Таким образом, обеспечив свет, я стал снова смотреть вверх, но здесь, обронив

коробку, нагнулся. Что это??! Чудовища сошлись ко мне из породившей их тайны или я головокружительно схожу с ума? Или бред овладел мной?

Я так затрясся, мгновенно похолодев в муке и тоске ужаса, что, бессильный выпрямиться, уперся руками в пол и грохнулся на колени, внутренне визжа, так как не сомневался, что провалюсь вниз. Однако этого не случилось. У моих ног я увидел разбросанные бессмысленные глаза существ с мордами, напоминающими страшные маски. Пол был прозрачен. Воткнувшись под ним вверх к самому стеклу, торчало устремленное на меня множество глаз с зловещей окраской; круг странных контурных вывертов, игл, плавников, жабр, колючек; иные, еще более диковинные, всплывали снизу, как утыканные гвоздями пузыри или ромбы. Их медленный ход, неподвижность, сонное шевеление, среди которого вдруг прорезывало зеленую полутьму некое гибкое, вертлявое тело, отскакивая и кидаясь как мяч, — все их движения были страшны и дики. Цепенея, чувствовал я, что повалюсь и скончаюсь от перерыва дыхания. На счастье мое, взорванная таким образом мысль поспешила соединить указания вещественных отношений, и я сразу понял, что стою на стеклянном потолке гигантского аквариума, достаточно толстом, чтобы выдержать падение моего тела.

Когда смятение улеглось, я, высунув язык рыбам в виде мести за их пучеглазое наваждение, растянулся и стал жадно смотреть. Свет не проникал через всю массу воды; значительная часть ее — нижняя — была затенена внизу, отделяя сверху уступы искусственных гротов и коралловых разветвлений. Над этим пейзажем шевелились медузы и неизвестно что, подобное висячим растениям, привешенным к потолку. Подо мной всплывали и погружались фантастические формы, светя глазами и блес-

тя заостренными со всех сторон панцирями. Я теперь не боялся; вдоволь насмотревшись, я встал и пробрался к лестнице; шагая через ступеньку, поднялся на ее верхнюю площадку и вошел в новый проход.

Как было светло там, где я шел раньше, так было светло и здесь, но вид прохода существенно отличался от скрещений нижнего коридора. Этот проход, имея мраморный пол из серых с синими узорами плит, был значительно шире, но заметно короче; его совершенно гладкие стены были полны шнуров, тянувшихся по фарфоровым скрепам, как струны, из конца в конец. Потолок шел стрельчатыми розетками; лампы, блестя в центре клинообразных выемок свода, были в оправе красной меди. Ничем не задерживаясь, я достиг загораживающей проход створчатой двери не совсем обычного вида; она была почти квадратных размеров, а половины ее раздвигались, уходя в стены. За ней оказался род внутренности большого шкапа, где можно было стать троим. Эта клетка, выложенная темным орехом, с небольшим зеленым диванчиком, как показалось мне, должна составлять некий ключ к моему дальнейшему поведению, хотя и загадочный, но все же ключ, так как я никогда не встречал диванчиков там, где, видимо, не было в них нужды; но раз он стоял, то стоял, конечно, ради прямой цели своей, то есть, чтоб на него сели. Не трудно было сообразить, что сидеть здесь, в тупике, должно лишь ожидая — кого? или чего? — мне это предстояло узнать. Не менее внушительен был над диванчиком ряд белых костяных кнопок. Исходя опять-таки из вполне разумного соображения, что эти кнопки не могли быть устроены для вредных или вообще опасных действий, так что, нажимая их, я могу ошибиться, но никак не рискую своей головой, — я поднял руку, намереваясь произвести опыт...

Совершенно естественно, что в моменты действия с неизвестным воображение торопится предугадать результат, и я, уже нацелив палец, остановил его тыкающее движение, внезапно подумав: не раздастся ли тревога по всему дому, не загремит ли оглушительный звон? Хлопанье дверей, топот бегущих ног, крики: — «где? кто? эй! сюда!» — представились мне так отчетливо в окружающей меня совершенной тишине, что я сел на диванчик и закурил. «Н-да-с! — сказал я. — Мы далеко ушли, дядюшка Гро, а ведь как раз в это время вы подняли бы меня с жалкого ложа и, согрев тумачом, приказали бы идти стучать в темное окно трактира «Заверни к нам», чтоб дали бутылку...» Меня восхищало то, что я ничего не понимаю в делах этого дома, в особенности же совершенная неизвестность, как и что произойдет через час, день, минуту, — как в игре. Маятник мыслей моих делал чудовищные размахи, и ему подвертывались всяческие картины, вплоть до появления карликов. Я не отказался бы увидеть процессию карликов — седобородых, в колпаках и мантиях, крадущихся вдоль стены с хитрым огнем в глазах. Тут стало мне жутко; решившись, я встал и мужественно нажал кнопку, ожидая, не откроется ли стена сбоку. Немедленно меня качнуло, клетка с диванчиком поехала вправо так быстро, что мгновенно скрылся коридор и начали мелькать простенки, то запирая меня, то открывая иные проходы, мимо которых я стал кружиться безостановочно, ухватясь за диван руками и тупо смотря перед собой на смену препятствий и перспектив.

Все это произошло в том категорическом темпе машины, против которого ничто не в состоянии спорить внутри вас, так как протестовать бессмысленно. Я кружился, описывая замкнутую черту внутри обширной трубы, полной стен и отверстий, правильно сменяющих одно другое, и так быстро, что не решался

выскочить в какой-нибудь из беспощадно исчезающих коридоров, которые, являсь на момент вровень с клеткой, исчезали, как исчезали, в свою очередь, разделяющие их глухие стены. Вращение было заведено, по-видимому, надолго, так как не уменьшалось и, раз начавшись, пошло гулять, как жернов в ветреный день. Знай я способ остановить это катание вокруг самого себя, я немедленно окончил бы наслаждаться сюрпризом, но из девяти кнопок, еще не испытанных мной, каждая представляла шараду. Не знаю, почему представление об остановке связалось у меня с нижней из них, но, решив после того, как начала уже кружиться голова, что невозможно вернуться всю жизнь, — я со злобой прижал эту кнопку, думая, — «будь что будет». Немедленно, не останавливая вращения, клетка поползла вверх, и я был вознесен высоко по винтовой линии, где моя тюрьма остановилась, продолжая вертеться в стене с ровно таким же количеством простенков и коридоров. Тогда я нажал третью по счету сверху, — и махнул вниз, но, как заметил, выше, чем это было вначале, и так же неумолимо вертелся на этой высоте, пока не стало тошнить. Я всполошился. Поочередно, почти не сознавая, что делаю, я начал нажимать кнопки как попало, носясь вверх и вниз с проворством парового молота, пока не ткнул — конечно, случайно — ту кнопку, которую требовалось задеть прежде всего. Клетка остановилась как вкопанная против коридора на неизвестной высоте, и я вышел, пошатываясь.

Теперь, знай я, как направить обратно вращающийся лифт, я немедленно вернулся бы стучать и ломиться в стену библиотеки, но был не в силах пережить вторично вертящийся плен и направился куда глаза глядят, надеясь встретить хотя какое-нибудь открытое пространство. К тому времени я очень устал. Ум мой был помрачен: где я ходил, как спускался и поднимался, встречая то боковые, то пересекаю-

щие ходы, — не дано теперь моей памяти восстановить в той наглядности, какая была тогда; я помню лишь тесноту, свет, повороты и лестницы, как одну сверкающую запутанную черту. Наконец, набив ноги так, что пятки горели, я сел в густой тени короткого бокового углубления, не имевшего выхода, и устался в противоположную стену коридора, где светло и пусто пережидала эту безумную ночь яркая тишина. Назойливо, до головной боли был напряжен тоскующий слух мой, воображая шаги, шорох, всевозможные звуки, но слышал только свое дыхание.

Вдруг далекие голоса заставили меня вскочить — шло несколько человек, с какой стороны, — разобрать я еще не мог; наконец шум, становясь слышнее, стал раздаваться справа. Я установил, что идут двое, женщина и мужчина. Они говорили немногословно, с большими паузами; слова смутно перелетали под сводом, так что нельзя было понять разговор. Я прижался к стене, спиной в сторону приближения, и скоро увидел Ганувера рядом с Дигэ. Оба они были возбуждены. Не знаю, показалось мне это или действительно было так, но лицо хозяина светилось нервной каленой бледностью, а женщина держалась остро и легко, как нож, поднятый для удара.

Естественно, опасаясь быть обнаруженным, я ждал, что они проследуют мимо, хотя искушение выйти и заявить о себе было сильно, — я надеялся остаться снова один, на свой риск и страх и, как мог глубже, ушел в тень. Но, пройдя тупик, где я скрывался, Дигэ и Ганувер остановились — остановились так близко, что, высунув из-за угла голову, я мог видеть их почти против себя.

Здесь разыгралась картина, которой я никогда не забуду.

Говорил Ганувер.

Он стоял, упираясь пальцами левой руки в стену и смотря прямо перед собой, изредка взглядывая на

женщину совершенно большими глазами. Правую руку он держал приподнято, поводя ею в такт слов. Дигэ, меньше его ростом, слушала, слегка отвернув наклоненную голову с печальным выражением лица, и была очень хороша теперь, — лучше, чем я видел ее в первый раз; было в ее чертах человеческое и простое, но как бы обязательное, из вежливости или расчета.

— В том, что неосязаемо, — сказал Ганувер, продолжая о неизвестном. — Я как бы нахожусь среди множества незримых присутствий. — У него был усталый грудной голос, вызывающий внимание и симпатию. — Но у меня словно завязаны глаза, и яжимаю, — непрерывно жму множество рук, — до утомления жму, уже перестав различать, жестка или мягка, горяча или холодна рука, к которой я прикасаюсь; между тем я должен остановиться на одной и боюсь, что не угадаю ее.

Он умолк. Дигэ сказала:

— Мне тяжело слышать это.

В словах Ганувера (он был еще хмелен, но держался твердо) сквозило необъяснимое горе. Тогда со мной произошло странное, вне воли моей, нечто, не повторявшееся долго, лет десять, пока не стало натурально свойственным, — это состояние, которое сейчас опишу. Я стал представлять ощущения беседующих, не понимая, что держу это в себе, между тем я вбирал их как бы со стороны. В эту минуту Дигэ положила руку на рукав Ганувера, соразмеряя длину паузы, ловя, так сказать, нужное, не пропустив должного биения времени, после которого, как ни незаметно мала эта духовная мера, говорить будет уже поздно, но и на волос раньше не должно быть сказано. Ганувер молча продолжал видеть то множество рук, о котором только что говорил, и думал о руках вообще,

когда его взгляд остановился на белой руке Дигэ с представлением пожатия. Как ни был краток этот взгляд, он немедленно отозвался в воображении Дигэ физическим прикосновением ее ладони к таинственной невидимой струне: разом поймав такт, она сняла с рукава Ганувера свою руку и, протянув ее вверх ладонью, сказала ясным убедительным голосом:

— Вот эта рука!

Как только она это сказала — мое тройное ощущение за себя и других кончилось. Теперь я видел и понимал только то, что видел и слышал. Ганувер, взяв руку женщины, медленно всматривался в ее лицо, как ради опыта читаем мы на расстоянии печатный лист — угадывая, местами прочтя или пропуская слова, с тем, что, связав угаданное, поставим тем самым в линию смысла и то, что не разобрали. Потом он нагнулся и поцеловал руку — без особого увлечения, но очень серьезно, сказав:

— Благодарю. Я верно понял вас, добрая Дигэ, и я не выхожу из этой минуты. Отдадимся течению.

— Отлично, — сказала она, развеселясь и краснея, — мне очень, очень жаль вас. Без любви... это странно и хорошо.

— Без любви, — повторил он, — быть может, она придет... Но и не придет — если что...

— Ее заменит близость. Близость вырастает потом. Это я знаю.

Наступило молчание.

— Теперь, — сказал Ганувер, — ни слова об этом. Все в себе. Итак, я обещал вам показать зерно, из которого вышел. Отлично. Я — Аладин, а эта стена — ну, что вы думаете, — что это за стена? — Он как будто развеселился, стал улыбаться. — Видите ли вы здесь дверь?

— Нет, я не вижу здесь двери, — ответила, забавляясь ожиданием, Дигэ. — Но я знаю, что она есть.

— Есть, — сказал Ганувер. — Итак... — Он поднял руку, что-то нажал, и невидимая сила подняла вертикальный стенной пласт, открыв вход. Как только мог, я вытянул шею и нашел, что она гораздо длиннее, чем я до сих пор думал. Выпучив глаза и выставив голову, я смотрел внутрь нового тайника, куда вошли Ганувер и Дигэ. Там было освещено. Как скоро я убедился, они вошли не в проход, а в круглую комнату; правая часть ее была от меня скрыта, — по той косой линии направления, как я смотрел, но левая сторона и центр, где остановились эти два человека, предстали недалеко от меня, так что я мог слышать весь разговор.

Стены и пол этой комнаты — камеры без окон — были обтянуты лиловым бархатом, с узором по стене из тонкой золотой сетки с клетками шестигранной формы. Потолка я не мог видеть. Слева у стены на узорном золотистом столбе стояла черная статуя: женщина с завязанными глазами, одна нога которой воздушно касалась пальцами колеса, украшенного по сторонам оси крыльями, другая, приподнятая, была отнесена назад. Внизу свободно раскинутыми петлями лежала сияющая желтая цепь средней якорной толщины, каждое звено которой было, вероятно, фунтов в двадцать пять весом. Я насчитал около двенадцати оборотов, длиной каждый от пяти до семи шагов, после чего должен был с болью закрыть глаза, — так сверкал этот великолепный трос, чистый, как утренний свет, с жаркими бесцветными точками по месту игры лучей. Казалось, дымится бархат, не вынося ослепительного горения. В ту же минуту тонкий звон начался в ушах, назойливый, как пение комара, и я догадался, что это — золото, чистое золото, брошенное к столбу женщины с завязанными глазами.

— Вот она, — сказал Ганувер, засовывая руки в карманы и толкая носком тяжело отодвинувшееся двойное кольцо. — Сто сорок лет под водой. Ни ржавчины, ни ракушек, как и должно быть. Пирон был затейливый буканьер. Говорят, что он возил с собой поэта Касторуччио, чтобы тот описывал стихами все битвы и попойки; ну, и красавиц, разумеется, когда они попадались. Эту цепь он выковывал в 1777 году, за пять лет перед тем, как его повесили. На одном из колец, как видите, сохранилась надпись: «6 апреля 1777 года, волей Иеронима Пирона».

Дигэ что-то сказала. Я слышал ее слова, но не понял.

Это была строка или отрывок стихотворения.

— Да, — объяснил Ганувер, — я был, конечно, беден. Я давно слышал рассказ, как Пирон отрубил эту золотую цепь вместе с якорем, чтобы удрать от английских судов, настигших его внезапно. Вот и следы, — видите, здесь рубили, — он присел на корточки и поднял конец цепи, показывая разрубленное звено. — Случай или судьба, как хотите, заставили меня купаться очень недалеко отсюда, рано утром. Я шел по колено в воде, все дальше от берега, на глубину и споткнулся, задев что-то твердое большим пальцем ноги. Я наклонился и вытащил из песка, подняв муть, эту сияющую тяжеловесную цепь до половины груди, но, обессилев, упал вместе с ней. Одна только гагара, покачиваясь в зыби, смотрела на меня черным глазом, думая, может быть, что я поймал рыбину. Я был блаженно пьян. Я снова зарыл цепь в песок и заметил место, выложив на берегу ряд камней, по касательной моему открытию линии, а потом перенес находку к себе, работая пять ночей.

— Один?! Какая сила нужна!

— Нет, вдвоем, — сказал Ганувер, помолчав. — Мы распиливали ее на куски по мере того, как вытя-

гивали, обыкновенной ручной пилой. Да, руки долго болели. Затем переносили в ведрах, сверху присыпав ракушками. Длилось это пять ночей, и я не спал эти пять ночей, пока не разыскал человека настолько богатого и надежного, чтобы взять весь золотой груз в заклад, не проболтавшись при этом. Я хотел сохранить ее. Моя... Мой компаньон по перетаскиванию танцевал ночью, на берегу, при лунном...

Он замолчал. Хорошая, задумчивая улыбка высекла свет в его расстроенном лице, и он стер ее, проведя от лба вниз ладонью.

Дигэ смотрела на Ганувера молча, прикусив губу. Она была очень бледна и, опустив взгляд к цепи, казалось, отсутствовала, так не к разговору выглядело ее лицо, похожее на лицо слепой, хотя глаза отбрасывали тысячи мыслей.

— Ваш... компаньон, — сказала она очень медленно, — оставил всю цепь вам?

Ганувер поднял конец цепи так высоко и с такой силой, какую трудно было предположить в нем, затем опустил.

Трос грохнулся тяжелой струей.

— Я не забывал о нем. Он умер, — сказал Ганувер, — это произошло неожиданно. Впрочем, у него был странный характер. Дальше было так. Я поручил верному человеку распоряжаться как он хочет моими деньгами, чтоб самому быть свободным. Через год он телеграфировал мне, что возросло до пятнадцати миллионов. Я путешествовал в это время. Путешествуя в течение трех лет, я получил несколько таких извещений. Этот человек спас мое стадо и умножал его с такой удачей, что перевалило за пятьдесят. Он вывалил мое золото, где хотел — в нефти, каменном угле, биржевом поту, судостроении и... я уже забыл, где. Я только получал телеграммы. Как это вам нравится?

— Счастливая цепь, — сказала Дигэ, нагибаясь и пробуя приподнять конец троса, но едва пошевелила его. — Не могу.

Она выпрямилась. Ганувер сказал:

— Никому не говорите о том, что видели здесь. С тех пор как я выкупил ее и спаял, вы — первая, которой показываю. Теперь пойдем. Да, выйдем, и я закрою эту золотую змею.

Он повернулся, думая, что она идет, но, взглянув и уже отойдя, позвал снова:

— Дигэ!

Она стояла, смотря на него пристально, но так рассеянно, что Ганувер с недоумением опустил протянутую к ней руку. Вдруг она закрыла глаза, — сделала усилие, но не двинулась. Из-под ее черных ресниц, поднявшихся страшно тихо, дрожа и сверкая, выполз помраченный взгляд — странный и глухой блеск; только мгновение сиял он. Дигэ опустила голову, тронула глаза рукой и, вздохнув, выпрямилась, пошла, но пошатнулась, и Ганувер поддержал ее, глядя с тревогой.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, так. Я... я представила трупы; людей, привязанных к цепи; пленников, которых опускали на дно.

— Это делал Морган, — сказал Ганувер, — Пирон не был столь жесток, и легенда рисует его скорее пьяницей-чудаком, чем драконом.

Они вышли, стена опустилась и стала на свое место, как если бы никогда не была потревожена. Разговаривавшие ушли в ту же сторону, откуда явились. Немедленно я вознамерился взглянуть им вслед, но... хотел ступить и не мог. Ноги ооченели, не повиновались. Я как бы отсидел их в неудобном положении. Вертясь на одной ноге, я поднял кое-как другую и переставил ее, она была тяжела и опустилась как на подушку, без ощущения. Проволочив к ней вторую

ногу, я убедился, что могу идти так со скоростью десяти футов в минуту. В глазах стоял золотой блеск, волнами поражая зрачки. Это состояние околдованности длилось минуты три и исчезло так же внезапно, как появилось. Тогда я понял, почему Дигэ закрыла глаза, и припомнил чей-то рассказ о мелком чиновнике-французе в подвалах Национального банка, который, походив среди груд золотых болванок, не мог никак уйти, пока ему не дали стакан вина.

— Так вот что, — бессмысленно твердил я, выйдя наконец из засады и бродя по коридору. Теперь я видел, что был прав, пустившись делать открытия. Женщина заберет Ганувера, и он на ней женится. Золотая цепь извивалась передо мной, ползая по стенам, путалась в ногах. Надо узнать, где он купался, когда нашел трос; кто знает — не осталось ли там и на мою долю? Я вытащил свои золотые монеты. Очень, очень мало! Моя голова кружилась. Я блуждал, с трудом замечая, где, как поворачиваю, иногда словно проваливался, плохо сознавал, о чем думаю, и шел, сам себе посторонний, уже устав надеяться, что наступит конец этим скитаниям в тесноте, свете и тишине. Однако моя внутренняя тревога была, надо думать, сильна, потому что сквозь бред усталости и выжженного ею волнения я, остановясь, — резко, как над пропастью, представил, что я заперт и заблудился, а ночь длится. Не страх, но совершенное отчаяние, полное бесконечного равнодушия к тому, что меня здесь накроют, владело мной, когда, почти падая от изнурения, подкравшегося всесильно, я остановился у тупика, похожего на все остальные, лег перед ним и стал бить в стену ногами так, что эхо, завыв гулом, пошло грохотать по всем пространствам, вверху и внизу.

Я не удивился, когда стена сошла с своего места и в яркой глубине обширной, роскошной комнаты я увидел Попа, а за ним — Дюрока в пестром халате. Дюрок поднял, но тотчас опустил револьвер, и оба бросились ко мне, втаскивая меня за руки, за ноги, так как я не мог встать. Я опустился на стул, смеясь и изо всей силы хлопая себя по колену.

— Я вам скажу, — проговорил я, — они женятся! Я видел! Та молодая женщина и ваш хозяин. Он был подвыпивши. Ей-богу! Поцеловал руку. Честь честью! Золотая цепь лежит там, за стеной, сорок поворотов через сорок проходов. Я видел. Я попал в шкаф и теперь судите, как хотите, но вам, Дюрок, я буду верен, и баста!

У самого своего лица я увидел стакан с вином. Стекло лязгало о зубы. Я выпил вино, во тьме свалившегося на меня сна еще не успев разобрать, как Дюрок сказал:

— Это ничего, Поп! Санди получил свою порцию; он утолил жажду необычайного. Бесполезно говорить с ним теперь.

Казалось мне, когда я очнулся, что момент потери сознания был краток, и шкипер немедленно стащит с меня куртку, чтоб холод заставил быстрее вскочить. Однако не исчезло ничто за время сна. Дневной свет заглядывал в щели гардин. Я лежал на софе. Попа не было. Дюрок ходил по ковру, нагнув голову, и курил.

Открыв глаза и осознав отлетевшее, я снова закрыл их, придумывая, как держаться, так как не знал, обдадут меня бранью или все благополучно сойдет. Я понял все-таки, что лучшее — быть самим собой. Я сел и сказал Дюроку в спину:

— Я виноват.

— Санди, — сказал он, встрепенувшись и садясь рядом, — виноват-то ты виноват. Засыпая, ты бормо-

тал о разговоре в библиотеке. Это для меня очень важно, и я поэтому не сержусь. Но слушай: если так пойдет дальше, ты действительно будешь все знать. Рассказывай, что было с тобой.

Я хотел встать, но Дюрок толкнул меня в лоб ладонью, и я опять сел. Дикий сон клубился еще во мне. Он стягивал клещами суставы и выламывал скулы зевотой; и сладость, не утоленная сладость мякла во всех членах. Поспешно собрав мысли, а также закурив, что было моей утренней привычкой, я рассказал, припомнив, как мог точнее, разговор Галуэя с Дигэ. Ни о чем больше так не спрашивал и не переспрашивал меня Дюрок, как об этом разговоре.

— Ты должен благодарить счастливый случай, который привел тебя сюда, — заметил он наконец очень, по-видимому, озабоченный, — впрочем, я вижу, что тебе везет. Ты выспался?

Дюрок не расслышал моего ответа: задумавшись, он тревожно тер лоб; потом встал, снова начал ходить. Каминные часы указывали семь с половиной. Солнце резнуло накуренный воздух из-за гардины тонким лучом. Я сидел, осматриваясь. Великолепие этой комнаты, с зеркалами в рамах слоновой кости, мраморной облицовкой окон, резной, затейливой мебелью, цветной шелк, улыбки красоты в сияющих золотом и голубой далью картинах, ноги Дюрока, ступающие по мехам и коврам, — все это было чрезмерно для меня, оно утомляло. Лучше всего дышалось бы мне теперь жмурясь под солнцем на острый морской блеск. Все, на что я смотрел, восхищало, но было непривычно.

— Мы поедем, Санди, — сказал, перестав ходить, Дюрок, — потом... но что предисловие: хочешь отправиться в экспедицию?..

Думая, что он предлагает Африку или другое какое место, где приключения неистощимы, как уку-

сы комаров среди болот, я сказал со всей поспешностью:

— Да! Тысячу раз — да! Клянусь шкурой леопарда, я буду всюду, где вы.

Говоря это, я вскочил. Может быть, он угадал, что я думаю, так как устало рассмеялся.

— Не так далеко, как ты, может быть, хочешь, но — в «страну человеческого сердца». В страну, где темно.

— О, я не понимаю вас, — сказал я, не отрываясь от его сжатого, как тиски, рта, надменного и снисходительного, от серых резких глаз под суровым лбом. — Но мне, право, все равно, если это вам нужно.

— Очень нужно, — потому что мне кажется, — ты можешь пригодиться, и я уже вчера присматривался к тебе. Скажи мне, сколько времени надо плыть к Сигнальному Пустырю?

Он спрашивал о предместье Лисса, называвшемся так со старинных времен, когда города почти не было, а на каменных столбах мыса, окрещенного именем «Сигнальный Пустырь», горели ночью смоляные бочки, зажигавшиеся с разрешения колониальных отрядов, как знак, что суда могут войти в Сигнальную бухту. Ныне Сигнальный Пустырь был довольно населенное место со своей таможней, почтой и другими подобными учреждениями.

— Думаю, — сказал я, — что полчаса будет достаточно, если ветер хорош. Вы хотите ехать туда?

Он не ответил, вышел в соседнюю комнату и, провозясь там порядочно времени, вернулся, одетый как прибрежный житель, так что от его светского великолепия осталось одно лицо. На нем была кожаная куртка с двойными обшлагами, красный жилет с зелеными стеклянными пуговицами, узкая лакированная шляпа, напоминающая опрокинутый на сковороду котелок; вокруг шеи — клетчатый шарф, а на ногах — поверх коричневых, верблюжьего сукна брюк, — мяг-

кие сапоги с толстой подошвой. Люди в таких вот нарядах, как я видел много раз, держат за жилетную пуговицу какого-нибудь раскрашенного вином капитана, стоя под солнцем на набережной среди протянутых канатов и рядов бочек, и рассказывают ему, какие есть выгодные предложения от фирмы «Купи в долг» или «Застрахуй без нужды».

Пока я дивился на него, не смея, конечно, улыбнуться или отпустить замечание, Дюрок подошел к стене между окон и потянул висячий шнурок. Часть стены тотчас вывалилась полукругом, образовав полку с углублением за ней, где вспыхнул свет; за стеной стало жужжать, и я не успел толком сообразить, что произошло, как вровень с упавшей полкой поднялся из стены род стола, на котором были чашки, кофейник с горящей под ним спиртовой лампочкой, булки, масло, сухари и закуски из рыбы и мяса, приготовленные, должно быть, руками кухонного волшебного духа, — столько поджаристости, масла, шипенья и аромата я ощутил среди белых блюд, украшенных рисунком зеленоватых цветов. Сахарница напоминала серебряное пирожное. Ложки, щипцы для сахара, салфетки в эмалированных кольцах и покрытый золотым плетеньем из мельчайших виноградных листьев карминовый графин с коньяком — все явилось, как солнце из туч. Дюрок стал переносить посланное магическими существами на большой стол, говоря:

— Здесь можно обойтись без прислуги. Как видишь, наш хозяин устроился довольно затейливо, а в данном случае просто остроумно. Но поторопимся.

Видя, как он быстро и ловко ест, наливая себе и мне из трепещущего по скатерти розовыми зайчиками графина, я сбился в темпе, стал ежеминутно ронять то нож, то вилку; одно время стеснение едва не замучило меня, но аппетит превозмог, и я управился с едой очень быстро, применив ту уловку, что я будто бы тороплюсь больше Дюрока. Как только я

перестал обращать внимание на свои движения, дело пошло как нельзя лучше, я хватал, жевал, глотал, отбрасывал, запивал и остался очень доволен собой. Жуя, я не переставал обдумывать одну штуку, которую не решался сказать, но сказать очень хотел и, может быть, не сказал бы, но Дюрок заметил мой упорный взгляд.

— В чем дело? — сказал он рассеянно, далекий от меня, где-то в своих горных вершинах.

— Кто вы такой? — спросил я и про себя ахнул. «Сорвалось-таки! — подумал я с горечью. — Теперь держись, Санди!»

— Я?! — сказал Дюрок с величайшим изумлением, устремив на меня взгляд серый как сталь. Он расхохотался и, видя, что я оцепенел, прибавил: — Ничего, ничего! Однако я хочу посмотреть, как ты задашь такой же вопрос Эстампу. Я отвечу твоему простосердечию. Я — шахматный игрок.

О шахматах я имел смутное представление, но поневоле удовлетворился этим ответом, смешав в уме шашечную доску с игральными костями и картами. «Одним словом — игрок!» — подумал я, ничуть не разочаровавшись ответом, а, напротив, укрепив свое восхищение. Игрок — значит молодчинище, хват, рискованный человек. Но, будучи поощрен, я вознамерился спросить что-то еще, как портьера откинулась, и вошел Поп.

— Герои спят, — сказал он хрипло; был утомлен, с бледным, бессонным лицом и тотчас тревожно уставился на меня. — Вторые лица все на ногах. Сейчас придет Эстамп. Держу пари, что он отправится с вами. Ну, Санди, ты отколол штуку, и твое счастье, что тебя не заметили в тех местах. Ганувер мог тебя просто убить. Боже сохрани тебя болтать обо всем этом! Будь на нашей стороне, но молчи, раз уж попал в эту историю. Так что же было с тобой вчера?

Я опять рассказал о разговоре в библиотеке, о лифте, аквариуме и золотой цепи.

— Ну, вот видите! — сказал Поп Дюроку. — Человек с отчаяния способен на все. Как раз третьего дня он сказал при мне этой самой Дигэ: «Если все пойдет в том порядке, как идет сейчас, я буду вас просить сыграть самую эффектную роль». Ясно, о чем речь. Все глаза будут обращены на нее, и она своей автоматической, узкой рукой соединит ток.

— Так. Пусть соединит! — сказал Дюрок. — Хотя... да, я понимаю вас.

— Конечно! — горячо подхватил Поп. — Я действительно не видел такого человека, который так верил бы, был бы так убежден. Посмотрите на него, когда он один. Жутко станет. Санди, отправляйтесь к себе. Впрочем, вы опять запутаетесь.

— Оставьте его, — сказал Дюрок, — он будет нужен.

— Не много ли? — Поп стал водить глазами от меня к Дюроку и обратно. — Впрочем, как знаете.

— Что за советы без меня? — сказал, появляясь, сверкающий чистотой Эстамп. — Я тоже хочу. Куда это вы собрались, Дюрок?

— Надо попробовать. Я сделаю попытку, хотя не знаю, что из этого выйдет.

— А! Вылазка в трепещущие траншеи! Ну, когда мы появимся — два таких молодца, как вы да я, — держу сто против одиннадцати, что не устоит даже телеграфный столб! Что?! Уже ели? И выпили? А я еще нет? Как вижу, — капитан с вами и суетумдрствует. Здорово, капитан Санди! Ты, я слышал, закладывал всю ночь мины в этих стенах?!

Я фыркнул, так как не мог обидеться.

Эстамп присел к столу, хозяйничая и накладывая в рот, что попало, также облегчая графин. — Послушайте, Дюрок, я с вами!

— Я думал, вы останетесь пока с Ганувером, — сказал Дюрок. — Вдобавок при таком щекотливом деле...

— Да, вовремя вернуть слово!

— Нет. Мы можем смутить...

— И развеселить! За здоровье этой упрямой гусеницы!

— Я говорю серьезно, — настаивал Дюрок, — мне больше нравится мысль провести дело не так шумно.

— ...как я ем! — Эстамп поднял упавший нож.

— Судя по всему, что я знаю, — вставил Поп, — Эстамп очень вам пригодится.

— Конечно! — вскричал молодой человек, подмигивая мне. — Вот и Санди вам скажет, что я прав. Зачем мне вламываться в ваш деликатный разговор? Мы с Санди присядем где-нибудь в кусточках, мух будем ловить... ведь так, Санди?

— Если вы говорите серьезно, — ответил я, — я скажу вот что: раз дело опасное, всякий человек может быть только полезен.

— Что? Дюрок, слышите голос капитана? Как он это изрек!

— А почему вы думаете об опасности? — серьезно спросил Поп.

Теперь я ответил бы, что опасность была необходима для душевного моего спокойствия. «Пылающий мозг и холодная рука» — как поется в песне о Пелегрине. Я сказал бы еще, что от всех этих слов и недомолвок, приготовлений, переодеваний и золотых цепей веет опасностью точно так же, как от молока — скукой, от книги — молчанием, от птицы — полетом, но тогда все неясное было мне ясно без доказательств.

— Потому что такой разговор, — сказал я, — и клянусь гандшпугом, нечего спрашивать того, кто

меньше всех знает. Я спрашивать не буду. Я сделаю свое дело, сделаю все, что вы хотите.

— В таком случае вы переоденетесь, — сказал Дюрок Эстампу. — Идите ко мне в спальню, там есть кое-что. — И он увел его, а сам вернулся и стал говорить с Попом на языке, которого я не знал.

Не знаю, что будут они делать на Сигнальном Пустыре, я тем временем побывал там мысленно, как бывал много раз в детстве. Да, я там дрался с подростками и ненавидел их манеру тыкать в глаза растопыренной пятерней. Я презирал эти жестокие и бесчеловечные уловки, предпочитая верный, сильный удар в подбородок всем тонкостям хулиганского измышления. О Сигнальном Пустыре ходила поговорка: «На пустыре и днем — ночь». Там жили худые, жилистые бледные люди с бесцветными глазами и перекошенным ртом. У них были свои нравы, мировоззрения, свой странный патриотизм. Самые ловкие и опасные воры водились на Сигнальном Пустыре, там же процветали пьянство, контрабанда и шайки — целые товарищества взрослых парней, имевших каждое своего предводителя. Я знал одного матроса с Сигнального Пустыря — это был одутловатый человек с глазами в виде двух острых треугольников; он никогда не улыбался и не расставался с ножом. Установилось мнение, которое никто не пытался опровергнуть, что с этими людьми лучше не связываться. Матрос, о котором я говорю, относился презрительно и с ненавистью ко всему, что не было на Пустыре, и, если с ним спорили, неприятно бледнел, улыбаясь так жутко, что пропадала охота спорить. Он ходил всегда один, медленно, едва покачиваясь, руки в карманы, пристально оглядывая и провожая взглядом каждого, кто сам задерживал на его припухшем лице свой взгляд, как будто хотел остановить, чтобы слово за слово начать свару. Вечным припевом его было: «У нас там...», «Мы не так», «Что нам до этого», — и все

такое, отчего казалось, что он родился за тысячи миль от Лисса, в упрямой стране дураков, где, выпячивая грудь, ходят хвастуны с ножами за пазухой.

Немного погодя явился Эстамп, разряженный в синий китель и синие штаны кочегара, в потрепанной фуражке; он прямо подошел к зеркалу, оглядев себя с ног до головы.

Эти переодевания очень интересовали меня, однако смелости не хватило спросить, что будем мы делать: трое на Пустыре. Казалось, предстоят отчаянные дела. Как мог, я держался сурово, нахмуренно поглядывая вокруг с значительным видом. Наконец Поп объявил, что уже девять часов, а Дюрок — что надо идти, и мы вышли в светлую тишину пустынных, великолепных стен, прошли сквозь набегающие сияния перспектив, в которых терялся взгляд; потом вышли к винтовой лестнице. Иногда в большом зеркале я видел себя, то есть невысокого молодого человека, с гладко зачесанными назад темными волосами. По-видимому, мой наряд не требовал перемены, он был прост: куртка, простые новые башмаки и серое кепи.

Я заметил, когда пожил довольно, что наша память лучше всего усваивает прямое направление, например, улицу; однако представление о скромной квартире (если она не ваша), когда вы побыли в ней всего один раз, а затем пытаетесь припомнить расположение предметов и комнат, — есть наполовину собственные ваши упражнения в архитектуре и обстановке, так что, посетив снова то место, вы видите его иначе. Что же сказать о гигантском здании Ганувера, где я, разрываемый непривычкой и изумлением, метался как стрекоза среди огней ламп, — в сложных и роскошных пространствах? Естественно, что я смутно запомнил те части здания, где была нужда самостоятельно вникать в них, там же, где я шел за другими, я запомнил лишь, что была путаница лестниц и стен.

Когда мы спустились по последним ступеням, Дюрок взял от Попа длинный ключ и вставил его в замок узорной железной двери; она открылась на полутемный канал с каменным сводом. У площадки, среди других лодок, стоял парусный бот, и мы влезли в него. Дюрок торопился; я, правильно заключив, что предстоит спешное дело, сразу взял весла и развязал парус. Поп передал мне револьвер; спрятав его, я раздужился от гордости, как гриб после дождя. Затем мои начальники махнули друг другу руками. Поп ушел, и мы вышли на веслах в тесноте сырых стен на чистую воду, пройдя под конец каменную арку, заросшую кустами. Я поднял парус. Когда бот отошел от берега, я догадался, отчего выплыли мы из этой крысиной гавани, а не от пристани против дворца: здесь нас никто не мог видеть.

VIII

В это жаркое утро воздух был прозрачен, поэтому против нас ясно виднелась линия строений Сигнального Пустыря. Бот взял с небольшим ветром приличный ход. Эстамп правил на точку, которую ему указал Дюрок! затем все мы закурили, и Дюрок сказал мне, чтобы я крепко молчал не только обо всем том, что может произойти в Пустыре, но чтобы молчал даже и о самой поездке.

— Выворачивайся как знаешь, если кто-нибудь пристанет с расспросами, но лучше всего скажи, что был отдельно, гулял, а про нас ничего не знаешь.

— Солгу, будьте спокойны, — ответил я, — и вообще положитесь на меня окончательно. Я вас не подведу.

К моему удивлению, Эстамп меня более не дразнил. Он с самым спокойным видом взял спички, которые

я ему вернул, даже не подмигнул, как делал при всяком удобном случае; вообще он был так серьезен, как только возможно для его характера. Однако ему скоро надоело молчать, и он стал скороговоркой читать стихи, но, заметив, что никто не смеется, вздохнул, о чем-то задумался. В то время Дюрок спрашивал меня о Сигнальном Пустыре.

Как я скоро понял, его интересовало знать, чем занимаются жители Пустыря и верно ли, что об этом месте отзываются неодобрительно.

— Отъявленные головорезы, — с жаром сказал я, — мошенники, не приведи бог! Опасное население, что и говорить. — Если я сократил эту характеристику в сторону устрашительности, то она была все же на три четверти правдой, так как в тюрьмах Лисса восемьдесят процентов арестантов родились на Пустыре. Большинство гулящих девок являлось в кабаки и кофейные оттуда же. Вообще, как я уже говорил, Сигнальный Пустырь был территорией жестоких традиций и странной ревности, в силу которой всякий нежитель Пустыря являлся подразумеваемым и естественным врагом. Как это произошло и откуда повело начало, трудно сказать, но ненависть к городу, горожанам в сердцах жителей Пустыря пустила столь глубокие корни, что редко кто, переехав из города в Сигнальный Пустырь, мог там ужиться. Я там три раза дрался с местной молодежью без всяких причин только потому, что я был из города и парни «задирали» меня.

Все это с небольшим умением и без особой грации я изложил Дюроку, недоумевая, какое значение могут иметь для него сведения о совершенно другом мире, чем тот, в котором он жил.

Наконец он остановил меня, начав говорить с Эстампом. Было бесполезно прислушиваться, так как я понимал слова, но не мог осветить их никаким достоверным смыслом. «Запутанное положение», —

сказал Эстамп. — «Которое мы распутаем», — возразил Дюрок. — «На что вы надеетесь?» — «На то же, на что надеялся он». — «Но там могут быть причины серьезнее, чем вы думаете». — «Все узнаем!» — «Однако, Дигэ...» — Я не расслышал конца фразы. — «Эх, молоды же вы!» — «Нет, правда, — настаивал на чем-то Эстамп, — правда то, что нельзя подумать». — «Я судил не по ней, — сказал Дюрок, — я, может быть, ошибся бы сам, но психический аромат Томсона и Галуэя довольно ясен».

В таком роде размышлений вслух о чем-то хорошо им известном разговор этот продолжался до берега Сигнального Пустыря. Однако я не разыскал в разговоре никаких объяснений происходящего. Пока что об этом некогда было думать теперь, так как мы приехали и вышли, оставив Эстампа стеречь лодку. Я не заметил у него большой охоты к бездействию. Они условились так: Дюрок должен прислать меня, как только выяснится дальнейшее положение неизвестного дела, с запиской, прочтя которую Эстамп будет знать, оставаться ли ему сидеть в лодке или присоединиться к нам.

— Однако почему вы берете не меня, а этого мальчика? — сухо спросил Эстамп. — Я говорю серьезно. Может произойти сдвиг в сторону рукопашной, и вы должны признать, что на весах действия я кое-что значу.

— По многим соображениям, — ответил Дюрок. — В силу этих соображений, пока что я должен иметь послушного живого подручного, но не равноправного, как вы.

— Может быть, — сказал Эстамп. — Санди, будь послушен. Будь жив. Смотри у меня!

Я понял, что он в досаде, но пренебрег, так как сам чувствовал бы себя тускло на его месте.

— Ну, идем, — сказал мне Дюрок, и мы пошли, но должны были на минуту остановиться.

Берег в этом месте представлял каменистый спуск, с домами и зеленью наверху. У воды стояли опрокинутые лодки, сушились сети. Здесь же бродило несколько человек, босиком, в соломенных шляпах. Стоило взглянуть на их бледные заросшие лица, чтобы немедленно замкнуться в себе. Оставив свои занятия, они стали на некотором от нас расстоянии, наблюдая, что мы такое и что делаем, и тихо говоря между собой. Их пустые, прищуренные глаза выражали явную неприязнь.

Эстамп, отплыв немного, стал на якорь и смотрел на нас, свесив руки между колен. От группы людей на берегу отделился долговязый человек с узким лицом; он, помахав рукой, крикнул:

— Откуда, приятель?

Дюрок миролюбиво улыбнулся, продолжая молча идти, рядом с ним шагал я. Вдруг другой парень, с придурковатым, наглым лицом, стремительно побежал на нас, но, не добежав шагов пяти, замер как вкопанный, хладнокровно сплюнул и поскакал обратно на одной ноге, держа другую за пятку.

Тогда мы остановились. Дюрок повернул к группе оборванцев и, положив руки в карманы, стал молча смотреть. Казалось, его взгляд разогнал сборище. Поохотав между собой, люди эти вернулись к своим сетям и лодкам, делая вид, что более нас не замечают. Мы поднялись и вошли в пустую узкую улицу.

Она тянулась меж садов и одноэтажных домов из желтого и белого камня, нагретого солнцем. Бродили петухи, куры с дворов, из-за низких песчаниковых оград слышались голоса — смех, брань, надоедливый, протяжный зов. Лаяли собаки, петухи пели. Наконец стали попадаться прохожие: крючковатая старуха, подростки, пьяный человек, шедший, опустив голову, женщины с корзинами, мужчины на подводах. Встречные взглядывали на нас слегка расширенными глазами, проходя мимо, как всякие другие прохожие,

но, миновав некоторое расстояние, останавливались; обернувшись, я видел их неподвижные фигуры, смотрящие вслед нам сосредоточенно и угрюмо. Свернув в несколько переулков, где иногда переходили по мостикам над оврагами, мы остановились у тяжелой калитки. Дом был внутри двора; спереди же, на каменной ограде, через которую я мог заглянуть внутрь, висели тряпки и циновки, сушившиеся под солнцем.

— Вот здесь, — сказал Дюрок, смотря на черепичную крышу, — это тот дом. Я узнал его по большому дереву во дворе, как мне рассказывали.

— Очень хорошо, — сказал я, не видя причины говорить что-нибудь другое.

— Ну, идем, — сказал Дюрок, — и я ступил следом за ним во двор.

В качестве войска я держался на некотором расстоянии от Дюрока, а он прошел к середине двора и остановился, оглядываясь. На камне у одного порога сидел человек, чиня бочонок; женщина развешивала белье. У помойной ямы тужился, кряхтя, мальчик лет шести, — увидев нас, он встал и мрачно натянул штаны.

Но лишь мы явились, любопытство обнаружилось моментально. В окнах показались забавные головы; женщины, раскрыв рот, выскочили на порог и стали смотреть так настойчиво, как смотрят на почтальона.

Дюрок, осмотревшись, направился к одноэтажному флигелю в глубине двора. Мы вошли под тень навеса, к трем окнам с белыми занавесками. Огромная рука приподняла занавеску, и я увидел толстый, как у быка, глаз, расширивший сонные веки свои при виде двух чужих.

— Сюда, приятель? — сказал глаз. — Ко мне, что ли?

— Вы — Варрен? — спросил Дюрок.

— Я — Варрен; что хотите?

— Ничего особенного, — сказал Дюрок самым спокойным голосом. — Если здесь живет девушка, которую зовут Молли Варрен, и если она дома, я хочу ее видеть.

Так и есть! Так я и знал, что дело идет о женщине, — пусть она девушка, все едино! Ну, скажите, отчего это у меня было совершенно непоколебимое предчувствие, что как только уедем, явится женщина? Недаром слова Эстампа «упрямая гусеница» заставили меня что-то подозревать в этом роде. Только теперь я понял, что угадал то, чего ждал.

Глаз сверкнул, изумился и потеснился дать место второму глазу, оба глаза не предвещали, судя по выражению их, радостной встречи. Рука отпустила занавеску, кивнув пальцем.

— Зайдите-ка, — сказал этот человек сдавленным ненатуральным голосом, тем более неприятным, что он был адски спокоен. — Зайдите, приятели!

Мы прошли в небольшой коридор и стукнули в дверь налево.

— Войдите, — повторил нежно тот же спокойный голос, и мы очутились в комнате. Между окном и столом стоял человек в нижней рубашке и полосатых брюках, — человек так себе, среднего роста, не слабый, по-видимому с темными гладкими волосами, толстой шеей и перебитым носом, конец которого торчал как сучок. Ему было лет тридцать. Он заводил карманные часы, а теперь приложил их к уху.

— Молли? — сказал он.

Дюрок повторил, что хочет видеть Молли.

Варрен вышел из-за стола и стал смотреть в упор на Дюрока.

— Бросьте вашу мысль, — сказал он. — Оставьте вашу затею. Она вам не пройдет даром.

— Затей у меня нет никаких, но есть только поручение для вашей сестры.

Дюрок говорил очень вежливо и был совершенно спокоен. Я рассматривал Варрена. Его сестра представилась мне похожей на него, и я стал угрюм.

— Что это за поручение? — сказал Варрен, снова беря часы и бесцельно прикладывая их к уху. — Я должен посмотреть, в чем дело.

— Не проще ли, — возразил Дюрок, — пригласить девушку?

— А в таком случае не проще ли вам выйти вон и прихлопнуть дверь за собой! — проговорил Варрен, начиная тяжело дышать. В то же время он подступил ближе к Дюроку, бегая взглядом по его фигуре. — Что это за маскарад? Вы думаете, я не различу кочегара или матроса от спесивого идиота, как вы? Зачем вы пришли? Что вам надо от Молли?

Видя, как страшно побледнел Дюрок, я подумал, что тут и конец всей истории и наступит время палить из револьвера, а потому приготовился. Но Дюрок только вздохнул. На один момент его лицо осунулось от усилия, которое сделал он над собой, и я услышал тот же ровный, глубокий голос:

— Я мог бы ответить вам на все или почти на все ваши вопросы, но теперь не скажу ничего. Я вас спрашиваю только: дома Молли Варрен?

Он сказал последние слова так громко, что они были бы слышны через полураскрытую в следующую комнату дверь, — если бы там был кто-нибудь. На лбу Варрена появился рисунок жил.

— Можете не говорить! — закричал он. — Вы подсланы, и я знаю кем — этим выскочкой, миллионером из ямы! Однако проваливайте! Молли нет. Она уехала. Попробуйте только производить розыски, и, клянусь черепом дьявола, мы вам переломаем все кости.

Потрясая рукой, он вытянул ее свирепым движением. Дюрок быстро взял руку Варрена выше кисти, нагнул вниз, и... и я неожиданно увидел, что хозяин

квартиры с яростью и мучением в лице брякнулся на одно колено, хватаясь другой рукой за руку Дюрока. Дюрок взял эту другую руку Варрена и потрянул его — вниз, а потом — назад. Варрен упал на локоть, сморщившись, закрыв глаза и прикрывая лицо.

Дюрок потер ладонь о ладонь, затем взглянул на продолжавшего лежать Варрена.

— Это было необходимо, — сказал он, — в другой раз вы будете осторожнее. Санди, идем!

Я выбежал за ним с обожанием, с восторгом зрителя, получившего высокое наслаждение. Много я слышал о силачах, но первый раз видел сильного человека, казавшегося не сильным, — не таким сильным. Я весь горел, ликовал, ног под собой не слышал от возбуждения. Если таково начало нашего похода, то что же предстоит впереди?

— Боюсь, не сломал ли я ему руку, — сказал Дюрок, когда мы вышли на улицу.

— Она срастется! — вскричал я, не желая портить впечатления никакими соображениями. — Мы ищем Молли?

Момент был таков, что сблизил нас общим возбуждением, и я чувствовал, что имею теперь право кое-что знать. То же, должно быть, признавал и Дюрок, потому что просто сказал мне как равному:

— Происходит запутанное дело: Молли и Ганувер давно знают друг друга, он очень ее любит, но с ней что-то произошло. По крайней мере на завтрашнем празднике она должна была быть, однако от нее нет ни слуха ни духа уже два месяца, а перед тем она написала, что отказывается быть женой Ганувера и уезжает. Она ничего не объяснила при этом.

Он так законченно выразился, что я понял его нежелание приводить подробности. Но его слова вдруг согрели меня внутри и переполнили благодарностью.

— Я вам очень благодарен, — сказал я как можно тише.

Он повернулся и рассмеялся:

— За что? О, какой ты дурачок, Санди! Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — сказал я, — но скоро будет уже семнадцать.

— Сразу видно, что ты настоящий мужчина, — заметил он, и, как ни груба была лесть, я крикнул, ошарашенный свыше меры. Теперь Дюрок мог, не опасаясь непослушания, приказать мне обойти на четвереньках вокруг залива.

Едва мы подошли к углу, как Дюрок посмотрел назад и остановился. Я стал тоже смотреть. Скоро из ворот вышел Варрен. Мы спрятались за углом, так что он нас не видел, а сам был виден нам через ограду, сквозь ветви. Варрен посмотрел в обе стороны и быстро направился через мостик поперек оврага к поднимающемуся на той стороне переулку.

Едва он скрылся, как из этих же ворот выбежала босоногая девушка с завязанной платком щекой и спешно направилась в нашу сторону. Ее хитрое лицо отражало разочарование, но, добравшись до угла и увидев нас, она застыла на месте, раскрыв рот, потом метнула искоса взглядом, прошла лениво вперед и тотчас вернулась.

— Вы ищете Молли? — сказала она таинственно.

— Вы угадали, — ответил Дюрок, и я тотчас сообщил, что нам подвернулся шанс.

— Я не угадала, я слышала, — сказала эта скуластая барышня (уже я был готов взречь от тоски, что она скажет: «Это — я, к вашим услугам»), двигая перед собой руками, как будто ловила паутину, — так вот, что я вам скажу: ее здесь действительно нет, а она теперь в бордингаузе, у своей сестры. Идите, — девица махнула рукой, — туда по берегу. Всего вам одну милю пройти. Вы увидите синюю крышу и флаг на мачте.

Варрен только что убежал и уж наверно готовит пакость, поэтому торопитесь.

— Благодарю, добрая душа, — сказал Дюрок. — Еще, значит, не все против нас.

— Я не против, — возразила особа, — а даже наоборот. Они девушкой вертят, как хотят; очень жаль девочку, потому что, если не вступиться, ее слопают.

— Слопают? — спросил Дюрок.

— А вы не знаете Лемарена? — вопрос прозвучал громовым упреком.

— Нет, не знаем.

— Ну, тогда долго рассказывать. Она сама расскажет. Я уйду, если меня увидят с вами...

Девушка всколыхнулась и исчезла за угол, а мы, немедленно следуя ее указанию, и так скоро, как только позволяло дыхание, кинулись на ближайший спуск к берегу, где, как увидели, нам предстоит обогнуть небольшой мыс — в правой стороне от Сигнального Пустыря.

Могли бы мы, конечно, расспросив о дороге, направиться ближайшим путем, по твердой земле, а не по скользкому гравиям, но, как правильно указал Дюрок, в данном положении было невыгодно, чтобы нас видели на дорогах.

Справа по обрыву стоял лес, слева блестело утреннее красивое море, а ветер дул на счастье в затылок. Я был рад, что иду берегом. На гравии бежали, шумя, полосы зеленой воды, отливаясь затем назад шепчущей о тишине пеной. Обогнув мыс, мы увидели вдали, на изгибе лиловых холмов берега, синюю крышу с узким дымком флага, и только тут я вспомнил, что Эстамп ждет известий. То же самое, должно быть, думал Дюрок, так как сказал:

— Эстамп потерпит: то, что впереди нас, — важнее его. — Однако, как вы увидите впоследствии, с Эстампом вышло иначе.

IX

За мысом ветер стих, и я услышал слабо долетающую игру на рояле, — беглый мотив. Он был ясен и незатейлив, как полевой ветер. Дюрок внезапно остановился, затем пошел тише, с закрытыми глазами, опустив голову. Я подумал, что у него сделались в глазах темные круги от слепого блеска белой гальки; он медленно улыбнулся, не открывая глаз, потом остановился вторично с немного приподнятой рукой. Я не знал, что он думает. Его глаза внезапно открылись, он увидел меня, но продолжал смотреть очень рассеянно, как бы издалека; наконец, заметив, что я удивлен, Дюрок повернулся и, ничего не сказав, направился далее.

Обливаясь потом, достигли мы тени здания. Со стороны моря фасад был обведен двухэтажной террасой с парусиновыми навесами; узкая густая стена с слуховым окном была обращена к нам, а входы были, надо полагать, со стороны леса. Теперь нам предстояло узнать, что это за бордингауз и кто там живет.

Музыкант кончил играть свой кроткий мотив и начал переливать звуки от заостренной трели к глухому бормотанию басом, потом обратно, все очень быстро. Наконец он несколько раз кряду крепко ударил в прелестную тишину морского утра однотонным аккордом и как бы исчез.

— Замечательное дело! — слышался с верхней террасы хриплый, обеспокоенный голос. — Я оставил водки в бутылке выше ярлыка на палец, а теперь она ниже ярлыка. Это вы выпили, Бильль?

— Стану я пить чужую водку, — мрачно и благородно ответил Бильль. — Я только подумал, не укусли это, так как страдаю мигренью, и смочил немного платок.

— Лучше бы вы не страдали мигренью, — а научились...

Затем, так как мы уже поднялись по тропинке к задней стороне дома, спор слышался неясным единоборством голосов, а перед нами открылся вход с лестницей. Ближе к углу была вторая дверь.

Среди редких, очень высоких и тенистых деревьев, росших здесь вокруг дома, переходя далее в густой лес, мы не были сразу замечены единственным человеком, которого тут увидели. Это была девушка или девочка? — я не смог бы сказать сразу, но склонялся к тому, что девочка. Она ходила босиком по траве, склонив голову и заложив руки назад, взад и вперед с таким видом, как ходят из угла в угол по комнате. Под деревом был на вкопанном столбе круглый стол, покрытый скатертью, на нем лежали разграфленная бумага, карандаш, утюг, молоток и горка орехов. На девушке не было ничего, кроме коричневой юбки и легкого белого платка с синей каймой, накинутого поверх плеч. В ее очень густых кое-как замотанных волосах торчали длинные шпильки.

Походив, она нехотя уселась к столу, записала что-то в разграфленную бумагу, затем сунула утюг между колен и стала разбивать на нем молотком орехи.

— Здравствуйте, — сказал Дюрок, подходя к ней. — Мне указали, что здесь живет Молли Варрен!

Она повернулась так живо, что все ореховое производство свалилось в траву; выпрямилась, встала и, несколько побледнев, оторопело приподняла руку. По ее очень выразительному, тонкому, слегка сумрачному лицу прошло несколько беглых, странных движений. Тотчас она подошла к нам, не быстро, но словно подлетела с дуновением ветра.

— Молли Варрен! — сказала девушка, будто что-то обдумывая, и вдруг убийственно покраснела. — Пожалуйте, пройдите за мной, я ей скажу.

Она понеслась, щелкая пальцами, а мы, следуя за ней, прошли в небольшую комнату, где было тесно от сундуков и плохой, но чистой мебели. Девочка исчезла, не обратив больше на нас никакого внимания, в другую дверь и с треском захлопнула ее. Мы стояли, сложив руки, с естественным напряжением. За скрывшей эту особу дверью послышалось падение стула или похожего на стул, звон, какой слышен при битье посуды, яростное «черт побери эти крючки», и, после некоторого резкого гроыхания, внезапно вошла очень стройная девушка, с встревоженным улыбающимся лицом, обильной прической и блистающими заботой, нетерпеливыми, ясными черными глазами, одетая в тонкое шелковое платье прекрасного сиреневого оттенка, туфли и бледно-зеленые чулки. Это была все та же босая девочка с утюгом, но я должен был теперь признать, что она девушка.

— Молли — это я, — сказала она недоверчиво, но неудержимо улыбаясь, — скажите все сразу, потому что я очень волнуюсь, хотя по моему лицу этого никогда не заметят.

Я смутился, так как в таком виде она мне очень понравилась.

— Так вы догадались, — сказал Дюрок, садясь, как сели мы все. — Я — Джон Дюрок, могу считать себя действительным другом человека, которого назовем сразу: Ганувер. Со мной мальчик... то есть просто один хороший Санди, которому я доверяю.

Она молчала, смотря прямо в глаза Дюрока и беспокойно двигаясь. Ее лицо дергалось. Подождав, Дюрок продолжал:

— Ваш роман, Молли, должен иметь хороший конец. Но происходят тяжелые и непонятные вещи. Я знаю о золотой цепи...

— Лучше бы ее не было, — вскричала Молли. — Вот уж, именно, тяжесть; я уверена, что от нее — все!

— Санди, — сказал Дюрок, — сходи взглянуть, не плывет ли лодка Эстампа.

Я встал, задев ногой стул, с тяжелым сердцем, так как слова Дюрока намекали очень ясно, что я мешаю. Выходя, я столкнулся с молодой женщиной встревоженного вида, которая, едва взглянув на меня, уставилась на Дюрока. Уходя, я слышал, как Молли сказала: «Моя сестра Арколь».

Итак, я вышел на середине недопетой песни, начавшей действовать обаятельно, как все, связанное с тоской и любовью, да еще в лице такой прелестной стрелы, как та девушка, Молли. Мне стало жалко себя, лишённого участия в этой истории, где я был у всех под рукой, как перочинный ножик — его сложили и спрятали. И я, имея оправдание, что не преследовал никаких дурных целей, степенно обошел дом, увидел со стороны моря раскрытое окно, признал узор занавески и сел под ним спиной к стене, слыша почти все, что говорилось в комнате.

Разумеется, я пропустил много, пока шел, но был вознагражден тем, что услышал дальше. Говорила, очень нервно и горячо, Молли:

— Да, как он приехал? Но что за свидания?! Всего-то и виделись мы семь раз, фф-у-у! Надо было привезти меня немедленно к себе. Что за отсрочки?! Из-за этого меня проследили и окончательно все стало известно. Знаете, эти мысли, то есть критика, приходит, когда задумаешься обо всем. Теперь еще у него живет красавица, — ну и пусть живет и не смей меня звать!

Дюрок засмеялся, но невесело.

— Он сильно пьет, Молли, — сказал Дюрок, — и пьет потому, что получил ваше окончательное письмо. Должно быть, оно не оставляло ему надежды. Красавица, о которой вы говорите, — гостья. Она, как мы думаем, просто скучающая молодая женщина. Она приехала из Индии с братом и приятелем бра-

та; один — журналист, другой, кажется, археолог. Вы знаете, что представляет дворец Ганувера. О нем пошел далеко слух, и эти люди явились взглянуть на чудо архитектуры. Но он оставил их жить, так как не может быть один — совсем один. Молли, сегодня... в двенадцать часов... вы дали слово три месяца назад...

— Да, и я его забрала обратно.

— Слушайте, — сказала Арколь, — я сама часто не знаю, чему верить. Наши братцы работают ради этого подлеца Лемарена. Вообще мы в семье распались. Я жила долго в Риоле, где у меня было другое общество, да, получше компании Лемарена. Что же, служила и все такое, была еще помощницей садовника. Я ушла, навсегда ушла душой от Пустыря. Этого не вернешь. А Молли — Молли, бог тебя знает, Молли, как ты выросла на дороге и не затоптали тебя! Ну, я поберегла, как могла, девочку... Братцы работают, — два брата; который хуже, трудно сказать. Уж, наверно, не одно письмо было скрадено. И они вбили девушке в голову, что Ганувер с ней... не так чтобы очень хорошо. Что у него есть любовницы, что его видели там и там в распутных местах. Надо знать мрачность, в которую она впадает, когда слышит такие вещи!

— Лемарен? — сказал Дюрок. — Молли, кто такой Лемарен?

— Негодяй! Я ненавижу его!

— Верьте мне, хоть стыдно в этом признаться, — продолжала Арколь, — что у Лемарена общие дела с нашими братцами. Лемарен — хулиган, гроза Пустыря. Ему приглянулась моя сестра, и он с ума сходит, больше от самолюбия и жадности. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Все сложилось скверно, как нельзя хуже. Вот наша семья: отец в тюрьме за хорошие дела, один брат тоже в тюрьме, а другой ждет, когда его посадят. Ганувер четыре года назад оставил деньги, — я

знала только, кроме нее, у кого они; это ведь ее доля, которую она согласилась взять, — но, чтобы хоть как-нибудь пользоваться ими, приходилось все время выдумывать предлоги — поездки в Риоль, — то к тетке, то к моим подругам и так далее. На глазах нельзя было нам обнаружить ничего: заколотят и отберут. Теперь: Ганувер приехал и его видели с Молли, стали за ней следить, перехватили письмо. Она вспыльчива. На одно слово, что ей было сказано тогда, она ответила, как это она умест: «Люблю, да, и подите к черту!» Вот тут перед ними и мелькнула нажива. Брат сдуру открыл мне свои намерения, надеясь меня привлечь: отдать девушку Лемарену, чтобы он запугал ее, подчинил себе, а потом — Гануверу, и тянуть деньги, много денег, как от рабыни. Жена должна была обирать мужа ради любовника. Я все рассказала Молли. Ее согнуть нелегко, но добыча была заманчива. Лемарен прямо объявил, что убьет Ганувера в случае брака. Тут началась грязь — сплетни, и угрозы, и издевательства, и упреки, и я должна была с боем взять Молли к себе, когда получила место в этом бордингаузе, место смотрительницы. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Одним словом — кумир дур. Приятели его подражают ему в манерах и одежде. Общие дела с братцами. Плохие эти дела! Мы даже не знаем точно, какие дела... только если Лемарен сядет в тюрьму, то и семейство наше уменьшится на оставшегося братца. Молли, не плачь! Мне так стыдно, так тяжело говорить вам все это! Дай мне платок. Пустяки, не обращайтесь внимания. Это сейчас пройдет.

— Но это очень грустно, — все, что вы говорите, — сказал Дюрок. — Однако я без вас не вернусь, Молли, потому, что за этим я и приехал. Медленно, очень медленно, но верно Ганувер умирает. Он окружил свой конец пьяным туманом, ночной жизнью. Заметьте, что неуверенными, уже дрожащими шагами дошел он к сегодняшнему дню, как и назначил —

дню торжества. И он все сделал для вас, как было то в ваших мечтах, на берегу. Все это я знаю и очень всем расстроен, потому что люблю этого человека.

— А я — я не люблю его?! — пылко сказала девушка. — Скажите «Ганувер» и приложите руку мне к сердцу! Там — любовь! Одна любовь! Приложите! Ну — слышите? Там говорит — «да», всегда «да»! Но я говорю «нет»!

При мысли, что Дюрок прикладывает руку к ее груди, у меня самого сильно забилося сердце. Вся история, отдельные черты которой постепенно я узнавал, как бы складывалась на моих глазах из утреннего блеска и ночных тревог, без конца и начала, одной смутной сценой. Впоследствии я узнал женщин и уразумел, что девушка семнадцати лет так же хорошо разбирается в обстоятельствах, поступках людей, как лошадь в арифметике. Теперь же я думал, что если она так сильно противится и огорчена, то, вероятно, права.

Дюрок сказал что-то, чего я не разобрал. Но слова Молли все были ясно слышны, как будто она выбрасывала их в окно и они падали рядом со мной.

— ...вот как все сложилось несчастно. Я его, как он уехал, два года не любила, а только вспоминала очень тепло. Потом я опять начала любить, когда получила письмо, потом много писем. Какие же это были хорошие письма! Затем — подарок, который надо, знаете, хранить так, чтобы не увидели, — такие жемчужины...

Я встал, надеясь заглянуть внутрь и увидеть, что она там показывает, как был поражен неожиданным шествием ко мне Эстампа. Он брел от берегов выступа, разгоряченный, утирая платком пот, и, увидев меня, еще издали покачал головой, внутренне осев; я подошел к нему, не очень довольный, так как потерял, — о, сколько я потерял и волнующих слов и по-

дарков! — прекратилось мое невидимое участие в истории Молли.

— Вы подлецы! — сказал Эстамп. — Вы меня оставили удить рыбу. Где Дюрок?

— Как вы нашли нас? — спросил я.

— Не твое дело. Где Дюрок?

— Он — там! — Я проглотил обиду, так я был обезоружен его гневным лицом. — Там они, трое: он, Молли и ее сестра.

— Веди!

— Послушайте, — возразил я скрепя сердце, — можете вызвать меня на дуэль, если мои слова будут вам обидны, но, знаете, сейчас там самый разгар. Молли плачет, и Дюрок ее уговаривает.

— Так, — сказал он, смотря на меня с протупающей понемногу улыбкой. — Уже подслушал! Ты думаешь, я не вижу, что ямы твоих сапогов идут прямехонько от окна? Эх, Санди, капитан Санди, тебя нужно бы прозвать не «Я все знаю», а «Я все слышу!».

Сознавая, что он прав, я мог только покраснеть.

— Не понимаю, как это случилось, — продолжал Эстамп, — что за одни сутки мы так прочно очутились в твоих лапах?! Ну, ну, я пошутил. Веди, капитан! А что эта Молли — хорошенькая?

— Она... — сказал я. — Сами увидите.

— То-то! Ганувер не дурак.

Я пошел к заветной двери, а Эстамп постучал. Дверь открыла Арколь.

Молли вскочила, поспешно вытирая глаза. Дюрок встал.

— Как? — сказал он. — Вы здесь?

— Это свинство с вашей стороны, — начал Эстамп, кланяясь дамам и лишь мельком взглянув на Молли, но тотчас улыбнулся, с ямочками на щеках, и стал говорить очень серьезно и любезно, как настоящий человек. Он назвал себя, выразил сожа-

ление, что помешал разговаривать, и объяснил, как нашел нас.

— Те же дикари, — сказал он, — которые пугали вас на берегу, за пару золотых монет весьма охотно продали мне нужные сведения. Естественно, я был обозлен, соскучился и вступил с ними в разговор: здесь, по-видимому, все знают друг друга или кое-что знают, а потому ваш адрес, Молли, был мне сообщен самым толковым образом. Я вас прошу не беспокоиться, — прибавил Эстамп, видя, что девушка вспыхнула, — я сделал это как тонкий дипломат. Двинулось ли наше дело, Дюрок?

Дюрок был очень взволнован. Молли вся дрожала от возбуждения, ее сестра улыбалась насильно, стараясь искусственно спокойным выражением лица внести тень мира в пылкий перелет слов, затронувших, по-видимому, все самое важное в жизни Молли.

Дюрок сказал:

— Я говорю ей, Эстамп, что, если любовь велика, все должно умолкнуть, все другие соображения. Пусть другие судят о наших поступках как хотят, если есть это вечное оправдание. Ни разница положений, ни состояние не должны стоять на пути и мешать. Надо верить тому, кого любишь, — сказал он, — нет высшего доказательства любви. Человек часто не замечает, как своими поступками он производит невыгодное для себя впечатление, не желая в то же время сделать ничего дурного. Что касается вас, Молли, то вы находитесь под вредным и сильным внушением людей, которым не поверили бы ни в чем другом. Они сумели повернуть так, что простое дело соединения вашего с Ганувером стало делом сложным, мутным, обильным неприятными последствиями. Разве Лемарен не говорил, что убьет его? Вы сами это сказали. Находясь в кругу мрачных впечатлений, вы приняли кошмар за действительность. Много помогло здесь и то, что все пошло от золотой цепи. Вы

увидели в этом начало рока и боитесь конца, рисуящегося вам в подавленном состоянии вашем, как ужасная неизвестность. На вашу любовь легла грязная рука, и вы боитесь, что эта грязь окрасит собой все. Вы очень молоды, Молли, а человеку молодому, как вы, довольно иногда созданного им самим призрака, чтобы решить дело в любую сторону, а затем — легче умереть, чем признаться в ошибке.

Девушка начала слушать его с бледным лицом, затем раскраснелась и просидела так, вся красная, до конца.

— Не знаю, за что он любит меня, — сказала она. — О, говорите, говорите еще! Вы так хорошо говорите! Меня надо помять, умягчить, тогда все пройдет. Я уже не боюсь. Я верю вам! Но говорите, пожалуйста!

Тогда Дюрок стал передавать силу своей души этой запуганной, стремительной, самолюбивой и угнетенной девушке.

Я слушал — и каждое его слово запоминал навсегда, но не буду приводить всего, иначе на склоне лет опять ярко припомню этот час и, наверно, разыграется мигрень.

— Если даже вы принесете ему несчастье, как уверены в том, — не бойтесь ничего, даже несчастья, потому что это будет общее ваше горе, и это горе — любовь.

— Он прав, Молли, — сказал Эстамп, — тысячу раз прав. Дюрок — золотое сердце!

— Молли, не упрямясь больше, — сказала Арколь, — тебя ждет счастье!

Молли как бы очнулась. В ее глазах заиграл свет, она встала, потерла лоб, заплакала, пальцами прикрывая лицо, но скоро махнула рукой и стала смеяться.

— Вот мне и легче, — сказала она, сморкаясь. — О, что это?! Ф-фу-у-у, точно солнце взошло! Что же

это было за наваждение? Мрак какой! Я и не понимаю теперь. Едем скорей! Арколь, ты меня пойми! Я ничего не понимала, и вдруг — ясное зрение.

— Хорошо, хорошо, не волнуйся, — ответила сестра. — Ты будешь собираться?

— Немедленно соберусь! — Она осмотрелась, бросилась к сундуку и стала вынимать из него куски разных материй, кружева, чулки и завязанные пакеты; не прошло и минуты, как вокруг нее валялась гора вещей. — Еще и не сшила ничего! — сказала она горестно. — В чем я поеду?

Эстамп стал уверять, что ее платье ей к лицу и что так хорошо. Не очень довольная, она хмуро прошла мимо нас, что-то ища, но когда ей поднесли зеркало, развеселилась и примирилась. В это время Арколь спокойно свертывала и укладывала все, что было разбросано. Молли, задумчиво посмотрев на нее, сама подобрала вещи и обняла молча сестру.

Х

— Я знаю... — сказал голос за окном; шаги нескольких людей, удаляясь, огибали угол.

— Только бы не они, — сказала, вдруг побледнев и бросаясь к дверям, Арколь. Молли, закусив губы, смотрела на нее и на нас. Взгляд Эстампа Дюроку вызвал ответ последнего: «Это ничего, нас трое». Едва он сказал, по двери ударили кулаком, — я, бывший к ней ближе других, открыл и увидел молодого человека небольшого роста, в щегольском летнем костюме. Он был коренаст, с бледным, плоским, даже тощим лицом, но выражение нелепого превосходства в тонких губах под черными усиками и в резких черных глазах было необыкновенно крикливым. За ним шли Варрен и третий человек — толстый, в грязной блузе, с шарфом вокруг шеи. Он шумно дышал,

смотрел, выпучив глаза, и войдя, сунул руки в карманы брюк, став как столб.

Все мы продолжали сидеть, кроме Арколь, которая подошла к Молли. Став рядом с ней, она бросила Дюроку отчаянный умоляющий взгляд.

Новоприбывшие были заметно навеселе. Ни одним взглядом, ни движением лица не обнаружили они, что, кроме женщин, есть еще мы; даже не посмотрели на нас, как будто нас здесь совсем не было. Разумеется, это было сделано умышленно.

— Вам нужно что-нибудь, Лемарен? — сказала Арколь, стараясь улыбнуться. — Сегодня мы очень заняты. Нам надо пересчитать белье, сдать его, а потом ехать за провизией для матросов. — Затем она обратилась к брату, и это было одно слово: — Джон!

— Я с вами поговорю, — сказал Варрен. — Что же, нам и сесть негде?!

Лемарен, подбоченясь, взмахнул соломенной шляпой. Его глаза с острой улыбкой были обращены к девушке.

— Привет, Молли! — сказал он. — Прекрасная Молли, сделайте милость, обратите внимание на то, что я пришел навестить вас в вашем уединении. Взгляните, — это я!

Я видел, что Дюрок сидит, опустив голову, как бы безучастно, но его колено дрожало, и он почти незаметно удерживал его ладонью руки. Эстамп приподнял брови, отошел и смотрел сверху вниз на бледное лицо Лемарена.

— Убирайся! — сказала Молли. — Ты довольно преследовал меня! Я не из тех, к кому ты можешь протянуть лапу. Говорю тебе прямо и начистоту — я более не стерплю! Уходи!

Из ее черных глаз разлетелась по комнате сила отчаянного сопротивления. Все это почувствовали.

Почувствовал это и Лемарен, так как широко раскрыл глаза, смигнул и, нескладно улыбаясь, повернулся к Варрену.

— Каково? — сказал он. — Ваша сестра сказала мне дерзость, Варрен. Я не привык к такому обращению, клянусь костылями всех калек этого дома. Вы пригласили меня в гости, и я пришел. Я пришел вежливо, — не с худой целью. В чем тут дело, я спрашиваю?

— Дело ясное, — сказал, глухо крикнув, толстый человек, ворочая кулаки в карманах брюк. — Нас выставляют.

— Кто вы такой? — рассердилась Арколь. По наступательному выражению ее кроткого даже в гневе лица я видел, что и эта женщина дошла до предела. — Я не знаю вас и не приглашала. Это мое помещение, я здесь хозяйка. Потрудитесь уйти!

Дюрок поднял голову и взглянул Эстампу в глаза. Смысл взгляда был ясен. Я поспешил захватить плотнее револьвер, лежавший в моем кармане.

— Добрые люди, — сказал, посмеиваясь, Эстамп, — вам лучше бы удалиться, так как разговор в этом тоне не доставляет решительно никому удовольствия.

— Слышу птицу! — воскликнул Лемарен, мельком взглядывая на Эстампа и тотчас обращаясь к Молли. — Это вы заводите чижиков, Молли? А есть у вас канареечное семя, а? Ответьте, пожалуйста!

— Не спросить ли моего утреннего гостя, — сказал Варрен, выступая вперед и становясь против Дюрока, неохотно вставшего навстречу ему. — Может быть, этот господин соблаговолит объяснить, почему он здесь, у моей, черт побери, сестры?!

— Нет, я не сестра твоя! — сказала, словно бросила тяжкий камень, Молли. — А ты не брат мне! Ты — второй Лемарен, то есть подлец!

И, сказав так, вне себя, в слезах, с открытым, страшным лицом, она взяла со стола книгу и швырнула ее в Варрена.

Книга, порхнув страницами, ударила его по нижней губе, так как он не успел прикрыться локтем. Все ахнули. Я весь горел, чувствуя, что отлично сделано, и готов был палить во всех.

— Ответит этот господин, — сказал Варрен, указывая пальцем на Дюрока и растирая другой рукой подбородок, после того, как вдруг наступившее молчание стало невыносимо.

— Он переломает тебе все кости! — вскричал я, — а я пробью твою мишень, как только...

— Как только я уйду, — сказал вдруг сзади низкий, мрачный голос, столь громкий, несмотря на рокочущий тембр, что все сразу оглянулись.

Против двери, твердо и широко распахнув ее, стоял человек с седыми баками и седой копной волос, разлетевшихся, как сено на вилах. Он был без руки, — один рукав матросской куртки висел; другой, засученный до локтя, обнажал коричневую пружину мускулов, оканчивающихся мощной пятерней с толстыми пальцами. В этой послужившей на своем веку мускульной машине человек держал пустую папиросную коробку. Его глаза, глубоко запрятанные среди бровей, складок и морщин, цедили тот старческий блестящий взгляд, в котором угадываются и отличная память и тонкий слух.

— Если сцена, — сказал он, входя, — то надо закрывать дверь. Кое-что я слышал. Мамаша Арколь, будьте добры дать немного толченого перцу для рагу. Рагу должно быть с перцем. Будь у меня две руки, — продолжал он в том же спокойном деловом темпе, — я не посмотрел бы на тебя, Лемарен, и вбил бы тебе этот перец в рот. Разве так обращаются с девушкой?

Едва он проговорил это, как толстый человек сде-

лал движение, в котором я ошибиться не мог: он вытянул руку ладонью вниз и стал отводить ее назад, намереваясь ударить Эстампа. Быстрее его я протянул револьвер к глазам негодя и нажал спуск, но выстрел, толкнув руку, увел пулю мимо цели.

Толстяка отбросило назад, он стукнулся об этажерку и едва не свалил ее. Все вздрогнули, разбежались и оцепенели; мое сердце колотилось, как гром. Дюрок с наименьшей быстротой направил дуло в сторону Лемарена, а Эстамп прицелился в Варрена.

Мне не забыть безумного испуга в лице толстого хулигана, когда я выстрелил. Тут я понял, что игра временно остается за нами.

— Нечего делать, — сказал, бессильно поводя плечами, Лемарен. — Мы еще не приготовились. Ну, берегитесь! Ваша взяла! Только помните, что подняли руку на Лемарена. Идем, Босс! Идем, Варрен! Встретимся еще как-нибудь с ними, отлично увидимся. Прекрасной Молли привет! Ах, Молли, красotka Молли!

Он проговорил это медленно, холодно, вертя в руках шляпу и взглядывая то на нее, то на всех нас по очереди. Варрен и Босс молча смотрели на него.

Он мигнул им; они вылезли из комнаты один за другим, останавливаясь на пороге; оглядываясь, они выразительно смотрели на Дюрока и Эстампа, прежде чем скрыться. Последним выходил Варрен. Останавливаясь, он поглядел и сказал:

— Ну, смотри, Арколь! И ты, Молли!

Он прикрыл дверь. В коридоре шептались, затем, быстро прозвучав, шаги утихли за домом.

— Вот, — сказала Молли, бурно дыша. — И все, и ничего более. Теперь надо уходить. Я уйду, Арколь. Хорошо, что у вас пули.

— Правильно, правильно и правильно! — сказал инвалид. — Такое поведение я одобряю. Когда был бунт на «Альцесте», я открыл такую пальбу, что все

легли брюхом вниз. Теперь что же? Да, я хотел перцу для...

— Не вздумайте выходить, — быстро заговорила Арколь. — Они караулят. Я не знаю, как теперь поступить.

— Не забудьте, что у меня есть лодка, — сказал Эстамп, — она очень недалеко. Ее не видно отсюда, и я поэтому за нее спокоен. Будь мы без Молли...

— Она? — сказал инвалид Арколь, устремляя указательный палец в грудь девушке.

— Да, да, надо уехать.

— Ее? — повторил матрос.

— О, какой вы непонятливый, а еще...

— Туда? — Инвалид махнул рукой за окно.

— Да, я должна уехать, — сказала Молли, — вот придумайте, — ну, скорее, о боже мой!

— Такая же история была на «Гренаде» с юнгой; да, вспомнил. Его звали Санди. И он...

— Я — Санди, — сказал я, сам не зная зачем.

— Ах, и ты тоже Санди? Ну, милочка, какой же ты хороший, ревунок мой. Послужи, послужи девушке! Ступайте с ней. Ступай, Молли. Он твоего роста. Ты дашь ему юбку и — ну, скажем, платьишко, чтобы закутать то место, где лет через десять вырастет борода. Юбку дашь приметную такую, в какой тебя видали и помнят. Поняла? Ступай, скройся и переряди человека, который сам сказал, что его зовут Санди. Ему будет дверь, тебе окно. Все!

XI

— В самом деле, — сказал, помолчав, Дюрок, — это, пожалуй, лучше всего.

— Ах, ах! — воскликнула Молли, смотря на меня со смехом и жалостью. — Как же он теперь? Нельзя ли иначе? — Но полное одобрение слышалось в ее голосе, несмотря на притворные колебания.

— Ну, что же, Санди? — Дюрок положил мне на плечо руку. — Решай! Нет ничего позорного в том, чтобы подчиниться обстоятельствам, — нашим обстоятельствам. Теперь все зависит от тебя.

Я воображал, что иду на смерть, пасть жертвой за Ганувера и Молли, но умереть в юбке казалось мне ужасным концом. Хуже всего было то, что я не мог отказаться; меня ждал, в случае отказа, моральный конец, горший смерти. Я подчинился с мужеством растоптанного стыда и смирился перед лицом рока, смотревшего на меня нежными черными глазами Молли. Тотчас произошло заклятие. Худо понимая, что делается кругом, я вошел в комнату рядом и, слыша, как стучит мое опозоренное сердце, стал, подобно манекену, неподвижно и глупо. Руки отказывались бороться с завязками и пуговицами. Чрезвычайная быстрота четырех женских рук усыпила и ошеломила меня. Я чувствовал, что смешон и велик, что я — герой и избавитель, кукла и жертва. Маленькие руки поднесли мне зеркало; на голове очутился платок, и, так как я не знал, что с ним делать, Молли взяла мои руки и забрала их вместе с платком под подбородком, тряся, чтобы я понял, как прикрывать лицо. Я увидел в зеркале искаженное расстройством подобие себя и не признал его. Наконец тихий голос сказал: «Спасибо тебе, душечка!» — и крепкий поцелуй в щеку вместе с легким дыханием дал понять, что этим Молли вознаграждает Санди за отсутствие у него усов.

После того все пошло как по маслу, меня быстро вытолкнули к обществу мужчин, от которого я временно отказался. Наступило глубокое, унижительное молчание. Я не смел поднять глаз и направился к двери, слегка путаясь в юбке; я так и ушел бы, но Эстамп окликнул меня:

— Не торопись, я пойду с тобой, — нагнав меня у самого выхода, он сказал:

— Иди быстрым шагом по той тропинке, так скоро, как можешь, будто торопишься изо всех сил, держи лицо прикрытым и не оглядывайся; выйдя на дорогу, поверни вправо, к Сигнальному Пустырю. А я пойду сзади.

Надо думать, что приманка была хороша, так как, едва прошел я две-три лужайки среди светлого леса, невольно входя в роль и прижимая локти, как делают женщины, когда спешат, как в стороне послышались торопливые голоса.

Шаги Эстампа я слышал все время позади, близко от себя. Он сказал: «Ну, теперь беги, беги во весь дух!» Я полетел вниз с холма, ничего не слыша, что сзади, но, когда спустился к новому подъему, раздалась крики.

«Молли! Стой, или будет худо!» — это кричал Варрен. Другой крик, Эстампа, тоже приказывал стоять, хотя я и не был назван по имени. Решив, что дело сделано, я остановился, повернувшись лицом к действию.

На разном расстоянии друг от друга по дороге двигались три человека, — ближайший ко мне был Эстамп, — он отступал в полуоборот к неприятелю. К нему бежал Варрен, за Варреном, отстав от него, спешил Босс. «Стойте!» — сказал Эстамп, целясь в последнего. Но Варрен продолжал двигаться, хотя и тише. Эстамп дал выстрел. Варрен остановился, нагнулся и ухватился за ногу.

— Вот как пошло дело! — сказал он, в замешательстве оглядываясь на подбегающего Босса.

— Хватай ее! — крикнул Босс. В тот же момент обе мои руки были крепко схвачены сзади, выше локтя, и с силой отведены к спине, так что, рванувшись, я ничего не выиграл, а только повернул лицо назад, взглянуть на вцепившегося в меня Лемарена. Он обошел лесом и пересек путь. При этих движениях платок свалился с меня. Лемарен уже сказал: —

«Мо...», — но, увидев, кто я, был так поражен, так взбешен, что, тотчас отпустив мои руки, замахнулся обоими кулаками.

— Молли, да не та! — вскричал я злорадно, рухнув ниц и со всей силой ударив его головой между ног, в самом низу — прием вдохновения. Он завопил и свалился через меня. Я на бегу разорвал пояс юбки и выскочил из нее, потом, отбежав, стал трясти ею, как трофеем.

— Оставь мальчишку, — закричал Варрен, — а то она удерет! Я знаю теперь: она побежала наверх, к матросам. Там что-нибудь подготовили. Брось все! Я ранен!

Лемарен не был так глуп, чтобы лезть на человека с револьвером, хотя бы этот человек держал в одной руке только что скинутую юбку: револьвер был у меня в другой руке, и я собирался пустить его в дело, чтобы отразить нападение. Оно не состоялось — вся троица понеслась обратно, грозя кулаками: Варрен хромал сзади. Я еще не опомнился, но уже видел, что отделался дешево. Эстамп подошел ко мне с бледным и серьезным лицом.

— Теперь они постоят у воды, — сказал он, — и будут, так же, как нам, грозить кулаками боту. По воде не пойдешь. Дюрок, конечно, успел сесть с девушкой. Какая история! Ну, впишем еще страницу в твои подвиги и... свернем-ка на всякий случай в лес!

Разгоряченный, изрядно усталый, я свернул юбку и платок, намереваясь сунуть их где-нибудь в куст, потому что, как ни блистательно я вел себя, они напоминали мне, что, условно, не по-настоящему, на полчаса, — но я был все же женщиной. Мы стали пересекать лес вправо, к морю, спотыкаясь среди камней, заросших папоротником. Поотстав, я заметил два камня, сошедшихся вверху краями, и сунул меж них ненатуральное одеяние, от чего пришел немедленно в наилучшее расположение духа.

На нашем пути встретился озаренный пригорок. Тут Эстамп лег, вытянул ноги и облокотился, положив на ладонь щеку.

— Садись, — сказал он. — Надо передохнуть. Да, вот это дело!

— Что же теперь будет? — осведомился я, садясь по-турецки и раскуривая с Эстампом его папиросы. — Как бы не произошло нападение?!

— Какое нападение?!

— Ну, знаете... У них, должно быть, большая шайка. Если они захотят отбить Молли и соберут человек сто...

— Для этого нужны пушки, — сказал Эстамп, — и еще, пожалуй, бесплатные места полицейским в качестве зрителей.

Естественно, наши мысли вертелись вокруг горячих утренних происшествий, и мы перебрали все, что было, со всеми подробностями, соображениями, догадками и особо картинными моментами. Наконец мы подошли к нашим впечатлениям от Молли; почему-то этот разговор замялся, но мне все-таки хотелось знать больше, чем то, чему был я свидетелем. Особенно меня волновала мысль о Дигэ. Эта таинственная женщина непременно возникала в моем уме, как только я вспоминала Молли. Об этом я его и спросил.

— Хм... — сказал он. — Дигэ... О, это задача! — И он погрузился в молчание, из которого я не мог извлечь его никаким покашливанием.

— Известно ли тебе, — сказал он наконец, после того как я решил, что он совсем задремал, — известно ли тебе, что эту траву едят собаки, когда заболеют бешенством?

Он показал острый листок, но я был очень удивлен его глубокомысленным тоном и ничего не сказал. Затем, в молчании, усталые от жары и друг от друга, мы выбрались к морской полосе, пришли на

пристань и наняли лодочника. Никто из наших врагов не караулил нас здесь, поэтому мы благополучно переехали залив и высадились в стороне от дома. Здесь был лес, а дальше шел огромный, отлично расчищенный сад. Мы шли садом. Аллеи были пусты. Эстамп провел меня в дом через одну из боковых арок, затем по чрезвычайно путаной, сурового вида лестнице, в большую комнату с цветными стеклами. Он был заметно не в духе, и я понял отчего, когда он сказал про себя: «Дьявольски хочу есть». Затем он позвонил, приказал слуге, чтобы тот отвел меня к Попу, и, еле передвигая ноги, я отправился через блестящие недра безлюдных стен в настоящее путешествие к библиотеке. Здесь слуга бросил меня. Я постучал и увидел Попа, беседующего с Дюроком.

XII

Когда я вошел, Дюрок доканчивал свою речь. Не помню, что он сказал при мне. Затем он встал и в ответ многочисленным молчаливым кивкам Попа протянул ему руку. Рукопожатие сопровождалось твердыми улыбками с той и другой стороны.

— Как водится, герою уступают место и общество, — сказал мне Дюрок, — теперь, Санди, посвяти Попа во все драматические моменты. Вы можете ему довериться, — обратился он к Попу, — этот малочеловек сущий клад в таких положениях. Прощайте! Меня ждут.

Мне очень хотелось спросить, где Молли и давно ли Дюрок вернулся, так как хотя из этого ничего не вытекало, но я от природы любопытен во всем. Однако на что я решился бы под открытым небом, на то не решался здесь, по стеснительному чувству чужого среди высоких потолков и прекрасных вещей,

имеющих свойство оттеснять непривычного в его духовную раковину.

Все же я надеялся много узнать от Попа.

— Вы устали и, наверное, голодны? — сказал Поп. — В таком случае пригласите меня к себе, и мы с вами позавтракаем. Уже второй час.

— Да, я приглашаю вас, — сказал я, малость недоумевая, чем могу угостить его, и не зная, как взяться за это, но не желая уступать никому ни в тоне, ни в решительности. — В самом деле, идем, стрескаем, что дадут.

— Прекрасно, стрескаем, — подхватил он с непередаваемой интонацией редкого иностранного слова, — но вы не забыли, где ваша комната?

Я помнил и провел его в коридор, второй дверью налево. Здесь, к моему восхищению, повторилось то же, что у Дюрока: потянув шнур, висевший у стены, сбоку стола, мы увидели, как откинулась в простенке меж окон металлическая доска и с отверстием поравнялась никелевая плоскость, на которой были вино, посуда и завтрак. Он состоял из мясных блюд, фруктов и кофе. Для храбрости я выпил полный стакан вина, и, отделавшись таким образом от стеснения, стал есть, будучи почти пьян.

Поп ел мало и медленно, но вина выпил.

— Сегодняшний день, — сказал он, — полон событий, хотя все главное еще впереди. Итак, вы сказали, что произошла схватка?

Я этого не говорил, и сказал, что не говорил.

— Ну, так скажете, — произнес он с милой улыбкой. — Жестко держать меня в таком нетерпении.

Теперь происшедшее казалось мне не довольно поразительным, и я взял самый высокий тон.

— При высадке на берегу дело пошло на ножи, — сказал я и развил этот самостоятельный текст в виде прыжков, беганья и рычанья, но никого не убил. Потом я сказал: — Когда явился Варрен и его друзья,

я дал три выстрела, ранив одного негодяя... — Этот путь оказался скользким, заманчивым; чувствуя, должно быть, от вина, что я и Поп как будто описываем вокруг комнаты нарез, я хватил самое яркое из утренней эпопеи:

— Давайте, Молли, — сказал я, — устроим так, чтобы я надел ваше платье и обманул врагов, а вы за это меня поцелуете. И вот...

— Санди, не пейте больше вина, прошу вас, — мягко перебил Поп. — Вы мне расскажете потом, как все это у вас там произошло, тем более, что Дюрок, в общем, уж рассказал.

Я встал, засунул руки в карманы и стал смеяться. Меня заливало блаженством. Я чувствовал себя Дюроком и Ганувером. Я вытащил револьвер и пытался прицелиться в шарик кровати. Поп взял меня за руку и усадил, сказав:

— Выпейте кофе, а еще лучше, закурите.

Я почувствовал во рту папиросу, а перед носом увидел чашку и стал жадно пить черный кофе. После четырех чашек винтообразный нарез вокруг комнаты перестал увлекать меня, в голове стало мутно и глупо.

— Вам лучше, надеюсь?

— Очень хорошо, — сказал я, — и, чем скорее вы приступите к делу, тем будет лучше.

— Нет, выпейте, пожалуйста, еще одну чашку.

Я послушался его и, наконец, стал чувствовать себя прочно сидящим на стуле.

— Слушайте, Санди, и слушайте внимательно. Надеюсь, вам теперь хорошо?

Я был страшно возбужден, но разум и понимание вернулись.

— Мне лучше, — сказал я обычным своим тоном, — мне почти хорошо.

— Раз почти, следовательно, контроль на месте, — заметил Поп. — Я ужаснулся, когда вы нали-

ли себе целую купель этого вина, но ничего не сказал, так как не видел еще вас в единоборстве с напитками. Знаете, сколько этому вину лет? Сорок восемь, а вы обошлись с ним, как с водой. Ну, Санди, я теперь буду вам открывать секреты.

— Говорите, как самому себе!

— Я не ожидал от вас другого ответа. Скажите мне... — Поп откинулся к спинке стула и пристально взглянул на меня. — Да, скажите вот что: умеете вы лазить по дереву?

— Штука нехитрая, — ответил я, — я умею и лазить по нему, и срубить дерево, как хотите. Я могу даже спуститься по дереву головой вниз. А вы?

— О, нет, — застенчиво улыбнулся Поп, — я, к сожалению, довольно слаб физически. Нет, я могу вам только завидовать.

Уже я дал многие доказательства моей преданности, и было бы неудобно держать от меня в тайне общее положение дела, раз требовалось уметь лазить по дереву. По этим соображениям Поп, — как я полагаю, — рассказал многие обстоятельства. Итак, я узнал, что позавчера утром разосланы телеграммы и письма с приглашениями на сегодняшнее торжество и соберется большое общество.

— Вы можете, конечно, догадаться о причинах, — сказал Поп, — если примете во внимание, что Ганувер всегда верен своему слову. Все было устроено ради Молли; он думает, что ее не будет, однако не считает себя вправе признать это, пока не пробило двенадцать часов ночи. Итак, вы догадываетесь, что приготовлен сюрприз?

— О, да, — ответил я, — я догадываюсь. Скажите, пожалуйста, где теперь эта девушка?

Он сделал вид, что не слышал вопроса, и я дал себе клятву не спрашивать об этом предмете, если он так явно вызывает молчание. Затем Поп перешел к подозрениям относительно Томсона и Галуэя.

— Я наблюдаю их две недели, — сказал Поп, — и, надо вам сказать, что я имею аналитический склад ума, благодаря чему установил стиль этих людей. Но я допускал ошибку. Поэтому, экстренно вызвав телеграммой Дюрока и Эстампа, я все-таки был не совсем уверен в точности своих подозрений. Теперь дело ясно. Все велось и ведется тайно. Сегодня, когда вы отправились в экспедицию, я проходил мимо аквариума, который вы еще не видели, и застал там наших гостей, всех троих. Дверь в стеклянный коридор была полуоткрыта, и в этой части здания вообще почти никогда никто не бывает, так что я появился незамеченным. Томсон сидел на диванчике, покачивая ногой; Дигэ и Галуэй стояли у одной из витрин. Их руки были опущены и сплетены пальцами. Я отступил. Тогда Галуэй нагнулся и поцеловал Дигэ в шею.

— Ага! — вскричал я. — Теперь я все понимаю. Значит, он ей не брат?!

— Вы видите, — продолжал Поп, и его рука, лежавшая на столе, стала нервно дрожать. Моя рука тоже лежала на столе и так же задрожала, как рука Попа. Он нагнулся и, широко раскрыв глаза, произнес: — Вы понимаете? Клянусь, что Галуэй ее любовник, и мы даже не знаем, чем рисковал Ганувер, попав в такое общество. Вы видели золотую цепь и слышали, что говорилось при этом! Что делать?

— Очень просто, — сказал я. — Немедленно донести Гануверу, и пусть он отправит всех их вон в десять минут!

— Вначале я так и думал, но, размыслив о том с Дюроком, пришел вот к какому заключению: Ганувер мне просто-напросто не поверит, не говоря уже о всей щекотливости такого объяснения.

— Как же он не поверит, если вы это видели?

— Теперь я уже не знаю, видел ли я, — сказал Поп, — то есть видел ли так, как это было. Ведь это

ужасно серьезное дело. Но довольно того, что Ганувер может усомниться в моем зрении. А тогда — что? Или я представляю, что я сам смотрю на Дигэ глазами и расстроенной душой Ганувера, — что же, вы думаете, я окончательно и вдруг поверю истории с поцелуем?

— Это правда, — сказал я, сообразив все его доводы. — Ну, хорошо, я слушаю вас.

Поп продолжал:

— Итак, надо увериться. Если подозрение подтвердится, — а я думаю, что эти три человека принадлежат к высшему разряду темного мира, — то наш план — такой план есть — развернется ровно в двенадцать часов ночи. Если же далее не окажется ничего подозрительного, план будет другой.

— Я вам помогу в таком случае, — сказал я. — Я — ваш. Но вы, кажется, говорили что-то о дереве.

— Вот и дерево, вот мы и пришли к нему. Только это надо сделать, когда стемнеет.

Он сказал, что с одной стороны фасада растет очень высокий дуб, вершина которого поднимается выше третьего этажа. В третьем этаже, против дуба, расположены окна комнат, занимаемых Галузем, слева и справа от него, в том же этаже, помещаются Томсон и Дигэ. Итак, мы уговорились с Попом, что я влезу на это дерево после восьми, когда все разойдутся готовиться к торжеству, и употреблю в дело таланты, так блестяще примененные мной под окном Молли.

После этого Поп рассказал о появлении Дигэ в доме. Выйдя в приемную на доклад о прибывшей издалека даме, желающей немедленно его видеть, Ганувер явился, ожидая услышать скрипучий голос благотворительницы лет сорока, с сильными жестами и блистающим, как ланцет, лорнетом, а вместо того встретил искусительницу Дигэ. Сквозь ее застенчивость светилось желание отстоять причуду всем пы-

лом двадцати двух лет, сильнее, чем рассчитанное кокетство, — смесь трусости и задора, вызова и готовности расплакаться. Она объяснила, что слухи о замечательном доме проникли в Бенарес и не дали ей спать. Она и не будет спать, пока не увидит всего. Жизнь потеряла для нее цену с того дня, когда она узнала, что есть дом с исчезающими стенами и другими головоломными тайнами. Она богата и объездила земной шар, но такого пирожного еще не пробовала.

Дигэ сопровождал брат, Галуэй, лицо которого во время этой тирады выражало просьбу не осудить молодую жизнь, требующую повиновения каждому своему капризу. Закоренелый циник улыбнулся бы, рассматривая пленительное лицо со сказкой в глазах, сияющих всем и всюду. Само собой, она была теперь средневековой принцессой, падающей от изнеможения у ворот волшебного замка. За месяц перед этим Ганувер получил решительное письмо Молли, в котором она сообщала, что уезжает навсегда, не дав адреса, но он временно уже устал горевать — горе, как и счастливое настроение, находит волной. Поэтому все пахнущее свежей росой могло найти доступ к левой стороне его груди. Он и Галуэй стали смеяться. «Ровно через двадцать один день, — сказал Ганувер, — ваше желание исполнится, этот срок назначен не мной, но я верен ему. В этом вы мне уступите, тем более, что есть, на что посмотреть». Он оставил их гостить; так началось. Вскоре явился Томсон, друг Галуэя, которому тоже отвели помещение. Ничто не вызывало особенных размышлений, пока из отдельных слов, взглядов — неуловимой, но подозрительной психической эманации всех трех лиц — у Попа не создалось уверенности, что необходимо экстренно вызвать Дюрока и Эстампа.

Таким образом, в основу сцены приема Ганувером Дигэ был положен характер Ганувера — его вку-

сы, представления о встречах и случаях; говоря с Дигэ, он слушал себя, выраженного прекрасной игрой.

Запахло таким густым дымом, как в битве Нельсона с испанским флотом, и я сказал страшным голосом:

— Как белка или змея! Поп, позвольте пожать вашу руку и знайте, что Санди, хотя он, может быть, моложе вас, отлично справится с задачей и похитрее!

Казалось, волнениям этого дня не будет конца. Едва я, закрепляя свои слова, стукнул кулаком по столу, как в дверь постучали и вошедший слуга объявил, что меня требует Ганувер.

— Меня? — струсив, спросил я.

— Санди. Это вы — Санди?

— Он — Санди, — сказал Поп, — и я иду с ним.

ХІІІ

Мы прошли сквозь ослепительные лучи зал, по которым я следовал вчера за Попом в библиотеку, и застали Ганувера в картинной галерее. С ним был Дюрок, он ходил наискось от стола к окну и обратно. Ганувер сидел, положив подбородок в сложенные на столе руки, и задумчиво следил, как ходит Дюрок. Две белые статуи в конце галереи и яркий свет больших окон из целых стекол, доходящих до самого паркета, придавали огромному помещению открытый и веселый характер.

Когда мы вошли, Ганувер поднял голову и кивнул. Взглянув на Дюрока, ответившего мне пристальным взглядом понятного предупреждения, я подошел к Гануверу. Он указал стул, я сел, а Поп продолжал стоять, нервно водя пальцами по подбородку.

— Здравствуй, Санди, — сказал Ганувер. — Как тебе нравится здесь? Вполне ли тебя устроили?

— О, да! — сказал я. — Все еще не могу опомниться.

— Вот как?! — задумчиво произнес он и замолчал. Потом, рассеянно поглядев на меня, прибавил с улыбкой: — Ты позван мной вот зачем. Я и мой друг Дюрок, который говорит о тебе в высоких тонах, решили устроить твою судьбу. Выбирай, если хочешь, не теперь, а строго обдумав: кем ты желаешь быть. Можешь назвать любую профессию. Но только не будь знаменитым шахматистом, который, получив ночью телеграмму, отправился утром на состязание в Лисс и выиграл из шести пять у самого Капбланки. В противном случае ты привыкнешь покидать своих друзей в трудные минуты их жизни ради того, чтобы заехать слонем в лоб королю.

— Одну из этих партий, — заметил Дюрок, — я назвал партией Ганувера и, представьте, выиграл ее всего четырьмя ходами.

— Как бы там ни было, Санди осудил вас в глубине сердца, — сказал Ганувер, — ведь так, Санди?

— Простите, — ответил я, — за то, что ничего в этом не понимаю.

— Ну, так говори о своих желаниях!

— Я моряк, — сказал я, — то есть я пошел по этой дороге. Если вы сделаете меня капитаном, мне больше, кажется, ничего не надо, так как все остальное я получу сам.

— Отлично. Мы пошлем тебя в адмиралтейскую школу.

Я сидел, тая и улыбаясь.

— Теперь мне уйти? — спросил я.

— Ну, нет. Если ты приятель Дюрока, то, значит, и мой, а поэтому я присоединю тебя к нашему плану. Мы все пойдем смотреть кое-что в этой лачуге. Тебе, с твоим живым соображением, это может принести пользу. Пока, если хочешь, сиди или смотри картины. Поп, кто приехал сегодня?

Я встал и отошел. Я был рассечен натрое: одна часть смотрела картину, изображавшую рой красавиц в туниках у колонн, среди роз, на фоне морской дали, другая часть видела самого себя на этой картине, в полной капитанской форме, орущего красавицам: «Левый галс! Подтянуть грот, рифы и брасы!» — а третья, по естественному устройству уха, слушала разговор.

Не могу передать, как действует такое обращение человека, одним поворотом языка приказывающего судьбе перенести Санди из небытия в капитаны. От самых моих ног до макушки поднималась нервная теплота. Едва принимался я думать о перемене жизни, как мысли эти перебивались картинами, галереей, Ганувером, Молли и всем, что я испытал здесь, и мне казалось, что я вот-вот полечу.

В это время Ганувер тихо говорил Дюроку:

— Вам это не покажется странным. Молли была единственной девушкой, которую я любил. Не за что-нибудь, — хотя было «за что», но по той магнитной линии, о которой мы все ничего не знаем. Теперь все наболело во мне и уже как бы не боль, а жгучая тупость.

— Женщины догадливы, — сказал Дюрок, — а Дигэ наверно проницательна и умна.

— Дигэ... — Ганувер на мгновение закрыл глаза. — Все равно Дигэ лучше других, она, может быть, совсем хороша, но я теперь плохо вижу людей. Я внутренне утомлен. Она мне нравится.

— Так молода, и уже вдова, — сказал Дюрок. — Кто был муж?

— Ее муж был консул, в колонии, какой — не помню.

— Брат очень напоминает сестру, — заметил Дюрок, — я говорю о Галуэе.

— Напротив, совсем не похож!

Дюрок замолчал.

— Я знаю, он вам не нравится, — сказал Ганувер, — но он очень забавен, когда в ударе. Его веселая юмористическая злость напоминает собаку-льва.

— Вот еще! Я не видал таких львов.

— Пуделя, — сказал Ганувер, развеселившись, — стриженного пуделя! Наконец мы соединились! — вскричал он, направляясь к двери, откуда входили Дигэ, Томсон и Галуэй.

Мне, свидетелю сцены у золотой цепи, довелось видеть теперь Дигэ в замкнутом образе молодой дамы, отношение которой к хозяину определялось лишь ее положением милой гостьи. Она шла с улыбкой, кивая и тараторя. Томсон взглянул сверх очков; величайшая приятность расплзлась по его широкому, мускулистому лицу; Галуэй шел, дергая плечом и щекой.

— Я ожидала застать большое общество, — сказала Дигэ. — Горничная подвела счет и уверяет, что утром прибыло человек двадцать.

— Двадцать семь, — вставил Поп, которого я теперь не узнал. Он держался ловко, почтительно и был своим, а я — я был чужой и стоял, мрачно вытаращив глаза.

— Благодарю вас, я скажу Микелетте, — холодно отозвалась Дигэ, — что она ошиблась.

Теперь я видел, что она не любит также Дюрока. Я заметил это по ее уху. Не смейтесь! Край маленького, как лепесток, уха был направлен к Дюроку с неприязненной остротой.

— Кто же навел вас? — продолжала Дигэ, спрашивая Ганувера. — Я очень любопытна.

— Это будет смешанное общество, — сказал Ганувер. — Все приглашенные — живые люди.

— Морг в полном составе был бы немного мрачен для торжества, — объявил Галуэй.

Ганувер улыбнулся.

— Я выразился неудачно. А все-таки лучшего слова, чем слово ж и в о й, мне не придумать для человека, умеющего наполнять жизнь.

— В таком случае, мы все живы, — объявила Дигэ, — применяя ваше толкование.

— Но и само по себе, — сказал Томсон.

— Я буду принимать вечером, — заявил Ганувер, пока же предпочитаю бродить в доме с вами, Дюроком и Санди.

— Вы любите моряков, — сказал Галуэй, косясь на меня, — вероятно, вечером мы увидим целый экипаж капитанов.

— Наш Санди один стоит военного флота, — сказал Дюрок.

— Я вижу, он под особым покровительством, и не осмеливаюсь приближаться к нему, — сказала Дигэ, трогая веером подбородок. — Но мне нравятся ваши капризы, дорогой Ганувер, благодаря им вспоминаешь и вашу молодость. Может быть, мы увидим сегодня взрослых Санди, пыхтящих по крайней мере с улыбкой.

— Я не принадлежу к светскому обществу, — сказал Ганувер добродушно, — я — один из случайных людей, которым идиотически повезло и которые торопятся обратить деньги в жизнь, потому что лишены традиции накопления. Я признаю личный этикет и отвергаю кастовый.

— Мне попало, — сказала Дигэ, — очередь за вами, Томсон.

— Я уклоняюсь и уступаю свое место Галуэю, если он хочет.

— Мы, журналисты, неуязвимы, — сказал Галуэй, — как короли, и никогда не точим ножи вслух.

— Теперь тронемся, — сказал Ганувер, — пойдем, послушаем, что скажет об этом Ксаверий.

— У вас есть римлянин? — спросил Галуэй. — И тоже ж и в о й?

— Если не испортился; в прошлый раз начал нести ересь.

— Ничего не понимаю, — Дигэ пожала плечом, — но должно быть что-то захватывающее.

Все мы вышли из галереи и прошли несколько комнат, где было хорошо, как в саду из дорогих вещей, если бы такой сад был. Поп и я шли сзади. При повороте он удержал меня за руку:

— Вы помните наш уговор? Дерево можно не трогать. Теперь задумано и будет все иначе. Я только что узнал это. Есть новые соображения по этому делу.

Я был доволен его сообщением, начиная уставать от подслушивания, и кивнул так усердно, что подбородком стукнулся в грудь. Тем временем Ганувер остановился у двери, сказав: «Поп!» Юноша поспешил с ключом открыть помещение. Здесь я увидел странную, как сон, вещь. Она произвела на меня, но, кажется, и на всех, неизгладимое впечатление: мы были перед человеком-автоматом, игрушкой в триста тысяч ценной, умеющей говорить.

XIV

Это помещение, не очень большое, было обставлено как гостиная, с глухим мягким ковром на весь пол. В кресле, спиной к окну, скрестив ноги и облокотясь на драгоценный столик, сидел, откинув голову, молодой человек, одетый как модная картинка. Он смотрел перед собой большими голубыми глазами, с самодовольной улыбкой на розовом лице, оттененном черными усиками. Короче говоря, это был точь-в-точь манекен из витрины. Мы все стали против него. Галуэй сказал:

— Надеюсь, ваш Ксаверий не говорит, в противном случае, Ганувер, я обвиню вас в колдовстве и создам сенсационный процесс.

— Вот новости! — раздался резкий, отчетливо выговаривающий слова голос, и я вздрогнул. — Довольно, если вы обвините себя в неуместной шутке!

— Ах! — сказала Дигэ и увела голову в плечи. Все были поражены. Что касается Галуэя, — тот положительно струсил, я это видел по беспомощному лицу, с которым он попятился назад. Даже Дюрок, нервно усмехнувшись, покачал головой.

— Уйдемте! — вполголоса сказала Дигэ. — Дело страшное!

— Надеюсь, Ксаверий нам не нанесет оскорблений? — шепнул Галуэй.

— Оставайтесь, я незлобив, — сказал манекен таким тоном, как говорят с глухими, и переложил ногу на ногу.

— Ксаверий! — произнес Ганувер. — Позволь рассказать твою историю!

— Мне все равно, — ответила кукла. — Я — механизм.

Впечатление было удручающее и сказочное. Ганувер заметно наслаждался сюрпризом. Выдержав паузу, он сказал:

— Два года назад умирал от голода некто Никлас Экус, и я получил от него письмо с предложением купить автомат, над которым он работал пятнадцать лет. Описание этой машины было сделано так подробно и интересно, что с моим складом характера оставалось только посетить затейливого изобретателя. Он жил одиноко. В лачуге, при дневном свете, равно озаряющем это чинное восковое лицо и бледные черты неизлечимо больного Экуса, я заключил сделку. Я заплатил триста тысяч и имел удовольствие выслушать ужасный диалог человека со своим подобием. «Ты спас меня!» — сказал Экус, потрясая чеком перед автоматом, и получил в ответ: «Я тебя убил». Действительно, Экус, организм кото-

рого был разрушен длительными видениями тонко-тей гениального механизма, скончался очень скоро после того, как разбогател, и я, сказав о том автомату, услышал такое замечание: «Он продал свою жизнь так же дешево, как стоит моя!»

— Ужасно! — сказал Дюрок. — Ужасно! — повторил он в сильном возбуждении.

— Согласен. — Ганувер посмотрел на куклу и спросил: — Ксаверий, чувствуешь ли ты что-нибудь?

Все побледнели при этом вопросе, ожидая, может быть, потрясающего «да», после чего могло наступить смятение. Автомат качнул головой и скоро проговорил:

— Я — Ксаверий, ничего не чувствую, потому что ты говоришь сам с собой.

— Вот ответ, достойный живого человека! — заметил Галуэй. — Что, что в этом болване? Как он устроен?

— Не знаю, — сказал Ганувер, — мне объясняли, так как я купил и патент, но я мало что понял. Принцип стенографии, радий, логическая система, разработанная с помощью чувствительных цифр, — вот, кажется, все, что сохранилось в моем уме. Чтобы вызвать слова, необходимо при обращении произносить «Ксаверий», иначе он молчит.

— Самолюбив, — сказал Томсон.

— И самодоволен, — прибавил Галуэй.

— И самовлюблен, — определила Дигэ. — Скажите ему что-нибудь, Ганувер, я боюсь!

— Хорошо. Ксаверий! Что ожидает нас сегодня и вообще?

— Вот это называется спросить основательно! — расхохотался Галуэй. Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами, и я услышал резкий, как скрип ставни, ответ:

— Разве я прорицатель? Все вы умрете; а ты, спрашивающий меня, умрешь первый.

При таком ответе все бросились прочь, как облитые водой.

— Довольно, довольно! — вскричала Дигэ. — Он неуч, этот Ксаверий, и я на вас сердита, Ганувер! Это непростительное изобретение.

Я выходил последним, унося на затылке ответ куклы: «Сердись на саму себя!»

— Правда, — сказал Ганувер, пришедший в заметное нервное состояние, — иногда его речи огорошивают, бывает также, что ответ невпопад, хотя редко. Так, однажды, я произнес: «Сегодня теплый день», — и мне выскочили слова: «Давай выпьем!»

Все были взволнованы.

— Ну что, Санди? Ты удивлен? — спросил Поп.

Я был удивлен меньше всех, так как всегда ожидал самых невероятных явлений и теперь убедился, что мои взгляды на жизнь подтвердились блестящим образом. Поэтому я сказал:

— Это ли еще встретишь в загадочных дворцах?!

Все рассмеялись. Лишь одна Дигэ смотрела на меня, сдвинув брови, и как бы спрашивала: «Почему ты здесь? Объясни!»

Но мной не считали нужным или интересным заниматься так, как вчера, и я скромно стал сзади. Возникли предположения идти осматривать оранжерею, где помещались редкие тропические бабочки, осмотреть также вновь привезенные картины старых мастеров и статую, раскопанную в Тибете, но после «Ксаверия» не было ни у кого настоящей охоты ни к каким развлечениям. О нем начали говорить с таким увлечением, что спорам и восклицаниям не предвиделось конца.

— У вас много монстров? — сказала Гануверу Дигэ.

— Кое-что. Я всегда любил игрушки, может быть, потому, что мало играл в детстве.

— Надо вас взять в опеку и наложить секвестр на капитал до вашего совершеннолетия, — объявил Томсон.

— В самом деле, — продолжала Дигэ, — такая масса денег на... гм... прихоти. И какие прихоти!

— Вы правы, — очень серьезно ответил Ганувер. — В будущем возможно иное. Я не знаю.

— Так спросим Ксаверия! — вскричал Галуэй.

— Я пошутила. Есть прелесть в безубыточных расточениях.

После этого вознамерились все же отправиться посмотреть тибетскую статую. От усталости я впал в одурь, плохо соображая, что делается. Я почти спал, стоя с открытыми глазами. Когда общество тронулось, я, в совершенном безразличии, пошел было за ним, но, когда его скрыла следующая дверь, я, готовый упасть на пол и заснуть, бросился к дивану, стоявшему у стены широкого прохода, и сел на него в совершенном изнеможении. Я устал до отвращения ко всему. Аппарат моих восприятий отказывался работать. Слишком много было всего! Я опустил голову на руки, оцепенел, задремал и уснул. Как оказалось впоследствии, Поп возвратился, обеспокоенный моим отсутствием, и пытался разбудить, но безуспешно. Тогда он совершил настоящее предательство — он вернул всех смотреть, как спит Санди Пруэль, сраженный богатством, на диване загадочного дворца. И, следовательно, я был некоторое время зрелищем, но, разумеется, не знал этого.

— Пусть спит, — сказал Ганувер, — это хорошо — спать. Я уважаю сон. Не будите его.

Я забежал вперед только затем, чтобы указать, как был крепок мой сон. Просто я некоторое время не существовал.

Открыв глаза, я повернулся и сладко заложил руки под щеку, намереваясь еще поспать. Меж тем, сознание тоже просыпалось, и, в то время как тело молило о блаженстве покоя, я увидел в дремоте Молли, раскалывающую орехи. Вслед нагрянуло все; холодными струйками выбежал сон из членов моих — и в оцепенении неожиданности, так как после провала воспоминание явилось в потрясающем темпе, я вскочил, сел, встревожился и протер глаза.

Был вечер, а может быть, даже ночь. Огромное лунное окно стояло перед мной. Электричество не горело. Спокойная полутьма простиралась из дверей в двери, среди теней высоких и холодных покоев, где роскошь была погружена в сон. Лунный свет проникал глубину, как бы осматриваясь. В этом смещении сумерек с неприветливым освещением все выглядело иным, чем днем — подменившим материальную ясность призрачной лучистой тревогой. Линия света, отметив по пути блеск бронзовой дверной ручки, колесо статуи, серебро люстры, расплывалась в сумраке, одна на всю мраморную даль сверкала неизвестная точка, — зеркала или металлического предмета... почему знать? Вокруг меня лежало неведение. Я встал, пристыженный тем, что был забыт, как отбившееся животное, не понимая, что только деликатность оставила спать Санди Пруэля здесь, вместо того, чтобы волочить его полужаснувшее тело через сотню дверей.

Когда мы высыпаемся, нет нужды смотреть на часы, — внутри нас, если не точно, то с уверенностью, сказано уже, что спали мы долго. Без сомнения,

мои услуги не были экстренно нужны Дюроку или Попу, иначе за мной было бы послано. Я был бы разыскан и вставлен опять в ход волнующей опасностью и любовью истории. Поэтому у меня что-то отняли, и я направился разыскивать ход вниз с чувством непоправимой потери. Я заспал указания памяти относительно направления, как шел сюда, — блуждал мрачно, наугад, и так торопясь, что не имел ни времени, ни желания любоваться обстановкой. Спросонок я зашел к балкону, затем, вывернувшись из обманчиво схожих пространств этой части здания, прошел к лестнице и, опустясь вниз, пополз на широкую площадку с запертыми кругом дверьми. Поднявшись опять, я предпринял круговое путешествие около наружной стены, стараясь видеть все время с одной стороны окна, но никак не мог найти галерею, через которую шел днем; найди я ее, можно было бы рассчитывать если не на немедленный успех, то хотя на то, что память начнет работать. Вместо этого я снова пришел к запертой двери и должен повернуть вспять или рискнуть погрузиться во внутренние проходы, где совершенно темно.

Устав, я присел и, сидя, рвался идти, но выдержал, пока не превозмог огорчения одиночества, лишившего меня стойкой сообразительности. До этого я не трогал электрических выключателей, не из боязни, что озарится все множество помещений или раздастся звон тревоги, — это приходило мне в голову вчера, — но потому, что не мог их найти. Я взял спички, светил около дверей и по нишам. Я был в прелестном углу среди мебели такого вида и такой хрупкости, что сесть на нее мог бы только чистоплотный младенец. Найдя штепсель, я рискнул его повернуть. Мало было мне пользы; хотя яркий свет сам по себе приятно освежил зрение, озарились лишь эти стены, напоминающие зеркальные пруды с отражениями сказочных перспектив. Разыскивая выключатели, я мог бродить здесь всю

ночь. Итак, оставив это намерение, я вышел вновь на поиски сообщения с низом дома и, когда вышел, услышал негромко доносящуюся сюда прекрасную музыку.

Как вкопанный я остановился: сердце мое забилося. Все заскакало во мне, и обида рванулась едва не слезами. Если до этого моя влюбленность в Дюрочка, дом Ганувера, Молли была еще накрепко заколочена, то теперь все гвозди выскочили, и чувства мои заиграли вместе с отдаленным оркестром, слышимым как бы снаружи дома. Он провозгласил торжество и звал. Я слушал, мучаясь. Одна музыкальная фраза, — какой-то отрывистый перелив флейт, — манила и манила меня, положительно она описывала аромат грусти и увлечения. Тогда взволнованный, как будто это была моя музыка, как будто все лучшее, обещаемое ее звуками, ждало только меня, я бросился, стыдясь сам не зная чего, надеясь и трепеща, разыскивать проход вниз.

В моих торопливых поисках я вышагал по неведомым пространствам, местами озаренным все выше восходящей луной, так много, так много раз останавливался, чтобы наспех сообразить направление, что совершенно закружился. Иногда, по близости к центру происходящего внизу, на который попадал случайно, музыка была слышна громче, дразня нарастающей явственностью мелодии. Тогда я приходил в еще большее возбуждение, совершая круги через все двери и повороты, где мог свободно идти. От нетерпения ныло в спине. Вдруг, с зачастившим сердцем, я услышал животрепещущий взрыв скрипок и труб прямо где-то возле себя, как мне показалось, и, миновав колонны, я увидел разрезанную сверху донизу огненной чертой портьеру. Это была лестница. Слезы выступили у меня на глазах. Весь дрожа, я отвел нетерпеливой рукой тяжелую материю, тронувшую по голове, и начал сходить вниз подгибающимися от душевной бури нога-

ми. Та музыкальная фраза, которая пленила меня среди лунных пространств, звучала теперь прямо в уши, и это было как в день славы, после морской битвы у острова Ката-Гур, когда я, много лет спустя, выходил на раскаленную набережную Ахуан-Скапа, среди золотых труб и синих цветов.

XVI

Довольно было мне сойти по этой белой, сверкающей лестнице, среди художественных видений, под сталактитами хрустальных люстр, озаряющих растения, как бы только что перенесенные из тропического леса цвести среди блестящего мрамора, — как мое настроение выровнялось по размерам происходящего. Я уже не был главным лицом, которому казалось, что его присутствие самое важное. Блуждание наверху помогло тем, что, изнервничавшийся, стремительный, я был все же не так расстроен, как могло произойти обыкновенным порядком. Я сам шел к цели, а не был введен сюда. Однако то, что я увидел, разом уперлось в грудь, уперлось всем блеском своим и стало оттеснять прочь. Я начал робеть и, изрядно оробев, остановился, как пень, посреди паркета огромной, с настоящей далью, залы, где расхаживало множество народа, мужчин и женщин, одетых во фраки и красивейшие бальные платья. Музыка продолжала играть, поднимая мое настроение из робости на его прежнюю высоту.

Здесь было человек сто пятьдесят, может быть, двести. Часть их беседовала, рассеявшись группами, часть проходила через далекие против меня двери взад и вперед, а те двери открывали золото огней и яркие глубины стен, как бы полных мерцающим голубым дымом. Но благодаря зеркалам казалось, что здесь еще много других дверей; в их чистой пустоте

отражалась вся эта зала с наполняющими ее людьми, и я, лишь всмотревшись, стал отличать настоящие проходы от зеркальных феерий. Вокруг раздавались смех, говор; сияющие женские речи, восклицания, образуя непрерывный шум, легкий шум — ветер нарядной толпы. Возле сидящих женщин,двигающих веерами и поворачивающихся друг к другу, стояли, склоняясь, как шмели вокруг ярких цветов, черные фигуры мужчин в белых перчатках, душистых, щеголеватых, веселых. Мимо меня прошла пара стройных, мускулистых людей с упрямыми лицами; цепь девушек, колеблющихся и легких, — быстрой походкой, с цветами в волосах и сверкающими нитями вокруг тонкой шеи. Направо сидела очень толстая женщина с взбитой седой прической. В круге расхохотавшихся мужчин стоял плотный, краснощекий толстяк, помахивающий рукой в кольцах; он что-то рассказывал. Слуги, опустив руки по швам, скользили среди движения гостей, лавируя и перебегая с ловкостью танцоров. А музыка, касаясь души холодом и огнем, несла все это, как ветер несет корабль, в Замечательную Страну.

Первую минуту я со скорбью ожидал, что меня спросят, что я тут делаю, и, не получив достаточного ответа, уведут прочь. Однако я вспомнил, что Ганувер назвал меня гостем, что я поэтому равный среди гостей, и, преодолев смущение, начал осматриваться, как попавшая на бал кошка, хотя не смел ни уйти, ни пройти куда-нибудь в сторону. Два раза мне показалось, что я вижу Молли, но — увы! — это были другие девушки, лишь издали похожие на нее. Лакей, пробегая с подносом, сердито прищурился, а я выдержал его взгляд с невинным лицом и даже кивнул. Несколько мужчин и женщин, проходя, взглядывали на меня так, как оглядывают незнакомого, поскользнувшегося на улице. Но я чувствовал себя глупо не с непривычки, а только потому, что был в пол-

ном неведении. Я не знал, соединился ли Ганувер с Молли, были ли объяснения, сцены, не знал, где Эстамп, не знал, что делают Поп и Дюрок. Кроме того, я никого не видел из них и в то время, как стал думать об этом еще раз, вдруг увидел входящего из боковых дверей Ганувера.

Еще в дверях, повернув голову, он сказал что-то шедшему с ним Дюроку и немедленно после того стал говорить с Дигэ, руку которой нес в сгибе локтя. К ним сразу подошло несколько человек. Седая дама, которую я считал прилепленной навсегда к своему креслу, вдруг встала, избоченясь, с быстротой гуся, и понеслась навстречу вошедшим. Группа сразу увеличилась, став самой большой из всех групп зала, и мое сердце сильно забилося, когда я увидел приближающегося к ней, как бы из зеркал или воздуха, — так неожиданно оказался он здесь, — Эстампа. Я был уверен, что сейчас явится Молли, потому что подозревал, не был ли весь день Эстамп с ней.

Поколебавшись, я двинулся из плена шумного вокруг меня движения и направился к Гануверу, став несколько позади седой женщины, говорившей так быстро, что ее огромный бюст колыхался как пара пробковых шаров, кинутых утопающему.

Ганувер был кроток и бледен. Его лицо страшно осунулось, рот стал ртом старого человека. Казалось, в нем непрерывно вздрагивает что-то при каждом возгласе или обращении. Дигэ, сняв свою руку в перчатке, складывала и раздвигала страусовый веер; ее лицо, ставшее еще красивее от смуглых голых плеч, выглядело властным, значительным. На ней был прозрачный дымчатый шелк. Она улыбалась. Дюрок первый заметил меня и, продолжая говорить с худощавым испанцем, протянул руку, коснувшись ею моего плеча. Я страшно обрадовался; вслед за тем обернулся и Ганувер, взглянув один момент рассеян-

ным взглядом, но тотчас узнал меня и тоже протянул руку, весело потрепал мои волосы. Я стал, улыбаясь из глубины души. Он, видимо, понял мое состояние, так как сказал: «Ну что, Санди, дружок?» И от этих простых слов, от его прекрасной улыбки и явного расположения ко мне со стороны людей, встреченных только вчера, вся робость моя исчезла. Я вспыхнул, покраснел и возликовал.

— Что же, поспал? — сказал Дюрок. Я снова вспыхнул. Несколько людей посмотрели на меня с забавным недоумением. Ганувер втащил меня в середину.

— Это мой воспитанник, — сказал он. — Вам, дон Эстебан, нужен будет хороший капитан лет через десять, так вот он, и зовут его Санди... э, как его, Эстамп?

— Пруэль, — сказал я, — Санди Пруэль.

— Очень самолюбив, — заметил Эстамп, — смел и решителен, как Колумб.

Испанец молча вытащил из бумажника визитную карточку и протянул мне, сказав:

— Через десять лет, а если я умру, мой сын — даст вам какой-нибудь пароход.

Я взял карточку и, не посмотрев, сунул в карман. Я понимал, что это шутка, игра, у меня явилось желание поддержать честь старого, доброго кондотьера, каким я считал себя в тайниках души.

— Очень приятно, — заявил я, кланяясь с наивозможной грацией. — Я посмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, то оставлю сына, чтобы он мог прочесть, что там написано.

Все рассмеялись.

— Вы не ошиблись! — сказал дон Эстебан Гануверу.

— О! ну, нет, конечно, — ответил тот, и я был оставлен, — при триумфе и сердечном веселье. Группа перешла к другому концу зала. Я повернулся,

еще первый раз свободно вздохнув, прошел между всем обществом, как дикий мустанг среди нервных павлинов, и уселся в углу, откуда был виден весь зал, но где никто не мешал думать.

Вскоре увидел я Томсона и Галуэя с тремя дамами, в отличном расположении духа. Галуэй, дергая щекой, заложив руки в карманы и покачиваясь на носках, говорил и смеялся. Томсон благосклонно вслушивался; одна дама, желая перебить Галуэя, трогала его по руке сложенным веером, две другие, переглядываясь между собой, время от времени хохотали. Итак, ничего не произошло. Но что же было с Молли — девушкой Молли, покинувшей сестру, чтобы сдержать слово, с девушкой, которая милее и краше всех, кого я видел в этот вечер, должна была радоваться и сиять здесь и идти под руку с Ганувером, стыдясь себя и счастья, от которого хотела отречься, боясь чего-то, что может быть страшно лишь женщине? Какие причины удержали ее? Я сделал три предположения: Молли раздумала и вернулась; Молли больна и — Молли у ж е б ы л а.— «Да, она была,— говорил я, волнуясь, как за себя, — и ее объяснения с Ганувером не устояли против Дигэ. Он изменил ей. Поэтому он страдает, пережив сцену, глубоко всколыхнувшую его, но бессильную вновь засветить солнце над его помраченной душой». Если бы я знал, где она теперь, то есть будь она где-нибудь близко, я, наверно, сделал бы одну из своих сумасшедших штук, — пошел к ней и привел сюда; во всяком случае, попытался бы привести. Но, может быть, произошло такое, о чем нельзя догадаться. А вдруг она умерла и от Ганувера все скрыто!

Как только я это подумал, страшная мысль стала неотвязно вертеться, тем более, что немногое, известное мне в этом деле, оставляло обширные пробелы, допускающие любое предположение. Я видел Лемарена; этот сорт людей был мне хорошо знаком,

и я знал, как изобретательны хулиганы, одержимые манией или корыстью. Решительно, мне надо было увидеть Попа, чтобы успокоиться.

Сам себе не отдавая в том отчета, я желал радости в сегодняшней вечер не потому только, что хотел счастливой встречи двух рук, разделенных сложными обстоятельствами, — во мне подымалось требование торжества, намеченного человеческой волей и страстным желанием, таким красивым в этих необычайных условиях. Дело обстояло и разворачивалось так, что никакого другого конца, кроме появления Молли, — появления, опрокидывающего весь темный план, — веселого плеска майского серебряного ручья, — я ничего не хотел, и ничто другое не могло служить для меня оправданием тому, в чем, согласно неисследованным законам человеческих встреч, я принял невольное, хотя и поверхностное участие.

Не надо, однако, думать, что мысли мои в то время выразились такими словами, — я был тогда еще далек от привычного искусства взрослых людей, — обводить чертой слова мелькающие, как пена, образы. Но они не остались без выражения; за меня мир мой душевный выражала музыка скрытого на хорах оркестра, зовущая Замечательную Страну.

Да, всего только за двадцать четыре часа Санди Прузль вырос, подобно растению индийского мага, посаженному семенем и через тридцать минут распускающему зеленые листья. Я был старше, умнее, — тише. Я мог бы, конечно, с великим удовольствием сесть и играть, катая вареные крутые яйца, каковая игра называется «съешь скорлупку», — но мог также уловить суть несказанного в сказанном. Мне, положительно, был необходим Поп, но я не смел еще бродить, где хочу, отыскивая его, и когда он, наконец, подошел, заметив меня случайно, мне как бы

подали напиток после соленого. Он был во фраке, перчатках, выглядя оттого по-новому, но мне было все равно. Я вскочил и пошел к нему.

— Ну, вот, — сказал Поп и, слегка оглянувшись, тихо прибавил, — сегодня произойдет нечто. Вы увидите. Я не скрываю от вас, потому что возбужден, и вы много сделали нам. Приготовьтесь: еще неизвестно, что может быть.

— Когда? Сейчас?

— Нет. Больше я ничего не скажу. Вы не в претензии, что вас оставили выпасться?

— Поп, — сказал я, не обращая внимания на его рассеянную шутливость, — дорогой Поп, я знаю, что спрашиваю глупо, но... но... я имею право. Я думаю так. Успокойте меня и скажите: что с Молли?

— Ну что вам Молли?! — сказал он, смеясь и пожимая плечами. — Молли, — он сделал ударение, — скоро будет Эмилия Ганувер, и мы пойдем к ней пить чай. Не правда ли?

— Как! Она здесь?

— Нет.

Я молчал с сердитым лицом.

— Успокойтесь, — сказал Поп, — не надо так волноваться. Все будет в свое время. Хотите мороженого?

Я не успел ответить, как он задержал шествующего с подносом Паркера, крайне озабоченное лицо которого говорило о том, что вечер по-своему отразился в его душе, сбив с ног.

— Паркер, — сказал Поп, — мороженого мне и Санди, большие порции.

— Слушаю, — сказал старик, теперь уже с чрезвычайно оживленным, даже заинтересованным видом, как будто в требовании мороженого было все дело этого вечера. — Какого же? Земляничного, апельсинового, фисташкового, розовых лепестков, сливочного, ванильного, крем-брюле или...

— Кофейного, — перебил Поп. — А вам, Санди?

Я решил показать «бывалость» и потребовал ананасового, но — увы! — оно было хуже кофейного, которое я попробовал из хрустальной чашки у Попа. Пока Паркер ходил, Поп называл мне имена некоторых людей, бывших в зале, но я все забыл. Я думал о Молли и своем чувстве, зовущем в Замечательную Страну.

Я думал также: как просто, как великодушно по отношению ко мне было бы Попу, — еще днем, когда мы ели и пили, — сказать: «Санди, вот какое у нас дело...» — и ясным языком дружеского доверия посвятить меня в рыцари запутанных тайн. Осторожность, недолгое знакомство и все прочее, что могло Попу мешать, я отбрасывал, даже не трудясь думать об этом, — так я доверял сам себе.

Поп молчал, потом от великой щедрости воткнул в распухшую мою голову последнюю загадку.

— Меня не будет за столом, — сказал он, — очень вас прошу, не спрашивайте о причинах этого вслух и не ищите меня, чтобы на мое отсутствие было обращено как можно меньше внимания.

— Я не так глуп, — ответил я с обидой, бывшей еще острее от занывшего в мороженом зуба, — не так я глуп, чтобы говорить мне это, как маленькому.

— Очень хорошо, — сказал он сухо и ушел, бросив меня среди рассеявшихся вокруг этого места привлекательных, но ненужных мне дам, и я стал пересаживаться от них, пока не очутился в самом углу. Если бы я мог сосчитать количество удивленных взглядов, брошенных на меня в тот вечер разными людьми, — их, вероятно, хватило бы, чтобы заставить убежать с трибуны самого развязного оратора. Что до этого?! Я сидел, окруженный спинами с белыми и розовыми вырезами, вдыхал тонкие духи и разглядывал полы фраков, мешающие видеть движение в зале.

Моя мнительность обострилась припадком страха, что Поп расскажет о моей грубости Гануверу и меня не пустят к столу; ничего не увидев, всеми забытый, отверженный, я буду бродить среди огней и цветов, затем Томсон выстрелит в меня из тяжелого револьвера, и я, испуская последний вздох на руках Дюрока, скажу плачущей надо мной Молли: «Не плачьте. Санди умирает, как жил, но он никогда не будет спрашивать вслух, где ваш щеголеватый Поп, потому что я воспитан морем, обучающим молчанию».

Так торжественно прошла во мне эта сцена и так разволновала меня, что я хотел уже встать, чтобы отправиться в свою комнату, потянуть шнурок стенового лифта и сесть мрачно вдвоем с бутылкой вина. Вдруг появился человек в ливрее с галунами и что-то громко сказал. Движение в зале изменилось. Гости потекли в следующую залу, сверкающую голубым дымом, и, став опять любопытен, я тоже пошел среди легкого шума нарядной оживленной толпы, изредка и не очень скандально сталкиваясь с соседями по шествию.

XVII

Войдя в голубой зал, где на великолепном паркете отражались огни люстр, а также и мои до колен ноги, я прошел мимо оброненной розы и поднял ее на счастье, что если в цветке будет четное число лепестков, я увижу сегодня Молли. Обрывая их в зажатую горсть, чтобы не сорить, и спотыкаясь среди тренов, я заметил, что на меня смотрит пара черных глаз с румяного кокетливого лица. «Любит, не любит, — сказала мне эта женщина, — как у вас вышло?» Ее подруги окружили меня, и я поспешно сунул руку в карман, озираясь, среди красавиц, поднявших Санди, правда, очень мило, — на смех. Я сказал: «Ничего не вышло», — и должно быть, был уныл при этом, так как меня оста-

вили, сунув в руку еще цветок, который я машинально положил в тот же карман, дав вдруг от большой злости клятву никогда не жениться.

Я был сбит, но скоро оправился и стал осматриваться, куда попал. Между прочим, я прошел три или четыре двери. Если была очень велика первая зала, то эту я могу назвать по праву — громадной. Она была обита зеленым муаром, с мраморным полом, углубления которого тонкой причудливой резьбы были заполнены отполированным серебром. На стенах отсутствовали зеркала и картины; от потолка к полу они были вертикально разделены, в равных расстояниях, лиловым багетом, покрытым мельчайшим серебряным узором. Шесть люстр висело по одной линии, проходя серединой потолка, а промежутки меж люстр и углы зала блестели живописью. Окон не было, других дверей тоже не было; в нишах стояли статуи. Все гости, вошедши сюда, помельчали ростом, как если бы я смотрел с третьего этажа на площадь, — так высок и просторен был размах помещения. Добрую треть пространства занимали столы, накрытые белейшими, как пена морская, скатертями; столы-сады, так как все они сияли ворохами свежих цветов. Столы, или, вернее, один стол в виде четырехугольника, пустого внутри, с проходами внутрь на узких концах четырехугольника, образовывал два прямоугольных «С», обращенных друг к другу и не совсем плотно сомкнутых. На них сплошь, подобно узору цветных камней, сверкали огни вин, золото, серебро и дивные вазы, выпускающие среди редких плодов зеленую тень ползучих растений, завитки которых лежали на скатерти. Вокруг столов ждали гостей легкие кресла, обитые оливковым бархатом. На равном расстоянии от углов столового четырехугольника высоко вздымались витые бронзовые колонны с гигантскими канделябрами, и в них горели настоящие свечи. Свет был так силен, что в

самом отдаленном месте я различал с точностью черты людей; можно сказать, что от света было жарко глазам.

Все усаживались, шумя платьями и движением стульев; стоял рокот, обвеянный гулким эхом. Вдруг какое-нибудь одно слово, отчетливо вырвавшись из гула, явственно облетало стены. Я пробирался к тому месту, где видел Ганувера с Дюроком и Дигэ, но как ни искал, не мог заметить Эстампа и Попа. Ища глазами свободного места на этом конце стола — ближе к двери, которой вошел сюда, я видел много еще не занятых мест, но скорее дал бы отрубить руку, чем сел сам, боясь оказаться вдали от знакомых лиц. В это время Дюрок увидел меня и, покинув беседу, подошел с ничего не значащим видом.

— Ты сядешь рядом со мной, — сказал он, — поэтому сядь на то место, которое будет от меня слева, — сказав это, он немедленно удалился, и в скором времени, когда большинство уселось, я занял кресло перед столом, имея по правую руку Дюрока, а по левую — высокую, тощую, как жердь, даму лет сорока с лицом рыжего худого мужчины и такими длинными ногтями мизинцев, что, я думаю, она могла смело обходиться без вилки. На этой даме бриллианты висели, как смородина на кусте, а острый голый локоть чувствовался в моем боку даже на расстоянии.

Ганувер сел напротив, будучи от меня наискось, а против него между Дюроком и Галуэем поместилась Дигэ. Томсон сидел между Галуэем и тем испанцем, карточку которого я собирался рассмотреть через десять лет.

Вокруг меня не прерывался разговор. Звук этого разговора перелетал от одного лица к другому, от одного к двум, опять к одному, трем, двум и так беспрерывно, что казалось, все говорят, как инструмен-

ты оркестра, развивая каждый свои ноты — слова. Но я ничего не понимал. Я был обескуражен стоящим передо мной прибором. Его надо было бы поставить в музей под стеклянный колпак. Худая дама, приложив к глазам лорнет, тщательно осмотрела меня, вогнав в робость, и что-то сказала, но я, ничего не поняв, ответил: «Да, это так». Она больше не заговаривала со мной, не смотрела на меня, и я был от души рад, что чем-то ей не понравился. Вообще я был как в тумане. Тем временем, начиная разбираться в происходящем, то есть принуждая себя замечать отдельные черты действия, я видел, что вокруг столов катятся изящные позолоченные тележки на высоких колесах, полные блестящей посуды, из-под крышек которой вьется пар, а под дном горят голубые огни спиртовых горелок. Моя тарелка исчезла и вернулась из откуда-то взявшейся в воздухе руки, — с чем? Надо было съесть это, чтобы узнать. Запахло такой гастрономией, такими хитростями кулинарии, что казалось, стоит съесть немного, как опьянеешь от одного возбуждения при мысли, что ел это ароматическое искусство. И вот, как, может быть, ни покажется странным, меня вдруг захлестнул зверский мальчишеский голод, давно накопившийся среди подавляющих его впечатлений; я осушил высокий прозрачный стакан с черным вином, обрел самого себя и съел дважды все без остатка, почему тарелка вернулась полная в третий раз. Я оставил ее стоять и снова выпил вина. Со всех сторон видел я подносимые к губам стаканы и бокалы. Под потолком в другом конце зала с широкого балкона грянул оркестр и продолжал тише, чем шум стола, напоминая о блистающей Стране.

В это время начали бить невидимые часы, ясно и медленно пробило одиннадцать, покрыв звуком все, — шум и оркестр. В разговоре, от меня справа, прозвучало слово «Эстамп».

— Где Эстамп? — сказал Ганувер Дюроку. — После обеда он вдруг исчез и не появлялся. А где Поп?

— Не далее, как полчаса назад, — ответил Дюрок, — Поп жаловался мне на невыносимую мигрень и, должно быть, ушел прилечь. Я не сомневаюсь, что он явится. Эстампа же мы вряд ли дождемся.

— Почему?

— А... потому, что я видел его... тэт-а-тэт...

— Т-так, — сказал Ганувер, потускнев, — сегодня все уходят, начиная с утра. Появляются и исчезают. Вот еще нет капитана Орсуну. А я так ждал этого дня...

В это время подлетел к столу толстый черный человек с бритым, круглым лицом, холеным и загорелым.

— Вот я, — сказал он, — не трогайте капитана Орсуну. Ну, слушайте, какая была история! У нас завелись феи!

— Как, — феи?! — сказал Ганувер. — Слушайте, Дюрок, это забавно!

— Следовало привести фею, — заметила Дигэ, делая глоток из узкого бокала.

— Понятно, что вы опоздали, — заметил Галуэй. — Я бы совсем не пришел.

— Ну, да, — вы, — сказал капитан, который, видимо, торопился поведать о происшествии. В одну секунду он выпил стакан вина, ковырнул вилкой в тарелке и стал чистить грушу, помахивая ножом и приподнимая брови, когда, рассказывая, удивлялся сам. — Вы — другое дело, а я, видите, очень занят. Так вот, я отвел яхту в док и возвращался на катере. Мы плыли около старой дамбы, где стоит заколоченный павильон. Было часов семь, и солнце садилось. Катер шел близко к кустам, которыми поросла дамба от пятого бакена до Ледяного Ручья. Когда я поравнялся с южным углом павильона, то случай-

но взглянул туда и увидел среди кустов, у самой воды, прекрасную молодую девушку в шелковом белом платье, с голыми руками и шеей, на которой сияло пламенное жемчужное ожерелье. Она была босиком...

— Босиком, — вскричал Галуэй, в то время как Ганувер, откинувшись, стал вдруг напряженно слушать. Дюрок хранил любезную, непроницаемую улыбку, а Дигэ слегка приподняла брови и весело свела их в улыбку верхней части лица. Все были заинтересованы.

Капитан, закрыв глаза, категорически помотал головой и с досадой вздохнул.

— Она была босиком, — это совершенно точное выражение, и туфли ее стояли рядом, а чулки висели на ветке, — ну право же, очень миленькие чулочки, — паутина и блеск. Фея держала ногу в воде, придерживаясь руками за ствол орешника. Другая ее нога, — капитан метнул Дигэ покаянный взгляд, прервав сам себя, — прошу прощения, — другая ее нога была очень мала. Ну, разумеется, та, что была в воде, не выросла за одну минуту...

— Нога... — перебила Дигэ, рассматривая свою тонкую руку.

— Да. Я сказал, что виноват. Так вот, я крикнул: «Стоп! Задний ход!» И мы остановились, как охотничья собака перед перепелкой. Я скажу, берите кисть, пишите ее. Это была фея, клянусь честью! — «Послушайте, — сказал я, — кто вы?»... Катер обогнул кусты и предстал перед ее — не то чтобы недовольным, но я сказал бы, — не желающим чего-то лицом. Она молчала и смотрела на нас, я сказал: «Что вы здесь делаете?» Представьте, ее ответ был такой, что я перестал сомневаться в ее волшебном происхождении. Она сказала очень просто и вразумительно, но голосом, — о, какой это красивый был голос! — не простого человека был голос, голос был...

— Ну, — перебил Томсон, с характерной для него резкой тишиной тона, — кроме голоса, было еще что-нибудь?

Разгоряченный капитан нервно отодвинул свой стакан.

— Она сказала, — повторил капитан, у которого покраснели виски, — вот что: «Да, у меня затекла нога, потому что эти каблуки выше, чем я привыкла носить». Все! А? — он хлопнул себя обеими руками по коленям и спросил: — Каково? Какая барышня ответит так в такую минуту? Я не успел влюбиться, потому что она, грациозно присев, собрала свое хозяйство и исчезла.

И капитан принялся за вино.

— Это была горничная, — сказала Дигэ, — но так как солнце садилось, его эффект подействовал на вас субъективно.

Галуэй что-то промышчал. Вдруг все умолкли, — чье-то молчание, наступив внезапно и круто, закрыло все рты. Это умолк Ганувер, и до того почти не проронивший ни слова, а теперь молчавший с странным взглядом и бледным лицом, по которому стекал пот. Его глаза медленно повернулись к Дюроку и остановились, но в ответившем ему взгляде был только спокойный свет.

Ганувер вздохнул и рассмеялся, очень громко и, пожалуй, несколько дольше, чем переносят весы нервного такта.

— Орсуна, радость моя, капитан капитанов! — сказал он. — На мысе Гардена с тех пор, как я купил у Траулера этот дом, поселилось столько народа, что женское население стало очень разнообразно. Ваша фея Маленькой Ноги должна иметь папу и маму; что касается меня, то я не вижу здесь пока другой феи, кроме Дигэ Альвавиз, но и та не может исчезнуть, я думаю.

— Дорогой Эверест, ваше «пока» имеет не совсем

точный смысл, — сказала красавица, владея собой как нельзя лучше и, по-видимому, не придавая никакого значения рассказу Орсуны.

Если был в это время за столом человек, боявшийся обратить внимание на свои пылающие щеки, — то это я. Сердце мое билось так, что вино в стакане, который я держал, вздрагивало толчками. Без всяких доказательств и объяснений я знал уже, что и капитан видел Молли и что она будет здесь здоровая и нетронутая, под защитой верного друзьям Санди.

Разговор стал суше, нервнее, затем перешел в град шуток, которыми осыпали капитана. Он сказал:

— Я опоздал по иной причине. Я ожидал возвращения жены с поездом десять двенадцать, но она, как я теперь думаю, придет завтра.

— Очень жаль, — сказал Ганувер, — а я надеялся увидеть вашу милую Бетси. Надеюсь, фея не повредила ей в вашем сердце?

— Хо! Конечно, нет.

— Глаз художника и сердце бульдога! — сказал Галуэй.

Капитан шумно откашлялся.

— Не совсем так. Глаз бульдога в сердце художника. А впрочем, я налью себе еще этого превосходного вина, от которого делается сразу четыре глаза.

Ганувер посмотрел в сторону. Тотчас подбежал слуга, которому было отдано короткое приказание. Не прошло минуты, как три удара в гонг связали шум, и стало если не совершенно тихо, то довольно покойно, чтоб говорить. Ганувер хотел говорить, — я видел это по устремленным на него взглядам; он выпрямился, положив руки на стол ладонями вниз, и приказал оркестру молчать.

— Гости! — произнес Ганувер так громко, что было всем слышно; отчетливый резонанс этой огромной залы позволял в меру напрягать голос. — Вы — мои гости, мои приятели и друзья. Вы оказали мне

честь посетить мой дом в день, когда четыре года назад я ходил еще в сапогах без подошв и не знал, что со мной будет.

Ганувер замолчал. В течение этой сцены он часто останавливался, но без усилия или стеснения, а как бы к чему-то прислушиваясь, — и продолжал так же спокойно:

— Многие из вас приехали пароходом или по железной дороге, чтобы доставить мне удовольствие провести с вами несколько дней.

Я, вижу лица, напоминающие дни опасности и веселья, случайностей, походов, тревог, дел и радостей.

Под вашим начальством, Том Клертон, я служил в таможне Сан-Риоля, и вы бросили службу, когда я был несправедливо обвинен капитаном «Терезы» в попустительстве другому пароходу — «Орландо».

Амелия Корниус! Четыре месяца вы давали мне в кредит комнату, завтрак и обед, и я до сих пор не заплатил вам, — по малодушию или легкомыслию, — не знаю, но не заплатил. На днях мы выясним этот вопрос.

Вильям Вильямсон! На вашей вилле я выздоровел от тифа, и вы каждый день читали мне газеты, когда я после кризиса не мог поднять ни головы, ни руки.

Люк Арадан! Вы, имея дело с таким неврастеником-миллионером, как я, согласились взять мой капитал в свое ведение, избавив меня от деловых мыслей, жестов, дней, часов и минут, и в три года увеличили основной капитал в тридцать семь раз.

Генри Токвиль! Вашему банку я обязан удачным залогом, сохранением секрета и возвращением золотой цепи.

Лейтенант Глаудис! Вы спасли меня на охоте, когда я висел над пропастью, удерживаясь сам не знаю за что.

Георг Барк! Вы бросились за мной в воду с борта «Индианы», когда я упал туда во время шторма вблизи Адена.

Леон Дегуст! Ваш гений воплотил мой лихорадочный бред в строгую и прекрасную конструкцию того здания, где мы сидим. Я встаю приветствовать вас и поднимаю этот бокал за минуту гневного фырканья, с которым вы первоначально выслушали меня, и высмеяли, и багровели четверть часа; наконец, сказали: «Честное слово, об этом стоит подумать. Но только я припишу на доске у двери: архитектор Дегуст, временно помешавшись, просит здравые умы не беспокоить его месяца три».

Смотря в том направлении, куда глядел Ганувер, я увидел старого безобразного человека с надменным выражением толстого лица и иронической бровью; выслушав, Дегуст грузно поднялся, уперся ладонями в стол и, посмотрев вбок, сказал:

— Я очень польщен.

Выговорив эти три слова, он сел с видом крайнего облегчения. Ганувер засмеялся.

— Ну, — сказал он, вынимая часы, — назначено в двенадцать, теперь без пяти минут полночь. — Он задумался с остывшей улыбкой, но тотчас встрепенулся: — Я хочу, чтобы не было на меня обиды у тех, о ком я не сказал ничего, но вы видите, что я все хорошо помню. Итак, я помню обо всех все, — все встречи и разговоры; я снова пережил прошлое в вашем лице, и я так же в нем теперь, как и тогда. Но я должен еще сказать, что деньги дали мне возможность осуществить мою манию. Мне не объяснить вам ее в кратких словах. Вероятно, страсть эта может быть названа так: могущество жеста. Еще я представлял себе второй мир, существующий за стеной, тайное в явном; непоколебимость строительных громад, которой я могу играть давлением пальца. И, — я это понял недавно, — я ждал, что, осущест-

стив прихоть, ставшую прямой потребностью, я, в глубине тайных зависимостей наших от формы, найду равное ее сложности содержание. Едва ли мои забавы ума, имевшие, однако, неодолимую власть над душой, были бы осуществлены в той мере, как это сделал по моему желанию Дегуст, если бы не обещание, данное мной... одному лицу — дело относится к прошлому. Тогда мы, два нищих, сидя под крышей заброшенного сарая, на земле, где была закопана нами грудка чистого золота, в мечтах своих, естественно, ограбили всю Шехерезаду. Это лицо, о судьбе которого мне теперь ничего не известно, обладало живым воображением и страстью обставлять дворцы по своему вкусу. Должен сознаться, я далеко отставал от него в искусстве придумывать. Оно побило меня такими картинами, что я был в восторге. Оно говорило: «Уж если мечтать, то мечтать»...

В это время начало бить двенадцать.

— Дигэ, — сказал Ганувер, улыбаясь ей с видом заговорщика, — ну-ка, потряхните стариной Али-Бабы и его сорока разбойников!

— Что же произойдет? — закричал любопытный голос с другого конца стола.

Дигэ встала, смеясь.

— Мы вам покажем! — заявила она, и если волновалась, то нельзя ничего было заметить. — Откровенно скажу, я сама не знаю, что произойдет. Если дом станет летать по воздуху, держитесь за стулья!

— Вы помните — как?.. — сказал Ганувер Дигэ.

— О, да. Вполне.

Она подошла к одному из огромных канделябров, о которых я уже говорил, и протянула руку к его позолоченному стволу, покрытому ниспадающими выпуклыми полосками. Всмотревшись, чтобы не ошибиться, Дигэ нашла и отвела вниз одну из этих полосок. Ее взгляд расширился, лицо слегка дрогнуло,

не удержавшись от мгновения торжества, блеснувшего затаенной чертой. И — в то самое мгновение, когда у меня авансом стала кружиться голова, — все осталось, как было, на своем месте. Еще некоторое время бил по нервам тот внутренний счет, который ведет человек, если курок дал осечку, ожидая запоздавшего выстрела, затем поднялись шум и смех.

— Снова! — закричал дон Эстебан.

— Штраф, — сказал Орсуна.

— Нехорошо дразнить маленьких! — заметил Галуэй.

— Фу, как это глупо! — вскричала Дигэ, топнув ногой. — Как вы зло шутите, Ганувер!

По ее лицу пробежала нервная тень; она решительно отошла, сев на свое место и кусая губы.

Ганувер рассердился. Он вспыхнул, быстро встал и сказал:

— Я не виноват. Наблюдение за исправностью поручено Попу. Он будет призван к ответу. Я сам...

Досадуя, как это было заметно по его резким движениям, он подошел к канделябру, двинул металлический завиток и снова отвел его. И, повинувшись этому незначительному движению, все стены залы, кругом, вдруг отделились от потолка пустой, светлой чертой и, разом погрузясь в пол, исчезли. Это произошло бесшумно. Я закачался. Я, вместе с сиденьем, как бы поплыл вверх.

XVIII

К тому времени я уже бессознательно твердил: «Молли не будет», — испытав душевную пустоту и трезвую горечь последнего удара часов, вздрагивая перед тем от каждого восклицания, когда мне чудилось, что появились новые лица. Но падение стен, причем это совершилось так безупречно плавно, что

не заколебалось даже вино в стакане, — выколотило из меня все чувства одним ужасным ударом. Мне казалось, что зала взметнулась на высоту, среди сказочных колоннад. Все, кто здесь был, вскрикнули; испуг и неожиданность заставили людей повскакать. Казалось, взревели незримые трубы; эффект подействовал как обвал и обернулся сиянием сказочно яркой силы, — так резко засияло оно.

Чтобы изобразить зрелище, открывшееся в темпе апоплексического удара, я вынужден применить свое позднейшее знание искусства и материала, двинутых Ганувером из небытия в атаку собрания. Мы были окружены колоннадой черного мрамора, отраженной прозрачной глубиной зеркала, шириной не менее двадцати футов и обходящего пол бывшей залы мнимым четырехугольным провалом. Ряды колонн, по четыре в каждом ряду, были обращены флангом к общему центру и разделены проходами одинаковой ширины по всему их четырехугольному строю. Цоколи, на которых они стояли, были высоки и массивны. Меж колонн сыпались один выше другого искрящиеся водяные стебли фонтанов, — три струи на каждый фонтан, в падении они имели вид изогнутого пера. Все это, повторенное прозрачным отражающим низом, стояло как одна светлая глубина, выложенная вверху и внизу взаимно опрокинутой колоннадой. Линия отражения, находясь в одном уровне с полом залы и полами пространств, которые сверкали из-за колонн, придавала основе зрелища видимость ковров, разостланных в воздухе. За колоннами, в свете хрустальных ламп вишневого цвета, бросающих на теплую белизну перламутра и слоновой кости отсвет зари, стояли залы-видения. Блеск струился, как газ. Перламутр, серебро, белый янтарь, мрамор, гигантские зеркала и гобелены с бисерной глубиной в бледном тумане рисунка странных пейзажей; мебель, прихотливее и прелестнее воздуш-

ных гирлянд в лунную ночь, не вызывала даже желания рассмотреть подробности. Задуманное и явленное, как хор, действующий согласием множества голосов, это артистическое безумие сияло из-за черного мрамора, как утро сквозь ночь.

Между тем дальний от меня конец залы, под галереей для оркестра, выказывал зрелище, где его творец сошел из поражающей красоты к удовольствию точного и законченного впечатления. Пол был застлан сплошь белым мехом, чистым, как слой первого снега. Слева сверкал камин литого серебра с узором из малахита, а стены, от карниза до пола, скрывал плющ, пропуская блеск овальных зеркал ковром темно-зеленых листьев; внизу, на золоченой решетке, обходящей три стены, вился желтый узор роз. Эта комната или маленькая зала, с белым матовым светом одной люстры, — настоящего жемчужного убора из прозрачных шаров, свесившихся опрокинутым конусом, — совершенно остановила мое внимание; я засмотрелся в ее прекрасный уют, и, обернувшись наконец взглянуть, нет ли еще чего сзади меня, увидел, что Дюрок встал, протянув руку к дверям, где на черте входа остановилась девушка в белом и гибком, как она сама, платье, с разгоревшимся, нервно спокойным лицом, храбро устремив взгляд прямо вперед. Она шла, закусив губку, вся — ожидание. Я не узнал Молли, — так преобразилась она теперь: но тотчас схватило в горле, и все, кроме нее, пропало. Как безумный, я закричал:

— Смотрите, смотрите! Это Молли! Она пришла! Я знал, что придет!

Ужасен был взгляд Дюрока, которым он хватил меня, как жезлом. Ганувер, побледнев, обернулся, как на пружинах, и все, кто был в зале, немедленно посмотрели в эту же сторону. С Молли появился Эстамп; он только взглянул на Ганувера и отошел. Наступила чрезвычайная тишина, — совершенное

отсутствие звука, и в тишине этой, оброненное или стукнутое, тонко прозвенело стекло.

Все стояли по шею в воде события, нахлынувшего внезапно. Ганувер подошел к Молли, протянув руки, с забывшимся и диким лицом. На него было больно смотреть, — так вдруг ушел он от всех к одной, которую ждал. «Что случилось?» — прозвучал осторожный шепот. В эту минуту оркестр, мягко двинув мелодию, дал знать, что мы прибыли в Замечательную Страну.

Дюрок махнул рукой на балкон музыкантам с такой силой, как будто швырнул камнем. Звуки умолкли. Ганувер взял приподнятую руку девушки и тихо посмотрел ей в глаза.

— Это вы, Молли? — сказал он, оглядываясь с улыбкой.

— Это я, милый, я пришла, как обещала. Не грустите теперь!

— Молли, — он хрипло вздохнул, держа руку у горла, потом притянул ее голову и поцеловал в волосы. — Молли! — повторил Ганувер. — Теперь я буду верить всему! — Он обернулся к столу, держа в руке руку девушки, и сказал: — Я был очень беден. Вот моя невеста, Эмилия Варрен. Я не владею собой. Я не могу больше владеть собой, и вы не осудите меня.

— Это и есть фея! — сказал капитан Орсун. — Клянусь, это она!

Дрожащая рука Галуэя, укрепившего монокль, резко упала на стол.

Дигэ, опустив внимательный взгляд, которым осматривала вошедшую, встала, но Галуэй усадил ее сильным, грубым движением.

— Не смей! — сказал он. — Ты будешь сидеть.

Она опустила с презрением и тревогой, холодно двинув бровью. Томсон, прикрыв лицо рукой, сидел, как тая хлебный шарик. Я все время стоял. Стояли также Дюрок, Эстамп, капитан и многие из гостей. На празд-

ник, как на луг, легла тень. Началось движение, некоторые вышли из-за стола, став ближе к нам.

— Это — вы? — сказал Ганувер Дюроку, указывая на Молли.

— Нас было трое, — смеясь, ответил Дюрок. — Я, Санди, Эстамп.

Ганувер сказал:

— Что это... — Но его голос оборвался. — Ну, хорошо, — продолжал он, — сейчас не могу я благодарить. Вы понимаете. Оглянитесь, Молли, — заговорил он, ведя рукой вокруг, — вот все то, как вы строили на берегу моря, как это нам представлялось тогда. Узнаете ли вы теперь?

— Не надо... — сказала Молли, потом рассмеялась. — Будьте спокойнее. Я очень волнуюсь.

— А я? Простите меня! Если я помешаюсь, это так и должно быть. Дюрок! Эстамп! Орсуна! Санди, плут! И ты тоже молчал, — вы все меня подожгли с четырех концов! Не сердитесь, Молли! Молли, скажите что-нибудь! Кто же мне объяснит все?

Девушка молча сжала и потрясла его руку, мужественно обнажая этим свое сердце, которому пришлось испытать так много за этот день. Ее глаза были полны слез.

— Эверест, — сказал Дюрок, — это еще не все!

— Совершенно верно, — с вызовом откликнулся Галуэй, вставая и подходя к Гануверу. — Кто, например, объяснит мне кое-что непонятное в деле моей сестры, Дигэ Альвавиз? Знает ли эта девушка?

— Да, — растерявшись, сказала Молли, взглядывая на Дигэ, — я знаю. Но ведь я — здесь.

— Наконец, избавьте меня... — произнесла Дигэ, вставая, — от какой бы то ни было вашей позы, Галуэй, по крайней мере, в моем присутствии.

— Август Тренк, — сказал, прихлопывая всех, Дюрок Галуэю, — я объясню, что случилось. Ваш товарищ, Джек Гаррисон, по прозвищу «Вас-ис-дас» и ва-

ша любовница Этель Мейер должны понять мой намек или признать меня довольно глупым, чтобы уметь объяснить положение. Вы проиграли!

Это было сказано громко и тяжело. Все оцепенели. Гости, покинув стол, собрались тучей вокруг налетевшего действия. Теперь мы стояли среди толпы.

— Что это значит? — спросил Ганувер.

— Это финал! — вскричал, выступая, Эстамп. — Три человека собрались ограбить вас под чужим именем. Каким образом, — вам известно.

— Молли, — сказал Ганувер, вздрогнув, но довольно спокойно, — и вы, капитан Орсун! Прошу вас, уведите ее. Ей трудно быть сейчас здесь.

Он передал девушку, послушную, улыбающуюся, в слезах, мрачному капитану, который спросил: «Голубушка, хотите, посидим с вами немного?» — и увел ее. Уходя, она приостановилась, сказав: «Я буду спокойной. Я все объясню, все расскажу вам, — я вас жду. Простите меня!»

Так она сказала, и я не узнал в ней Молли из бордингауза. Это была девушка на своем месте, потрясенная, но стойкая в тревоге и чувстве. Я подивился также самообладанию Галуэя и Дигэ; о Томсоне трудно сказать что-нибудь определенное: услышав, как заговорил Дюрок, он встал, заложил руки в карманы и свистнул.

Галуэй поднял кулак в уровень с виском, прижал к голове и резко опустил. Он растерялся лишь на одно мгновение. Шевеля веером у лица, Дигэ безмолвно смеялась, продолжая сидеть. Дамы смотрели на нее, кто в упор, с ужасом, или через плечо, но она, как бы не замечая этого оскорбительного внимания, следила за Галуэем.

Галуэй ответил ей взглядом человека, получившего удар по щеке.

— Канат лопнул, сестричка! — сказал Галуэй.

— Ба! — произнесла она, медленно вставая, и, приторно зевнув, обвела бессильно высокомерным взгля-

дом толпу лиц, взиравших на сцену с молчаливой тревогой.

— Дигэ, — сказал Ганувер, — что это? Правда? Она пожала плечами и отвернулась.

— Здесь Бен Дрек, переодетый слугой, — заговорил Дюрок. — Он установил тождество этих людей с героями шантажной истории в Ледингенте. Дрек, где вы? Вы нам нужны!

Молодой слуга, с черной прядью на лбу, вышел из толпы и весело кивнул Галуэю.

— Алло, Тренк! — сказал он. — Десять минут тому назад я переменял вашу тарелку.

— Вот это торжество! — вставил Томсон, проходя вперед всех ловким поворотом плеча. — Открыть имя труднее, чем повернуть стену. Ну, Дюрок, вы нам поставили шах и мат. Ваших рук дело!

— Теперь я понял, — сказал Ганувер. — Откройте! Говорите все. Вы были гостями у меня. Я был с вами любезен, клянусь, — я вам верил. Вы украли мое отчаяние, из моего горя вы сделали воровскую отмычку! Вы, вы, Дигэ, сделали это! Что вы, безумные, хотели от меня? Денег? Имени? Жизни?

— Добычи, — сказал Галуэй. — Вы меня мало знаете.

— Август, он имеет право на откровенность, — заметила вдруг Дигэ, — хотя бы в виде подарка. Знайте, — сказала она, обращаясь к Гануверу, и мрачно посмотрела на него, в то время как ее губы холодно улыбались, — знайте, что есть способы сократить дни человека незаметно и мирно. Надеюсь, вы оставите за вещание?

— Да.

— Оно было бы оставлено мне. Ваше сердце в благоприятном состоянии для решительного опыта без всяких следов.

Ужас охватил всех, когда она сказала эти томительные слова. И вот произошло нечто, от чего я со-

дрогнулся до слез; Ганувер пристально посмотрел в лицо Этель Мейер, взял ее руку и тихо поднес к губам. Она вырвала ее с ненавистью, отшатнувшись и вскрикнув.

— Благодарю вас, — очень серьезно сказал он, — за то мужество, с каким вы открыли себя. Сейчас я был как ребенок, испугавшийся темного угла, но знающий, что сзади него в другой комнате — светло. Там голоса, смех и отдых. Я счастлив, Дигэ — в последний раз я вас называю «Дигэ». Я расстанусь с вами, как с гостьей и женщиной. Бен Дрек, дайте наручники!

Он отступил, пропустив Дрека. Дрек помахал браслетами, ловко поймав отбивающуюся женскую руку; запор звякнул, и обе руки Дигэ, бессильно рванувшись, отразили в ее лице злое мучение. В тот же момент был пойман лакеями пытавшийся увернуться Томсон и выхвачен револьвер у Галуэя. Дрек заковал всех.

— Помните, — сказал Галуэй, шатаясь и задыхаясь, — помните, Эверест Ганувер, что сзади вас не светло! Там не освещенная комната. Вы идиот.

— Что, что? — вскричал дон Эстебан.

— Я развиваю скандал, — ответил Галуэй, — и вы меня не ударите, потому что я окован. Ганувер, вы дурак! Неужели вы думаете, что девушка, которая только что была здесь, и этот дворец — совместимы? Стоит взглянуть на ее лицо. Я вижу вещи, как они есть. Вам была нужна одна женщина, — если бы я ее бросил для вас — моя любовница, Этель Мейер; в этом доме она как раз то, что требуется. Лучше вам не найти. Ваши деньги понеслись бы у нее в хвосте диким аллюром. Она знала бы, как завоевать самую беспощадную высоту. Из вас, ничтожества, умеющего только грезить, обладая Голкондой, она свила бы железный узел, показала прелесть, вам неизвестную, растленной жизни с запахом гиацинта. Вы сделали преступление, отклонив золото от его прямой цели, — расти и давить, — заставили тигра улыбаться игрушкам, и все это ради

того, чтобы бросить драгоценный каприз к ногам девушки, которая будет простосердечно смеяться, если ей показать палец! Мы знаем вашу историю. Она куплена нами и была бы зачеркнута. Была бы! Теперь вы ее продолжаете. Но вам не удастся вывести прямую черту. Меж вами и Молли станет двадцать тысяч шагов, которые нужно сделать, чтобы обойти все эти, — клянусь! — превосходные залы, — или она сама делается Эмилией Ганувер — больше, чем вы хотите того, трижды, сто раз Эмилия Ганувер!

— Никогда! — сказал Ганувер. — Но двадцать тысяч шагов... Ваш счет верен. Однако я запрещаю говорить дальше об этом. Бен Дрек, раскуйте молодца, раскуйте женщину и того, третьего. Гнев мой улегся. Сегодня никто не должен пострадать, даже враги. Раскуйте, Дрек! — повторил Ганувер изумленному агенту. — Вы можете продолжать охоту, где хотите, но только не у меня.

— Хорошо, — ох! — Дрек, страшно досадуя, освободил закованных.

— Комедиант! — бросила Дигэ с гневом и смехом.

— Нет, — ответил Ганувер, — нет. Я вспомнил Молли. Это ради нее. Впрочем, думайте, что хотите. Вы свободны. Дон Эстебан, сделайте одолжение, напишите этим людям чек на пятьсот тысяч, и чтобы я их больше не видел!

— Есть, — сказал судовладелец, вытаскивая чекovou тетрадь, в то время, как Эстамп протянул ему механическое перо. — Ну, Тренк, и вы, мадам Мейер, — отгадайте: п о з а или п и р о г?

— Если бы я мог, — ответил в бешенстве Галуэй, — если бы я мог передать вам свое полнейшее равнодушие к мнению обо мне всех вас, — так как оно есть в действительности, чтобы вы поняли его и остолбенели, — я, не колеблясь, сказал бы: «Пирог» и ушел с вашим чеком, смеясь в глаза. Но я сбит. Вы можете мне не поверить.

— Охотно верим, — сказал Эстамп.

— Такой чек стоит всякой утонченности, — провозгласил Томсон, — и я первый благословляю наносимое мне оскорбление.

— Ну, что там... — с ненавистью сказала Дигэ.

Она выступила вперед, медленно подняла руку и, смотря прямо в глаза дон Эстебану, выхватила чек из руки, где он висел, удерживаемый концами пальцев. Дон Эстебан опустил руку и посмотрел на Дюрока.

— Каждый верен себе, — сказал тот, отвертываясь. Эстамп поклонился, указывая дверь.

— Мы вас не удерживаем, — произнес он. — Чек ваш, вы свободны, и больше говорить не о чем.

Двое мужчин и женщина, плечи которой казались сзади в этот момент пригнутыми резким ударом, обменялись вполголоса немногими словами и, не взглянув ни на кого, поспешно ушли. Они больше не казались живыми существами. Они были убиты на моих глазах выстрелом из чековой книжки. Через дверь самое далекое зеркало повторило движения удаляющихся фигур, и я, бросившись на стул, неудержимо заплакал, как от смертельной обиды, среди волнения потрясенной толпы, спешившей разойтись.

Тогда меня коснулась рука, я поднял голову и с горьким стыдом увидел ту веселую молодую женщину, от которой взял розу. Она смотрела на меня внимательно с улыбкой и интересом.

— О, простота! — сказала она. — Мальчик, ты плачешь потому, что скоро будешь мужчиной. Возьми этот, другой цветок на память от Камиллы Флерон!

Она взяла из вазы, ласково протянув мне, а я машинально сжал его — георгин цвета вишни. Затем я, также машинально, опустил руку в карман и вытащил потемневшие розовые лепестки, которыми боялся сорить. Дама исчезла. Я понял, что она хотела сказать э т и м, значительно позже.

Георгин я храню по сей день.

Между тем почти все разошлись, немногие оставшиеся советовались о чем-то по сторонам, вдалеке от покинутого стола. Несколько раз пробегающие взад и вперед слуги были задержаны жестами одиноких групп и беспомощно разводили руками или же давали знать пожатием плеч, что происшествия этого вечера для них совершенно темны. Вокруг тревожной пустоты разлетевшегося в прах торжества без восхищения и внимания сверкали из-за черных колонн покинутые чудеса золотой цепи. Никто более не входил сюда. Я встал и вышел. Когда я проходил третью по счету залу, замечая иногда удаляющуюся тень или слыша далеко от себя звуки шагов, — дорогу пересек Поп. Увидев меня, он встрепенулся.

— Где же вы?! — сказал Поп. — Я вас ищу. Пойдемте со мной. Все кончилось очень плохо!

Я остановился в испуге, так что, спеша и опередив меня, Поп должен был вернуться.

— Не так страшно, как вы думаете, но чертовски скверно. У него был припадок. Сейчас там все, и он захотел видеть вас. Я не знаю, что это значит. Но вы пойдете, не правда ли?

— Побежим! — вскричал я. — Ну, е й, должно быть, здорово тяжело!

— Он оправится, — сказал Поп, идя быстрым шагом, но как будто топтался на месте — так я торопился сам. — Ему уже значительно лучше. Даже немного посмеялись. Знаете, он запустил болезнь и никому не пикнул об этом! Вначале я думал, что мы все виноваты. А вы как думаете?

— Что же меня спрашивать? — возразил я с обидой. — Ведь я знаю менее всех!

— Н е о ч е н ь виноваты, — продолжал он, обходя мой ответ. — В чем-то не виноваты, это я чувствую. Ах, — как он радовался! Тс! Это его спальня.

Он постучал в замкнутую высокую дверь, и, когда собирался снова стучать, Эстамп открыл изнутри, немедленно отойдя и договаривая в сторону постели прерванную нашим появлением фразу — «поэтому вы должны спать. Есть предел впечатлениям и усилиям. Вот пришел Санди».

Я увидел прежде всего сидящую у кровати Молли; Ганувер держал ее руку, лежа с высоко поднятой подушками головой. Рот его был полуоткрыт, и он трудно дышал, говоря с остановками, негромким голосом. Между краев расстегнутой рубашки был виден грудной компресс.

В этой большой спальне было так хорошо, что вид больного не произвел на меня тяжелого впечатления. Лишь присмотревшись к его как бы озаренному тусклым светом лицу, я почувствовал скверное настроение минуты.

У другого конца кровати сидел, заложив ногу на ногу, Дюрок, дон Эстебан стоял посредине спальни. У стола доктор возился с лекарствами. Капитан Орсуна ходил из угла в угол, заложив за широкую спину обветренные, короткие руки. Молли была очень нервна, но улыбалась, когда я вошел.

— Сандерсончик! — сказала она, блеснув на момент живостью, которую не раздавило ничто. — Такой был хорошенький в платочке! А теперь... Фу!.. Вы плакали?

Она замахала на меня свободной рукой, потом поманила пальцем и убрала с соседнего стула газету.

— Садитесь. Пустите мою руку, — сказала она ласково Гануверу. — Вот так! Сядем все чинно.

— Ему надо спать, — резко заявил доктор, значительно взглядывая на меня и других.

— Пять минут, Джонсон! — ответил Ганувер. — Пришла одна живая душа, которая тоже, я думаю, не терпит одиночества. Санди, я тебя позвал, — как знать,

увидимся ли мы еще с тобой? — позвал на пару дружеских слов. Ты видел весь этот кошмар?

— Ни одно слово, сказанное там, — произнес я в лучшем своем стиле потрясенного взрослого, — не было так глубоко спрятано и запомнено, как в моем сердце.

— Ну, ну! Ты очень хвастлив. Может быть и в моем также. Благодарю тебя, мальчик, ты мне тоже помог, хотя сам ты был, как птица, не знающая, где сядет завтра.

— Ох, ох! — сказала Молли. — Ну как же он не знал? У него есть на руке такая надпись, — хотя я и не видела, но слышала.

— А вы?! — вскричал я, задетый по наболевшему месту устами той, которая должна была пощадить меня в эту минуту. — Можно подумать, — как же, — что вы очень древнего возраста! — Испугавшись собственных слов, едва я удержался сказать лишнее, но мысленно повторял: «Девчонка! Девчонка!»

Капитан остановился ходить, посмотрел на меня, щелкнул пальцами и грузно сел рядом.

— Я ведь не спорю, — сказала девушка, в то время как затихал смех, вызванный моей горячностью. — А может быть, я и правда старше тебя!

— Мы делаемся иногда моложе, иногда — старше, — сказал Дюрок.

Он сидел в той же позе, как на «Эспаньоле», отставив ногу, откинувшись, слегка опустив голову, а локоть положи на спинку стула.

— Я шел утром по береговому песку и услышал, как кто-то играет на рояле в доме, где я вас нашел, Молли. Точно так было семь лет тому назад, почти в той же обстановке. Я шел тогда к девушке, которой более нет в живых. Услышав эту мелодию, я остановился, закрыл глаза, заставил себя перенестись в прошлое и на шесть лет стал моложе.

Он задумался. Молли взглянула на него украдкой,

потом, выпрямившись и улыбаясь, повернулась к Гануверу.

— Вам очень больно? — сказала она. — Быть может, лучше, если я тоже уйду?

— Конечно, нет, — ответил он. — Санди, Молли, которая тебя так сейчас обидела, была худым черномазым птенцом на тощих ногах всего только четыре года назад. У меня не было ни дома, ни ночлега. Я спал в брошенном бараке.

Девушка заволновалась и завертелась.

— Ах, ах! — вскричала она. — Молчите, молчите! Я вас прошу. Остановите его! — обратилась она к Эстампу.

— Но я уже оканчиваю, — сказал Ганувер, — пусть меня разразит гром, если я умолчу об этом. Она подскакивала, напевала, заглядывала в щель барака дня три. Затем мне были просунуты в дыру в разное время: два яблока, старый передник с печеным картофелем и фунт хлеба. Потом я нашел цепь.

— Вы очень меня обидели, — громко сказала Молли, — очень. — Немедленно она стала смеяться. — Там же и зарыли ее, эту цепь. Вот было жарко! Сандерс, вы чего молчите, позвольте спросить?

— Я ничего, — сказал я. — Я слушаю.

Доктор прошел между нами, взяв руку Ганувера.

— Еще минута воспоминаний, — сказал он, — тогда завтрашний день испорчен. Уйдите, прошу вас!

Дюрок хлопнул по колену рукой и встал. Все подошли к девушке — веселой или грустной? — трудно было понять, так тосковало, мгновенно освещаясь улыбкой или становясь внезапно рассеянным, ее подвижное лицо. Прощаясь, я сказал: «Молли, если я вам понадоблюсь, рассчитывайте на меня!..» — и, не дожидаясь ответа, быстро выскочил первый, почти не помня, как холодная рука Ганувера стиснула мою крепким пожатием.

На выходе сошлись все. Когда вышел доктор Джонсон, тяжелая дверь медленно затворилась. Ее щель сузилась, блеснула последней чертой и исчезла, скрыв за собой двух людей, которым, я думаю, нашлось поговорить кое о чем, — без нас и иначе, чем при нас.

— Вы тоже ушли? — сказал Джонсону Эстамп.

— Такая минута, — ответил доктор. — Я держусь мнения, что врач должен иногда смотреть на свою задачу несколько шире закона, хотя бы это грозило осложнениями. Мы не всегда знаем, что важнее при некоторых обстоятельствах — жизнь или смерть. Во всяком случае, ему пока хорошо.

XX

Капитан, тихо разговаривая с Дюроком, удалился в соседнюю гостиную. За ними ушли дон Эстебан и врач. Эстамп шел некоторое время с Попом и со мной, но на первом повороте, кивнув, «исчез по своим делам», — как он выразился. Отсюда недалеко было в библиотеку, пройдя которую, Поп зашел со мной в мою комнату и сел с явным изнеможением; я, постояв, сел тоже.

— Так вот, — сказал Поп. — Не знаю, засну ли сегодня.

— Вы их выследили? — спросил я. — Где же они теперь?

— Исчезли, как камень в воде. Дрек сбился с ног, подкарауливая их на всех выходах, но одному человеку трудно поспеть сразу к множеству мест. Ведь здесь двадцать выходов, толпа, суматоха, переполох, и, если они переоделись, изменив внешность, то вполне понятно, что Дрек сплеховал. Ну и он, надо сказать, имел дело с первостатейными артистами. Все это мы узнали потом, от Дрека. Дюрок вытащил его телеграммой; можете представить, как он торопился, если заказал

Дреку экстренный поезд! Ну, мы поговорим в другой раз. Второй час ночи, а каждый час этих суток надо считать за три — так все устали. Спокойной ночи!

Он вышел, а я подошел к кровати, думая, не вызовет ли ее вид желания спать. Ничего такого не произошло. Я не хотел спать: я был возбужден и неспокоен. В моих ушах все еще стоял шум; отдельные разговоры без моего усилия звучали снова с характерными интонациями каждого говорящего. Я слышал смех, восклицания, шепот и, закрыв глаза, погрузился в мелькание лиц, прошедших передо мной за эти часы...

Лишь после пяти лет, при встрече с Дюроком я узнал, отчего Дигэ, или Этель Мейер, не смогла в назначенный момент сдвинуть стены и почему это вышло так молниеносно у Ганувера. Молли была в павильоне с Эстампом и женой слуги Паркера. Она сама захотела появиться ровно в двенадцать часов, думая, может быть, сильнее обрадовать Ганувера. Она опоздала совершенно случайно. Между тем, видя, что ее нет, Поп, дежуривший у подъезда, бросился в камеру, где были электрические соединения, и разъединил ток, решив, что, как бы ни было, но Дигэ не произведет предположенного эффекта. Он закрыл ток на две минуты, после чего Ганувер вторично отвел металлический завиток.

ЭПИЛОГ

I

В 1915 году эпидемия желтой лихорадки охватила весь полуостров и прилегающую к нему часть материка. Бедствие достигло грозной силы; каждый день умирало по пятьсот и более человек.

Незадолго перед тем в числе прочей команды вновь отстроенного парохода «Валкирия», я был по-

слан принять это судно от судостроительной верфи Ратнера и К° в Лиссе, где мы и застряли, так как заболела почти вся нанятая для «Валкирии» команда. Кроме того, строгие карантинные правила по разным соображениям не выпустили бы нас с кораблем из порта ранее трех недель, и я, поселившись в гостинице на набережной Канье, частью скучал, частью проводил время с сослуживцами в буфете гостиницы, но более всего скитался по городу, надеясь случайно встретиться с кем-нибудь из участников истории, разыгравшейся пять лет назад во дворце «Золотая цепь».

После того, как Орсуна утром на другой день после тех событий увез меня из «Золотой цепи» в Сан-Риоль, я еще не бывал в Лиссе — жил полным пансионером, и за меня платила невидимая рука. Через месяц мне написал Поп, — он уведомлял, что Ганувер умер на третий день от разрыва сердца и что он, Поп, уезжает в Европу, но зачем, надолго ли, а также что стало с Молли и другими, о том ничего не упомянул. Я много раз перечитал это письмо. Я написал также сам несколько писем, но у меня не было никаких адресов, кроме мыса Гардена и дона Эстебана. Эти письма я так и послал. В них я пытался разузнать адреса Попа и Молли, но, так как письмо в «Золотую цепь» было адресовано мной разом Эстампу и Дюроку, — ответа я не получил, может быть, потому, что они уже выехали оттуда. Дон Эстебан ответил; но ответил именно то, что не знает, где Поп, а адрес Молли не сообщает затем, чтобы я лишней раз не напоминал ей о горе своими посланиями. Под конец он советовал мне заняться моими собственными делами.

Итак, я больше никому не писал, но с возмущением и безрезультатно ждал писем еще месяца три, пока не додумался до очень простой вещи: что у всех довольно своих дел и забот, кроме моих. Это открытие было неприятно, но помогло мне наконец оторваться

от тех тридцати шести часов, которые я провел среди сильнейших волнений и опасности, восхищения, тоски и любви. Постепенно я стал вспоминать «Золотую цепь», как отзвучавшую песню, но чтобы ничего не забыть, потратил несколько дней на записывание всех разговоров и случаев того дня: благодаря этой старой тетрадке я могу теперь восстановить все доподлинно. Но еще много раз после того я видел во сне Молли и, кажется, был неравнодушен к ней очень долго, так как сердце мое начинало биться ускоренно, когда где-нибудь слышал я это имя.

На второй день прибытия в Лисс я посетил тот закоулок порта, где стояла «Эспаньола», когда я удрал с нее. Теперь стояли там две американские шхуны, что не помешало мне вспомнить, как пронзительно гудел ветер ночью перед появлением Дюрока и Эстампа. Я навел также справки о «Золотой цепи», намереваясь туда поехать на свидание с прошлым, но хозяин гостиницы рассказал, что этот огромный дом взят городскими властями под лазарет и там помещено множество эпидемиков. Относительно судьбы дома в общем известно было лишь, что Ганувер, не имея прямых наследников и не оставив завещания, подверг тем все имущество длительному процессу со стороны сомнительных претендентов, и дом был заперт все время до эпидемии, когда, по его уединенности, найдено было, что он отвечает всем идеальным требованиям гигантского лазарета.

У меня были уже небольшие усы: начала также пушиться нежная борода, такая жалкая, что я усердно снимал ее бритвой. Иногда я с достоинством посматривал в зеркало, сжимал губы и двигал плечом, — плечи стали значительно шире.

Никогда не забывая обо всем этом, держа в уме своем изящество и молодцеватость, я проводил вечера либо в буфете, либо на бульваре, где облюбовал кафе «Тонус».

Однажды я вышел из кафе, когда не было еще семи часов, — я ожидал приятеля, чтобы идти вместе в театр, но он не явился, прислав подозрительную записку, — известно, какого рода, — а один я не любил посещать театр. Итак, это дело расстроилось. Я спустился к нижней аллее и прошел ее всю, а когда хотел повернуть к городу, навстречу мне попался старик в летнем пальто, котелке, с тросточкой, видимо, вышедший погулять, так как за его свободную руку держалась девочка лет пяти.

— Паркер! — вскричал я, становясь перед ним лицом к лицу.

— Верно, — сказал Паркер, всматриваясь. Память его усиленно работала, так как лицо попеременно вытягивалось, улыбалось и силилось признать, кто я такой. — Что-то припоминаю, — заговорил он нерешительно, — но извините, последние годы плохо вижу.

— «Золотая цепь»! — сказал я.

— Ах, да! Ну, значит... Нет, разрази бог, — не могу вспомнить.

Я хлопнул его по плечу.

— Санди Пруэль, — сказал я, — тот самый, который все знает!

— Паренек, это ты?! — Паркер склонил голову набок, просиял и умильно заторжествовал: — О, никак не узнать! Форма к тебе идет! Вырос, раздвинулся. Ну что же, надо поговорить! А меня вот внучка таскает: «пойдем, дед, да пойдём», — любит со мной гулять.

Мы прошли опять в «Тонус» и заказали вино; девочке заказали сладкие пирожки, и она стала их анатомировать пальцем, мурлыча и болтая ногами, а мы с Паркером унеслись за пять лет назад. Некоторое время Паркер говорил мне «ты», затем постепенно проникся зрелищем перемены в лице изящного загорелого моряка, носящего штурманскую форму с привычной небрежностью опытного морского волка, — и перешел на «вы».

Естественно, что разговор был об истории и судьбе лиц, нам известных, а больше всего — о Молли, которая обвенчалась с Дюроком полтора года назад. Кроме того, я узнал, что оба они здесь и живут очень недалеко, — в гостинице «Пленэр», приехали по делам Дюрока, а по каким именно, Паркер точно не знал, но он был у них, оставшись очень доволен как приемом, так и угощением. Я был удивлен и рад, но больше рад за Молли, что ей не пришлось попасть в цепкие лапы своих братьев. С этой минуты мне уже не сиделось, и я машинально кивал, дослушивая рассказ старика. Я узнал также, что Паркер знал Молли давно, — он был ее дальним родственником с материнской стороны.

— А вы знаете, — сказал Паркер, — что она приезжала накануне того вечера, одна, тайно в «Золотую цепь» и что я ей устроил? Не знаете... Ну, так она приходила проститься с тем домом, который покойник выстроил для нее, как она хотела, — глупая девочка! — и разыскала меня, закутанная платком по глаза. Мы долго ходили там, где можно было ходить, не рассчитывая кого-нибудь встретить. Ее глаза разблестелись, — так была поражена, — известно, Ганувер размахнулся, как он один умел это делать. Да. Большое удовольствие было написано на ее лице, — на нее было вкусно смотреть. Ходила и замирала. Оглядывалась. Постукивала ногой. Стала тихонько петь. Вот, — а это было в проходе между двух зал, — наперерез двери прошла та авантюристка с Ганувером и Галуэем. Молли отошла в тень, и нас никто не заметил. Я взглянул, — совсем другой человек стоял передо мной. Я что-то заговорил, но она махнула рукой, — заторопилась, умолкла и не говорила больше ничего, пока мы не прошли в сад и не разыскали лодку, в которой она приехала. Прощаясь, сказала: «Поклянись, что никому не выдашь, как я ходила здесь с тобой сегодня». Я все понял, клятву дал, как она хотела, а про себя думал: «Вот сейчас я изложу ей все свои мнения, чтобы

она выбросила эти мысли о Дигэ». И не мог. Уже пошел слух; я сам не знал, что будет, однако решился, а посмотрю на ее лицо, — нет охоты говорить, вижу по лицу, что говорить запрещает и уходит с обидой. Решался я так три раза и — не решился. Вот какие дела!

Паркер стал говорить дальше; как ни интересно было слушать обо всем, из чего вышли события того памятного вечера, нетерпение мое отправиться к Дюроку росло и разразилось тем, что, страдая и шевеля ногами под стулом, я, наконец, кликнул прислугу, чтоб расплатиться.

— Ну, что же, я вас понимаю, — сказал Паркер, — вам не терпится пойти в «Пленэр». Да и внучке пора спать. — Он снял девочку со стула и взял ее за руку, а другую руку протянул мне, сказав:

— Будьте здоровы!..

— До свидания! — закричала девочка, унося пирожки в пакете и кланяясь. — До свидания! спасибо! спасибо!

— А как тебя зовут? — спросил я.

— Молли! Вот как! — сказала она, уходя с Паркером.

Праведное небо! Знал ли я тогда, что вижу свою будущую жену? Такую беспомощную, немного повыше стула?!

II

Волнение прошлого. Несчастен тот, кто недоступен этому изысканному чувству; в нем расстилается свет сна и звучит грустное удивление. Никогда, никогда больше не повторится оно! По мере ухода лет уходит его осязаемость, меняется форма, пропадают подробности. Кажется так, хотя его суть та, — та самая, в которой мы жили, окруженные заботами и страстями. Однако что-то изменилось и в существе. Как человек,

выросший лишь умом — не сердцем, может признать себя в портрете десятилетнего, — так и события, бывшие несколько лет назад, изменяются вместе с нами и, заглянув в дневник, многое хочется переписать так, как ощущаешь теперь. Поэтому я осуждаю привычку вести дневник. Напрасная трата времени!

В таком настроении я отправил Дюроку свою визитную карточку и сел, читая газету, но держа ее вверх ногами. Не прошло и пяти минут, а слуга уже вернулся, почти бегом.

— Вас просят, — сказал он, и я поднялся в бельэтаж с замиранием сердца. Дверь открылась, — навстречу мне встал Дюрок. Он был такой же, как пять лет назад, лишь посеребрились виски. Для встречи у меня была приготовлена фраза: «Вы видите перед собой фигуру из мрака прошлого и верно с трудом узнаете меня, так я изменился с тех пор», — но, сбившись, я сказал только: «Не ожидали, что я приду?»

— О, здравствуй, Санди! — сказал Дюрок, взглядываясь в меня. — Наверно, ты теперь считаешь себя старцем, для меня же ты прежний Санди, хотя и с петушиным баском. Отлично! Ты дома здесь. А Молли, — прибавил он, видя, что я оглядываюсь, — вышла; она скоро придет.

— Я должен вам сказать, — заявил я, впадая в прежнее свое легкомыслие искренности, — что я очень рад был узнать о вашей женитьбе. Лучшую жену, — продолжал я с неуместным и сбивающим меня самого жаром, — трудно найти. Да, трудно! — вскричал я, желая говорить сразу обо всем и бессильный соскочить с первой темы.

— Ты много искал, сравнивал? У тебя большой опыт? — спросил Дюрок, хватая меня за ухо и усаживая. — Молчи. Учись, войдя в дом, хотя бы и после пяти лет, сказать несколько незначительных фраз, ходящих вокруг и около значительного, а потому как бы значительных.

— Как?! Вы меня учите?..

— Мой совет хорош для всякого места, где тебя еще не знали болтливым и запальчивым мальчуганом. Ну, хорошо. Выкидывай свои пять лет. Звоню около тебя, протяни руку и позвони.

Я рассказал ему приключения первого моряка в мире, Сандерса Пруэля из Зурбагана (где родился) под самым лучшим солнцем, наиярчайше освещающим только мою фигуру, видимую всем, как статуя Свободы, — за шестьдесят миль.

В это время прислуга внесла замечательный старый ром, который мы стали пить из фарфоровых стопок, вспоминая происшествия на Сигнальном Пустыре и в «Золотой цепи».

— Хорошая была страница, правда? — сказал Дюрок. Он задумался, его выразительное, твердое лицо отразило воспоминание, и он продолжал: — Смерть Ганувера была для всех нас неожиданностью. Нельзя было подумать. Были приняты меры. Ничто не указывало на печальный исход. Очевидно, его внутреннее напряжение разразилось с большей силой, чем думали мы. За три часа до конца он сидел и говорил очень весело. Он не написал завещания, так как верил, что, сделав это, приблизит конец. Однако смерть уже держала свою руку на его голове. Но, — Дюрок взглянул на дверь, — при Молли я не буду поднимать более разговора об этом, — она плохо спит, если поговорить о тех днях.

В это время раздался легкий стук, дверь слегка приоткрылась и женский голос стал выговаривать рассудительным нежным речитативом: «Настой-чи-во про-ся впус-тить, нель-зя ли вас преду-пре-дить, что э-то я, ду-ша мо-я..»

— Кто там? — притворно громко осведомился Дюрок.

— При-шла оч-ко-вая змея, — dokonчил голос, дверь раскрылась, и вбежала молодая женщина, в ко-

торой я тотчас узнал Молли. Она была в костюме пепельного цвета и голубой шляпе. При виде меня ее смеющееся лицо внезапно остыло, вытянулось и снова вспыхнуло.

— Конечно, я вас узнала! — сказала она. — С моей памятью, да не узнать подругу моих юных дней?! Сандерсончик, ты воскрес, милый?! Ну, здравствуй, и прости меня, что я сочиняла стихи, когда ты, наверно, ждал моего появления. Что, уже выпиваете? Ну, отлично, я очень рада, и... и... не знаю, что еще вам сказать. Пока что я сяду.

Я заметил, как смотрел на нее Дюрок, и понял, что он ее очень любит; и оттого, как он наблюдал за ее рассеянными, быстрыми движениями, у меня родилось желание быть когда-нибудь в его положении.

С приходом Молли общий разговор перешел, главным образом, на меня, и я опять рассказал о себе, затем осведомился, где Поп и Эстамп. Молли без всякого стеснения говорила мне «ты», как будто я все еще был прежним Санди, да и я, присмотревшись теперь к ней, нашел, что хотя она стала вполне развившейся женщиной, но сохранила в лице и движениях три четверти прежней Молли. Итак, она сказала:

— Попа ты не узнал бы, хотя и «все знаешь»; извини, но я очень люблю дразниться. Поп стал такой важный, такой положительный, что хочется выйти вон! Он ворочает большими делами в чайной фирме. А Эстамп — в Мексике. Он поехал к больной матери; она умерла, а Эстамп влюбился и женился. Больше мы его не увидим.

У меня были желания, которые я не мог выполнить и беспредельно томился ими, улыбаясь и разговаривая, как заведенный. Мне хотелось сказать: «Вскрикнем, — увидимся и ужаснемся, — потонем в волнении прошедшего пять лет назад дня, вернем это острое напряжение всех чувств! Вы, Молли, для меня — первая светлая черта женской юности, увенчанная смехом и го-

рем, вы, Дюрок, — первая твердая черта мужества и достоинства! Я вас встретил внезапно. Отчего же мы сидим так сдержанно? Отчего наш разговор так стиснут, так отвлечен?» Ибо перебегающие разговоры я ценил мало. Жар, страсть, слезы, клятвы, проклятия и рукопожатия, — вот, что требовалось теперь мне!

Всему этому — увы! — я тогда не нашел бы слов, но очень хорошо чувствовал, чего не хватает. Впоследствии я узнал, отчего мы мало вспоминали втроем и не были увлечены прошлым. Но и теперь я заметил, что Дюрок правит разговором, как штурвалом, придерживая более к прохладному северу, чем к пыльному югу.

— Кто знает?! — сказал Дюрок на ее «не увидим». — Вот Сандерс Пруэль сидит здесь и хмелеет мало-помалу. Встречи, да еще неожиданные, происходят чаще, чем об этом принято думать. Все мы возвращаемся на старый след, кроме...

— Кроме умерших, — сказал я глупо и дико.

Иногда держишь в руках хрупкую вещь, рассеянно вертишь ее, как — хлоп! — она треснула. Молли призадумалась, потом шаловливо налила мне рома и стала напевать, сказав: «Вот это я сейчас вам сыграю». Вскочив, она ушла в соседнюю комнату, откуда загредел бурный бой клавиш. Дюрок тревожно оглянулся ей вслед.

— Она устала сегодня, — сказал он, — и едва ли вернется. — Действительно, во все возрастающем громе рояля слышалось упорное желание заглушить иной ритм. — Отлично, — продолжал Дюрок, — пусть она играет, а мы посидим на бульваре. Для такого предприятия мне не найти лучшего спутника, чем ты, потому что у тебя живая душа.

Уговорившись, где встретимся, я выждал, пока затихла музыка, и стал уходить. — «Молли! Санди уходит», — сказал Дюрок. Она тотчас вышла и начала

упрашивать меня приходить часто и «не вовремя»: «Тогда будет видно, что ты друг». Потом она хлопнула меня по плечу, поцеловала в лоб, сунула мне в карман горсть конфет, разыскала и подала фуражку, а я поднес к губам теплую, эластичную руку Молли и выразил надежду, что она будет находиться в добром здравье.

— Я постараюсь, — сказала Молли, — только у меня бывают головные боли, очень сильные. Не знаешь ли ты средства? Нет, ты ничего не знаешь, ты лгун со своей надписью! Отправляйся!

Я больше никогда не видел ее. Я ушел, запомнив последнюю виденную мной улыбку Молли, — так, средней веселости, хотя не без юмора, и направился в «Портовый трибун», — гостиницу, где должен был подождать Дюрока и где, к великому своему удивлению, обрел дядюшку Гро, размахивающего стаканом в кругу компании, восседающей на стульях верхом.

III

Составьте несколько красных клиньев из сырого мяса и рыжих конских волос, причем не надо заботиться о направлении, в котором торчат острия, разрежьте это сцепление внизу поперечной щелью, а сверху вставьте пару гнилых орехов, и вы получите подобие физиономии Гро.

Когда я вошел, со стула из круга этой компании вскочил, почесывая за ухом, матрос и сказал подошедшему с ним товарищу: «А ну его! Опять врет, как выборный кандидат!»

Я смотрел на Гро с приятным чувством безопасности. Мне было интересно, узнает ли он меня. Я сел за стол, бывший по соседству с его столом, и нарочно громко потребовал холодного пунша, чтобы Гро об-

ратил на меня внимание. Действительно, старый шкипер, как ни был увлечен собственными повествованиями, обернулся на мой крик и печально заметил:

— Штурман шумит. То-то, поди, денег много!

— Много ли или мало, — сказал я, — не вам их считать, почтеннейший шкипер!

Гро несочувственно облизал языком усы и обратился к компании.

— Вот, — сказал он, — вот вам живая копия Санди Пруэля! Так же отвечал, бывало, и вечно дерзил. Смее спросить, нет ли у вас брата, которого зовут Сандерс?

— Нет, я один, — ответил я, — но в чем дело?

— Очень вы похожи на одного молодца, разрази его гром! Такая неблагодарная скотина! — Гро был пьян и стакан держал наклонно, поливая вином штаны. — Я обращался с ним, как отец родной, и воистину отогрел змею! Говорят, этот Санди теперь разбогател, как набоб; про то мне неизвестно, но что он за одну штуку получил, воспользовавшись моим судном, сто тысяч банковыми билетами, — в этом я и сейчас могу поклясться мачтами всего света!

На этом месте часть слушателей ушла, не желая слышать повторения бредней, а я сделал вид, что очень заинтересован историей. Тогда Гро напал на меня, и я узнал о похождениях Санди Пруэля. Вот эта история.

Пять лет назад понадобилось тайно похоронить родившегося от незаконной любви двухголового человека, росшего в заточении и умершего оттого, что одна голова засохла. Ради этого, подкупив матроса Санди Пруэля, неизвестные люди связали Санди, чтобы на него не было подозрения, и вывезли труп на мыс Гардена, где и скрыли его в обширных склепах «Золотой цепи». За это дело Санди получил сто тысяч, а Гро только пятьсот пиастров, правда, золотых, — но, как

видите, очень мало по сравнению с гонораром Санди. Вскороости труп был вынут, покрыт лаком и оживлен электричеством, так что стал как живой отвечать на вопросы и его до сих пор выдают за механическую фигуру. Что касается Санди, — он долго был известен на полуострове, как мот и пьяница, и был арестован в Зурбагане, но скоро выпущен за большие деньги.

На этом месте легенды, имевшей, может быть, еще более поразительное заключение (как странно, даже жутко было мне слышать ее!), вошел Дюрок. Он был в пальто, шляпе и имел поэтому другой вид, чем ночью, при начале моего рассказа, но мне показалось, что я снова погружаюсь в свою историю, готовую начаться сызнова. От этого напала на меня непонятная грусть. Я поспешно встал, покинул Гро, который так и не признал меня, но, видя, что я ухожу, вскричал:

— Штурман, эй, штурман! Один стакан Гро в память этого свинтуса Санди, разорившего своего шкипера!

Я подозвал слугу и в присутствии Дюрока, с любопытством следившего, как я поступлю, заказал для Гро и его собутыльников восемь бутылок портвейна. Потом, хлопнув Гро по плечу так, что он отшатнулся, — сказал:

— Гро, а ведь я и есть Санди!

Он мотнул головой, всхлипнул и уставился на меня.

Наступило общее молчание.

— Восемь бутылок, — сказал наконец Гро, машинально шаря в кармане и рассматривая мои колени.— Врешь! — вдруг закричал он. Потом Гро сник и повел рукой, как бы отстраняя трудные мысли.

— А, — может быть!.. Может быть... — забормотал Гро. — Гм... Санди! Все может быть! Восемь бутылок, буты...

На этом мы покинули его, вышли и прошли на бульвар, где сели в каменную ротонду. Здесь слышался отдаленный плеск волн; на другой аллее, повыше, играл оркестр. Мы провели славный вечер и обо всем, что здесь рассказано, вспомнили и переговорили со всеми подробностями. Потом Дюрок распрощался со мной и исчез по направлению к гостинице, где жил, а я, покуривая, выпивая и слушая музыку, ушел душой в Замечательную Страну и долго смотрел в ту сторону, где был мыс Гардена. Я размышлял о словах Дюрока про Ганувера: «Его ум требовал живой сказки; душа просила покоя». Казалось мне, что я опять вижу внезапное появление Молли перед нарядной толпой и слышу ее прерывистые слова:

— Это я, милый! Я пришла, как обещала! Не грустите теперь!

РАССКАЗЫ

ЧЕЛОВЕК С ЧЕЛОВЕКОМ

— Эти ваши человеческие отношения, — сказал мне Аносов, — так сложны, мучительны и загадочны, что иногда является мысль: не одиночество ли — настоящее, пока доступное счастье.

Перед этим мы говорили о нашумевшем в то время деле Макарова, застрелившего из ревности свою жену. Осуждая Макарова, я высказал мнение, что человеческие отношения очень просты и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником.

Мы ехали по железной дороге из Твери в Нижний; знакомство наше состоялось случайно, у станционного буфета. Я ждал, что скажет Аносов дальше. Наружность этого человека заслуживает описания: с длинной окладистой бородой, высоким лбом, темными, большими глазами, прямым станом и вечной, выражающей напряженное внимание к собеседнику полуулыбкой, он производил впечатление человека незаурядного, или, как говорят в губерниях, — «заинтриговывал». Ему, вероятно, было лет пятьдесят — пятьдесят пять, хотя живостью обращения и отсутствием седины он казался моложе.

— Да, — продолжал Аносов медленным своим низким голосом, смотря в окно и поглаживая боро-

ду большой белой рукой с кольцами, — жить с людьми, на людях, бежать в общей упряжке может не всякий. Чтобы выносить подавляющую массу чужих интересов, забот, идей, вожделений, прихотей и капризов, постоянной лжи, зависти, фальшивой доброты, мелочности, показного благородства или — что еще хуже — благородства самодовольного; терпеть случайную и ничем не вызванную неприязнь, или то, что по несовершенству человеческого языка прозвано «инстинктивной антипатией», — нужно иметь колоссальную силу сопротивления. Поток чужих волей стремится покорить, унижить и поработить человека. Хорошо, если это человек с закрытыми внутренними глазами, слепыми, как глаза статуи; он на том маленьком пьедестале, какой дала ему жизнь, простоит непоколебимо и цельно. Полезно быть также человеком миропрития языческого или, преследуя отдаленную цель, поставить ее меж собой и людьми. Это консервирует душу. Но есть люди столь тонкого проникновения в бессмысленность совершающихся вокруг них поступков, противочеловеческих, даже самых на первый взгляд ничтожных, столь остро болезненного ощущения хищности жизни, что их, людей этих, надо беречь. Не сразу высмотришь и поймешь такого. Большинство их гибнет, или ожесточается, или уходит.

— Да, это закон жизни, — сказал я, — и это удел слабых.

— Слабых? Далеко нет! — возразил Аносов. — Настоящий слабый человек плачет и жалуется оттого, что когти у него жидкие. Он охотно принял бы участие в общей свалке, так как видит жизнь глазами других. Те же, о которых говорю я, — люди — увы! — рано родившиеся на свет. Человеческие отношения для них — источник постоянных страданий, а сознание, что зло, — как это ни странно, — естественное явление, усиливает страдание до чрезвычай-

ности. Может быть, тысячу лет позже, когда изобретения коснутся областей духа и появится возможность слышать, видеть и осязать лишь то, что нужно, а не то, что первый малознакомый человек захочет внести в наше сознание путем внушения или действия, людям этим будет жить легче, так как давно уж про себя решили они, что личность и душа человека неприкосновенны для зла.

Я немного поспорил, доказывая, что зло — понятие относительное, как и добро, но в душе был согласен с Аносовым, хоть не во всем, — так, например, я думал, что таких людей нет.

Он выслушал меня внимательно и сказал:

— Не в этом дело. Человек зла всегда скажет, что «добро» — понятие относительное, но никогда не скажет страдающий человек того же по отношению к злу. Мы употребляем сейчас с вами понятия очень примитивные и растяжимые; это ничего, так как нам помогает ассоциация и около двух коротеньких слов кипит множество представлений. Но возвратимся к нашим особенным людям. Частица их есть почти во всех нас. Не потому ли, например, имеют большой успех, и успех чистый, такие произведения, как Робинзон Крузо, — что идея печальной, красивой свободы, удаления от зла человеческого слита в них с особенным напряжением душевных и физических сил человека. Если вы помните, появление Пятницы ослабляет интерес повести; своеобразное очарование жизни Робинзона бледнеет от того, что он уже не Робинзон только; он делается «Робинзон-Пятница». Что же говорить про жизнь населенных стран, где на каждом шагу, в каждый момент — вы — не вы, как таковой, а еще плюс все, с кем вы сталкиваетесь и кто ничтожной, но ужасной властью случайного движения — усмешкой, пожатием плеч, жестом руки — может приковать все ваше внимание, хотя вам желательно было бы обратить его в дру-

гую сторону. Это мелкий пример, но я не говорю еще о явлениях социальных. В этой невероятной зависимости друг от друга живут люди, и, если бы они вполне сознали это, без сомнения слова, речи, жесты, поступки и обращения их стали бы действиями разумными, бережными; действиями думающего человека.

Недавно в одном из еженедельных журналов я прочел историю двух подростков. Юные брат и сестра провели лето вдвоем на небольшом островке, в лугах; девочка исполняла обязанности хозяйки, а мальчик добывал пропитание удочкой и ружьем; кроме них на острове никого не было. Интервьюер, посетивший их, вероятно, кусал губы, чтобы не улыбнуться на заявление маленьких владельцев острова, что им здесь очень хорошо и они всем довольны. Разумеется, это были дети богатых родителей. Но я вижу их просто так, как они были изображены на приложенной к журнальному сообщению фотографии: они стояли у воды, держась за руки, в траве, и шурились. Фотография эта мне чрезвычайно нравится в силу смутных представлений о желательном в человеческих отношениях.

Он наклонился ко мне, как бы выпрашивая взглядом, что я об этом думаю.

— Меня интересует, — сказал я, — возможна ли защита помимо острова и монастыря.

— Да, — не задумываясь, сказал Аносов, — но редко, реже, чем ранней весной — грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки; они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми; но тень печали, в благословенные, сияющие, солнечные дни цветущего острова Робинзона сжимавшей сердце

отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. «Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ под сводом Айя-Софии, — говорит легенда, — священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором». Это — легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоявших в тени, они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их.

Я задумался и увидел печального Робинзона на морском берегу в тишине дум.

Аносов сказал:

— Кое о чем хотелось бы рассказать вам. А может быть, вы мало интересуетесь этой темой?

— Нет, — сказал я, — что может быть интереснее души человеческой?

— В 1911 году привелось мне посетить редкого человека. Я стоял на Троицком мосту. Перед этим мне пришлось высидеть с другими не имеющими ночлега людьми полночи. Я, как и они, дремал на скамье моста, свесив голову и сунув руки между колен.

Подреывая, видел я во сне все соблазны, коими богат мир, и рот мой, полный голодной слюны, разбудил меня. Я проснулся, встал, решил и, — не скрою, — заплакал. Все-таки я любил жизнь, она же отталкивала меня обеими руками.

У перил было жутко, как на пустом эшафоте. Летняя ночь, пестрая от фонарей и звезд, окружила меня холодной тишиной равнодушия. Я посмотрел вниз и бросился, но, к великому удивлению своему, упал обратно на мостовую, а затем сильная рука, стиснув мне до боли плечо, поставила меня на ноги, отпустила и медленно погрозила пальцем.

Ошеломленный, я тихо смотрел на грозящий палец, затем решил взглянуть на того, кто встал меж-

ду рекой и мной. Это был усталого, спокойного вида человек в темной крылатке, шляпе, бородатый и плотный.

— Обождите немного, — сказал он, — я хочу поговорить с вами. Разочарованы?

— Нет.

— Голодны?

— Очень голоден.

— Давно?

— Да... два дня.

— Пойдемте со мной.

В моем положении было естественно повиноваться. Он молча вышел к набережной, крикнул извозчика, мы сели и тронулись, я только что хотел назвать себя и объяснить свое положение, как, вздрогнув, услышал тихий, ровный, грудной смех. Спутник мой смеялся весело, от всей души, как смеются взрослые при виде забавной выходки малыша.

— Не удивляйтесь, — сказал он, кончив смеяться. — Мне смешно, что вы и многие другие будут голодать, когда на свете так много еды и денег.

— Да, на свете, но не у меня же.

— Возьмите.

— Я не могу найти работы.

— Просите.

— Милостыню?

— О, глупости! Милостыня — такое же слово, как все другие слова. Пока нет работы, просите — спокойно, благоразумно и веско, не презирая себя. В просьбе две стороны — просящий и дающий, и воля дающего останется при нем — он может дать или не дать; это простая сделка и ничего более.

— Просите! — с горечью повторил я. — Но вы ведь знаете, как одиноки, тупы, жестоки и злы все по отношению друг к другу.

— Конечно.

— О чем же вы говорите тогда?

— Не обращайтесь внимания.

Извозчик остановился. Пройдя двор, мы поднялись на четвертый этаж, и покровитель мой нажал кнопку звонка. Я очутился в небольшой, уютной, весьма простой и обыкновенной квартире. Нас встретила женщина и собака. Женщина была так же спокойна, как ее муж, привезший меня. Ее лицо и фигура были обыкновенными для всех здоровых, молодых и хорошеньких женщин; я говорю о впечатлении. Спокойный водолаз, спокойная женщина и спокойный хозяин квартиры казались очень счастливыми существами; так это и было.

Спокойно, как давно знакомый гость, я сел с ними за стол (собака сидела тут же, на полу) и ел, и, встав сытый, услышал, как объясняет жизнь мой спаситель.

— Человеку нужно знать, господин самоубийца, всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины — лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот, все трое — одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем мало — в глазах других. Оставьте других в покое, ни они вам, ни вы им, по совести, не нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант, а у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению: второй вальс Гадара; «К Анне» — Эдгара По и портрет жены Рембрандта. Этого мне достаточно; никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире, более несокрушимом, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому, — нужно только молчать. И тогда никто не оскорбит, не ударит вас по душе, потому что зло бессиль-

но перед вашим богатством. Я живу на сто рублей в месяц.

— Эгоизм или не эгоизм, — сказал я, — но к этому нужно прийти.

— Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите десять рублей, больше я не могу дать.

И я видел, что более он действительно не может дать, и просто, спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием. Чур меня! Пошла прочь!

1913

ПОВЕСТЬ, ОКОНЧЕННАЯ БЛАГОДАРЯ ПУЛЕ

I

Коломб, сев за работу после завтрака, наткнулся к вечеру на столь сильное и сложное препятствие, что, промучившись около часу, счел себя неспособным решить предстоящую задачу в тот же день. Он приписал бессилие своего воображения усталости, вышел, посмеялся в театре, поужинал в клубе и заснул дома в два часа ночи, приказав разбудить себя не позже восьми. Свежая голова хорошо работает. Он не подозревал, чем будет побеждено препятствие; он не усвоил еще всей силы и глубины этого порождения творческой психологии, надеясь одержать победу усилием художественной логики, даже простого размышления. Но здесь требовалось резкое напряжение чувств, подобных чувствам изображаемого лица, уподобление; Коломб еще не сознавал этого.

В чем же заключалось препятствие? Коломб писал повесть, взяв центром ее стремительное перерожде-

ние женской души. Анархист и его возлюбленная замыслили «пропаганду фактом». В день карнавала снаряжают они повозку, убранную цветами и лентами, и, одетые в пестрые праздничные костюмы, едут к городской площади, в самую гущу толпы. Здесь, после неожиданной, среди веселого гула, короткой и страстной речи, они бросают снаряд, — месть толпе, — казнь ее за преступное развлечение, и гибнут сами. Злодейское самоубийство их преследует двойную цель; напоминание об идеалах анархии и протест буржуазному обществу. Так собираются они поступить. Но таинственные законы духа, наперекор решимости, убеждениям и мировоззрению, приводят героиню рассказа к спасительному в последний момент отступлению перед задуманным. За то время, пока карнавальный экипаж их движется в ряду других, среди восклицаний, смеха, музыки и шумного оживления улиц к роковой площади, в душе женщины происходит переворот. Похитив снаряд, она прячет его в безопасное для жизни людей место и становится из разрушительницы — человеком толпы, бросив возлюбленного, чтобы жить обыкновенной, просто, но, по существу, глубоко человеческой жизнью людских потоков, со всеми их правдами и неправдами, падениями и очищениями, слезами и смехом.

Коломб искал причин этой благодетельной душевной катастрофы, он сам не принимал на веру разных «вдруг» и «наконец», коими писатели часто отделываются в трудных местах своих книг. Если в течение трех-четырёх часов взрослый, пламенно убежденный человек отвергает прошлое и начинает жить снова — это совсем «вдруг», хотя был срок по времени малый. Ради собственного удовлетворения, а не читательского только, требовал он ясной динамики изображенного человеческого духа и был в этом отношении требователен чрезмерно. И вот, с вечера пятого дня работы, стал он, как сказано, в тупик

перед немалой задачей: понять то, что еще не создано, создать самым процессом, понимания причины внутреннего переворота женщины, по имени Фай.

Слуга принес кофе и зажег газ. Уличная тьма редела; Коломб встал. Он любил свою повесть и радовался тишине еще малолюдных улиц, полезной работе ума. Он выкурил несколько крепких папирос одну за другой, прихлебывая кофе. Тетрадь с повестью лежала перед ним. Просматривая ее, он задумался над очередной белой страницей.

Он стал писать, зачеркивать, вырывать листки, курить, прохаживаться, с головой, полной всевозможных предположений относительно героини, представив ее красавицей, он размышлял, не будет ли уместным показать пробуждение в ней долго подавляемых инстинктов женской молодости. Веселый гром карнавала не мог ли встряхнуть сектантку, привлечь ее, как женщину, к соблазнам поклонения, успехов, любви? Но это плохо вязалось с ее характером, сосредоточенным и глубоким. К тому же подобное рассеянное, игривое настроение немислимо в ожидании смерти.

Опять нужно было усиленно курить, метаться по кабинету, тереть лоб и мучиться. Рассвело; табачный дым, наполнявший кабинет, стусился и стал из голубоватого серым. Окурки, заполнив все пепельницы, раскинулись по ковру. Коломб обратился к естественным чувствам жалости и страха пред отвратительным злодеянием; это было вполне возможно, но от сострадания к полному, по убеждению, разрыву с прошлым — совсем не так близко. Кроме того, эта версия не соответствовала художественному плану Коломба — она лишала повесть значительности крупного события, делая ее достаточно тенденциозной и в дурном тоне. Мотивы поведения Фай должны были появиться в блеске органически свойственной каждо-

му некоей внутренней трагедии, приобретая этим общее, не зависимое от данного положения, значение; сюжет повести служил, главным образом, лишь одной из форм вечного драматического момента. Какого? Колумб нашел этот вопрос очень трудным. Временная духовная слепота поразила его, — обычное следствие плохо продуманной сложной темы.

Бесплодно комбинируя на разные лады два выше-описанные и отвергаемые им самим состояния души, прибавил он к ним еще третье: животный страх смерти. Это подало ему некоторую, быстро растаявшую, надежду, — растаявшую очень быстро, так как она унижала в его глазах глубокий, незаурядный характер. Он гневно швырнул перо. Тяжелая обессилевшая голова отказалась от дальнейшего изнурительного одностороннего напряжения.

— Как, уже вечер? — сказал он, смотря в потемневшее окно и не слыша шагов сзади.

— Удивительно, — возразил посетитель, — как вы обратили на это внимание, да еще вслух. Именно — вечер. Но я задыхаюсь в этом дыму. Сквозь такую завесу затруднительно определить ночь, утро, вечер или день на дворе.

— Да, — радуясь невольному перерыву, обернулся Колумб, — а я еще не ел ничего, я переваривал этот проклятый сюжет. — Он отшвырнул тетрадь и поставил на место, где она лежала, корзинку с папиросами. — Ну, как вы живете, Брауль? А? Счастливый вы человек, Брауль.

— Чем? — сказал Брауль.

— Вам не нужно искать сюжетов и тем, вы черпаете их везде, где захотите, особенно теперь, в год войны.

— Я корреспондент, вы — романист, — сказал Брауль, — меня читают полчаса и забывают, вас читают днями, вспоминают и перечитывают.

— А все-таки.

— Если вы завидуете скромному корреспонденту, мэтр Коломб, — поедемте со мной на передовые позиции.

— Вот что! — воскликнул Коломб, пристально смотря в деловые глаза Брауля. — Странно, что я еще не думал об этом.

— Зато думали другие. Я к вам явился сейчас с формальным предложением от журнала «Театр жизни». От вас не требуется ничего, кроме вашего имени и таланта. Журнал просит не специальных статей, а личных впечатлений писателя.

Коломб размышлял. «Может быть, если я временно оставлю свою повесть в покое, она отстоится в глупой моей голове». Предложение Брауля нравилось ему резкой новизной положения, открывающего мир неизведанных впечатлений. Трагическая обстановка войны развернулась перед его глазами; но и тут, в мысленном представлении знамен, пушек, атак и выстрелов, носился неодолимый, повелительно приковывающий внимание, загадочный образ Фай, ставшей своеобразной болезнью. Коломб ясно видел лицо этой женщины, невидимой Браулю. «Ничто не мешает мне наконец думать в любом месте о своей повести и этой негодяйке, — решил Коломб. — Разумеется, я поеду, это нужно мне как человеку и как писателю».

— Ну, еду, — сказал он. — Я, правда, не баталист, но, может быть, сумею принести пользу. Во всяком случае, я буду стараться. А вы?

— Меня просили сопровождать вас.

— Тогда совсем хорошо. Когда?

— Я думаю, завтра в три часа дня. Ах, господин Коломб, эта поездка даст вам гибель подлинного интересного материала!

— Конечно. — «Что думала она, глядя на веселую толпу?» — Тьфу, отвяжись! — вслух рассердился Коломб. — Это сводит меня с ума!

— Как? — восторженно воскликнул Брауль.

— Вы ее не знаете, — насмешливо и озабоченно пояснил Коломб. — Я думал сейчас об одной моей знакомой, особе весьма странного поведения.

II

Двухчасовой путь до Л. ничем не отличался от обыкновенного пути в вагоне, не считая двух-трех пассажиров, пораженных событиями до полной неспособности говорить о чем-либо, кроме войны. Брауль поддерживал такие разговоры до последней возможности, ловя в них те мелкие подробности настроений, которые считал характерными для эпохи. Коломб рассеянно молчал или произносил заурядные реплики. Нервное возбуждение, вызванное в нем быстрым переходом от кабинетной замкнутости к случайностям походной жизни, затихло. Вчера и сегодня утром он охотно, с гордостью думал о предстоящих ему — вверенных его изображению — днях войны, его героях, быте, жертвах и потрясениях, но к вечеру ожидания эти потеряли остроту, уступив тоскливому, неотвязному беспокойству о неоконченной повести. С топчущейся на месте мыслью о героине сел он в вагон, пытаясь временами, бессознательно для себя, сосредоточиться на тумане тьмы среди дорожной обстановки, станционных звонков, гула рельс и окон, струящихся быстро мелькающими окрестностями.

От Л. путь стал иным. Поезд миновал здесь ту естественную границу, позади которой войну можно еще представлять, иметь дело с ней только мысленно. За этой чертой, впереди, приметы войны являлись видимой действительностью. У мостов стояли солдаты. На вокзале в Л. расположился большой пе-

хотный отряд, лица солдат были тверды и сумрачны. Вагоны опустели, пассажиры мирной наружности исчезли; зато время от времени появлялись офицеры, одиночные солдаты с сумками, какие-то чиновники в полувоенной форме. В купе, где сидел Коломб, вошел кавалерист, сел и уснул сразу, без зевоты и промедления. В сумерках окна Брауль заметил змеевидные насыпи и показал Коломбу на них; то были брошенные окопы. Иногда сломанное колесо, дышло, разбитый снарядный ящик или труп лошади с неуклюже приподнятыми ногами безмолвно свидетельствовали о битвах.

Брауль вынул часы. Было около восьми. К девяти поезд должен был одолеть последний перегон и возвращаться назад, так как конечный пункт его следования лежал в самом тылу армии. Коломб погрузился в музыку рельс. Рой смутных ощущений, неясных, как стаи ночных птиц, пронесся в его душе. Брауль, достав записную книжку, что-то отмечал в ней, короткими, бисерными строчками. На полустанке вошел кондуктор.

— Поезд не идет дальше, — сказал он как бы вскользь, что произвело еще большее действие на Коломба и Брауля. — Да, не идет, путь испорчен.

Он хлопнул дверью, и тотчас же фонарь его мелькнул за окном, направляясь к другим вагонам.

Рассеянное, мечтательное настроение Коломба оборвалось. Брауль вопросительно глядел на него, сжав губы.

— Что ж! — сказал он. — Как это ни неприятно, но вспомним, что мы корреспонденты, Коломб; нам придется еще с очень многим считаться в этом же роде.

— Пойдемте на станцию, — сказал Коломб. — Там выясним что-нибудь.

Кавалерист проснулся, как и уснул, — сразу. Узнав, в чем дело, он долго и основательно ругал

пруссаков, затем, переварив положение, стал жаловаться, что у него нет под рукой лошади, его «Прекрасной Мари», а то он отмахнул бы остаток дороги шутя. Кто теперь ездит на великолепной гнедой Мари? Это ему, к сожалению, неизвестно; он едет из лазарета, где пролежал раненный шесть недель. Может быть, Мари уже убита. Тогда пусть берегутся все первые попавшиеся немцы! У кавалериста было грубоватое, правильное лицо с острыми и наивными глазами. В конце концов, он предложил путешественникам отправиться вместе.

— Я тут все деревни кругом знаю, — сказал он. — За деньги дадут повозку.

— Это нам на руку, — согласился Брауль. — А пешком много идти?

— Нет. На Гарнаш или Пом? — Солдат задумчиво поковырял в ухе. — Пойдем на Гарнаш, оттуда дорога лучше.

Бойкий вид и авторитетность кавалериста уничтожили, в значительной мере, неприятность кондукторского заявления. Солдат, Брауль и Коломб вышли на станцию. Здесь собралось несколько офицеров, решивших заночевать тут, так как на расспросы их относительно исправления пути не было дано толковых ответов. Начальник полустанка выразил мнение, что дело вовсе не в пути, а в немцах, но — что, почему и как? — сам не знал. Брауль, подойдя к офицерам, выспросил их кой о чем. Они направлялись совсем в иную сторону, чем корреспонденты, и присоединяться к ним не было оснований. Пока Брауль беседовал об этом с Коломбом, неугомонный, оказавшийся весьма хлопотливым парнем, кавалерист дергал их за полы плащей, подмигивал, кряхтел и топтался от нетерпения. Наконец, решив окончательно следовать за своим случайным проводником, путешественники вышли из унылого, пропахшего грязью и керосином станционного помещения, держа в руках

саквояжи, по счастью, необъемистые и легкие, с самым необходимым.

Тьма, пронизанная редким, сырым туманом, еле-еле показывала дорогу, извивающуюся среди голых холмов. Брауль и Коломб привели в действие электрические фонари; неровные световые пятна, сильно освещая руку, падали в дорожные колеи мутными, колеблющимися конусами. Коломб шел за световым пятном фонаря, опустив голову. Бесплезно было осматриваться вокруг, глаза бессильно упирались в мрак, скрывший окрестности. Звезд не было. Кавалерист шагал немного впереди Брауля, помогавшего ему своим фонарем; Коломб следовал позади.

Пока солдат, определив Брауля, как более общительного и подходящего себе спутника, бесконечно рассказывал ему о боевых днях, делая по временам, видимо, приятные ему отступления к воспоминаниям личных семейных дел, в которых, как мог уяснить Коломб, главную роль играли жена солдата и наследственный пай в мельничном предприятии, — сам Коломб не без удовольствия ощутил наплыв старых мыслей о повести. Без всякого участия воли они преследовали его и здесь, на темной захолустной дороге. То были те же много раз рассмотренные и отвергнутые сплетения воображенных чувств, но теперь, благодаря известной оригинальности положения самого романиста, резкому ночному воздуху, мраку и движению, получили они некую обманную свежесть и новизну. Пристально анализируя их, Коломб скоро убедился в самообмане. С этого момента существо его раздвоилось: одно «я» поверхностно, в состоянии рассеянного сознания, воспринимало действительность, другое, ничем не выражающее себя внешне, еще мало изученное «я» — заставляло в ровном, бессознательном усилении решать загадку души Фай, женщины столь же реальной теперь для Коломба, как разговор идущих впереди спутников.

Решив (в чем ошибался), что достаточно приказать себе бросить неподходящую к месту и времени работу мысли, как уже вернется непосредственность ощущений, — Коломб тряхнул головой и нагнал Брауля.

— Вы не устали? — спросил он снисходительным тоном новичка, ретиво берущегося за дело. — Что же касается меня, то я, кажется, годен к походной жизни. Мои ноги не жалуются.

— Теперь недалеко, — сообщил кавалерист. — Скоро придем. Ходить трудно, — прибавил он, помолчав. — Я раз ехал, вижу, солдат сидит. Чего бы ему сидеть? А у него ноги не действуют; их батальон тридцать миль ночью сделал. И так бывает — человек идет — вдруг упал. Это был обморок, от слабого сердца.

Коломб был хорошего мнения о своем сердце, но почему-то не сказал этого. С холма, на вершину которого они поднялись, виднелся тусклый огонь, столь маленький и слабый благодаря туману, что его можно было принять за обман напряженного зрения.

— Вот и Гарнаш. — Кавалерист обернулся. — Вы думаете, это далеко? Сто шагов; туман обманчив.

Подтверждая его слова, мрак разразился злобным собачьим лаем.

— Что чувствует человек в бою? — спросил солдата Коломб. — Вот вы, например?

— Ах вот что? — Кавалерист помолчал. — То есть страшно или не страшно?..

— В этом роде.

— Видите, привыкаешь. Не столько, знаете, страшно, сколько трудно. Трудная это работа. Однако, черт возьми! — Он остановился и топнул ногой. — Ведь это наша земля?! Так о чем и говорить?

Считая, по-видимому, эти слова вполне исчерпывающими вопрос, солдат направился в обход изгороди. За ней тянулась улица; кое-где светились окна.

III

Не менее часа потратили путешественники на обход домов, разговоры и торг, пока удалось им отыскать поместительную повозку, свободную лошадь и свободного же ее хозяина. Человек этот, по имени Гильом, был ярмарочным торговцем и знал местность отлично. Он рассчитывал к утру вернуться обратно, отвезя путников в арьергард армии. Хорошая плата сделала его проворным. Коломб, сидя в темноте у ворот, не успел докурить вторую папиросу, как повозка была готова. Разместив вещи, путешественники уселись, толкая друг друга коленями, и Гильом, стегнув лошадь, выехал из деревни.

— Поговаривают, — сказал он, путив лошадь рысью, — что пруссаки показываются милях в десяти отсюда. Только их никто не видел.

— Разъезды везде заходят, — согласился кавалерист. — Ты бы, дядя Гильом, придерживался, на всякий случай, открытых мест.

— Лесная дорога короче. — Гильом помолчал. — Я даже днем не расстаюсь с револьвером.

— Вот вам, — сказал Брауль Коломбу, — разговор, освежающий нервы. В таких случаях я всегда нащупываю свой револьвер, это еще больше располагает к приключениям.

— Я не прочь встретить немца, — заявил Коломб. — Это было бы хорошим экзаменом.

— Если вам захочется побывать на передовых позициях, вы увидите очень много немцев. Однако это все пустяки.

— Лесная дорога короче, — снова пробормотал Гильом.

— А, милый, поезжайте, как знаете, — сказал Брауль. — Нас четверо; вы — травленная собака, я могу считаться полувоенным, что касается остальных двух, то один из них настоящий солдат, в полном вооружении, а другой попадает в туза.

— Правильно, — сказал кавалерист, закручивая усы. — Неужели вы в туза попадаете? — удивленно осведомился он у Коломба.

— Если бы у вас было столько свободного времени, сколько у меня, — ответил, смеясь, Коломб, — вы научились бы убивать стрекозу в воздухе.

«Туп-туп-туп...» — стучали копыта. Движение во тьме, по извилистой, встряхивающей, неизвестной дороге принадлежало к числу любимых ощущений Коломба. Бесцельно и требовательно он отдавался ему, прислушиваясь к мрачному сну равнин. Вскоре начался лес. Переход от открытых мест к стиснутому деревьями пространству был замечен благодаря тьме лишь по неподвижности ставшего еще более сырым воздуха, запаху гнилых листьев и особенно отчетливому стуку колес, переезжающих огромные корни. Слева, загредев долгим эхом, раздался выстрел.

— Ого! — сказал, инстинктивно останавливая лошадь, Гильом.

Кавалерист привстал. Коломб и Брауль выхватили револьверы. Гильом опомнился, бешено размахивая кнутом, он пустил лошадь вскачь. Повозка, оглушительно тарахтя, ринулась под бойко застучавшими из тьмы выстрелами в дремучую глубину леса. Эхо стрельбы, раскатисто рвущее тишину, усиливало тревогу. Немногие восклицания, которыми успели обменяться путники, были скорее выражением чувств, чем мысли, так как перед лицом явной опасности думать не о чем, кроме спасения, а это, как без слов понимали все, зависело от тьмы и быстроты лошади. Коломбу чудились крики, свист пуль; одна из них, пущенная наугад вдоль дороги, действительно была

им услышана; резкий короткий свист ее оборвался щелчком в попутный древесный ствол.

Повозка мчалась, немилосердно встряхивая пассажиров, выстрелы стихли, оборвались. Наступила пауза, в течение которой слышались лишь болезненное хрипение лошади и треск прыгающих колес. Затем, как бы заключая цепь впечатлений, грянул последний выстрел; случаю было угодно, чтобы на этот раз пуля достигла цели. Коломб, пробитый насквозь, подскочил, задохнувшись на мгновение от боли в прорванном легком, вскрикнул и сказал:

— Меня ударило. — Он опустил на руки Брауля. Гильом свернул в чашу леса и остановил лошадь.

IV

Коломбу много раз приходилось, конечно, задумываться над ощущениями раненого человека и даже описывать это в некоторых произведениях. Основой таких переживаний, — не будучи сам знаком с ними, — он считал самые тяжелые чувства: испуг, тоску, отчаяние, гнев на судьбу и т. д. Люди, стоящие перед лицом смерти, казались ему похожими друг на друга внутренней своей стороной. Затем он думал, что сознание смертельной опасности, возникающее у тяжело раненного — неисчерпаемо сложно, туманно, и тратил на уяснение подобного момента десятки страниц, не сомневаясь, что и сам пережил бы колоссальную психическую вибрацию. Меж тем лично с ним все произошло так.

За выстрелом последовал красноречивый, горячий толчок в спину. Немедленно же представление о пуле и ране соединилось с колющей, скоро прошедшей, болью внутри грудной клетки. Первая мысль была о смерти, то есть о неизвестном, и была поэтому собственною мыслью о предстоящей, быть может, в скором

времени потере сознания, на что сознание ответило возмущением и недоумением. Весь момент напоминал ошибку в числе ступенек лестницы, когда сдержанное движение ноги встречает пустоту и человек, лишенный равновесия, — замирает, оглушенный падением, причина которого делается ясна раньше, чем руки падающего упрутся в землю.

К счастью путников, когда Гильом круто повернул с дороги в лес, повозка не зацепила колесами о стволы и пробилась довольно далеко в глушь. Тряска лесной почвы была, однако же, нестерпимо мучительна для Коломба. Ветви били его по лицу, усиливая раздражение организма, взволнованного возобновившейся болью. Наконец лошадь дернулась взад-вперед и остановилась. Гильом, помогая Коломбу сойти, прислушивался к монотонной тишине ночи; ни топота, ни голосов не было слышно в стороне нападения. По всей вероятности, немецкий разъезд ограничился стрельбой наугад, по слуху, не зная, с кем, с каким числом людей имеет дело; или же, сбитый с толку беспорядочным лесным эхом, пустился в другом направлении. Теперь, когда окончательно смолк лошадиный топот и стук колес, путешественники могли спокойно заняться раненым.

Растерявшийся Брауль осветил фонарем Коломба, сидевшего прислонясь к дереву.

— Ну и разбойники, — сказал кавалерист, помогая корреспонденту снять куртку с Коломба.

От сломанного, выступающего концом наружу ребра сочилась темная кровь. Вся рубашка была в пятнах. Несмотря на все, Коломб чувствовал своеобразное любопытство к своему положению. Вид мокрого темного передка рубашки страшно взволновал его, но не испугал. Волнение поддерживало его силы. Интеллект покуда молчал; организм, осваиваясь с необычным состоянием, противился действию разрушения; сердце жестоко билось, во рту было сухо и жарко.

— Однако, — сказал Коломб, — лучше бы нам сесть в повозку и ехать. — Он упирался руками в землю, желая подняться, и застонал. — Нет, не выйдет ничего. Но вы поезжайте.

— Глупо, — сказал Брауль, разворачивая бинты. — Расставьте руки. — Он стал перевязывать раненого, говоря: — Все это моя затея. Что я скажу обществу и редакции? Вам очень больно?

— Боль глухая, когда я не шевелюсь.

— Поступим так, — сказал солдат. — Мы, — я и дядя Гильом, — мигом устроим носилки, дерева здесь много, — понесем вас потихонечку, господин Коломб. А вы, значит, потерпите пока. Гильом, есть веревка?

— Есть. Хватило бы повесить кой-кого из этих стрелков.

Гильом стал шарить в повозке, а кавалерист, захватив фонарь, отправился за жердями. Скоро послышался чавкающий стук его палаша. Брауль сделал Коломбу тугую, крестообразную повязку, заставил раненого лечь на разостланный плащ и сел рядом, вздыхая в ожидании носилок.

Не желая усиливать тягостное настроение спутников разговором о своем положении, Коломб молчал. Он знал уже, что рана сквозная, и, хотя это обстоятельство говорило в его пользу, — ждал смерти. Он не боялся ее, но ему было жалко и страшно покидать жизнь такой, какой она была. Потрясение, нервность, торжественная тьма леса, внезапный переход тела от здоровья к страданию — придали его оценке собственной жизни ту непогрешимую суровую ясность, какая свойственна сильным характерам в трагические моменты. Несовершенства своей жизни он видел очень отчетливо. В сущности, он даже и не жил по-настоящему. Его воля, хотя и бессознательно, была всецело направлена к охранению своей индивидуальности. Он отвергал все, что не отвечало его наклонностям; в живом мире любви, страданий и пре-

ступлений, ошибок и воскресений он создал свой особый мир, враждебный другим людям, хотя этот его мир был тем же самым миром, что и у других, только пропущенным сквозь призму случайностей настроения, возведенных в закон. Его ошибки в сфере личных привязанностей граничили с преступлениями, ибо здесь, по присущей ему невнимательности, допускалось попираание чужой души, со всеми его тягостными последствиями, в виде обид, грусти и оскорбленности. В любви он напоминал человека, впотьмах шагающего по цветочным клумбам, но не считающего себя виновным, хотя мог бы осветить то, что требовало самого нежного и священного внимания. Это был магический круг, осиное гнездо души, полагающей истинную гордость в черствой замкнутости, а пороки — неизбежной тенью оригинального духа, хотя это были самые обыкновенные, мелкие пороки, общие почти всем, но извиняемые якобы двойственностью натуры. Его романы тщательно проводили идеи, в которые он не верил, но излагал их потому, что они были парадоксальны, как и все его существо, склонное к выгодным для себя преувеличениям.

Жизнь в том виде, в каком она представилась ему теперь, казалась нестерпимо, болезненно гадкой. Не смерть устрашала его, а невозможность, в случае смерти, излечить прошлое. «Я должен выздороветь, — сказал Коломб, — я должен, невозможно умирать так». Страстное желание выздороветь и жить иначе было в эти минуты преобладающим.

И тут же, с глубоким изумлением, с заглушающей муки души радостью, Коломб увидел, при полном освещении мысли то, что так тщетно искал для героини неоконченной повести. Не теряя времени, он приступил к аналогии. Она, как и он, ожидает смерти; как он, желает покинуть жизнь в несовершенном ее виде. Как он — она человек касты; ему заменила живую жизнь привычка жить воображением; ей —

идеология разрушения; для обоих люди были материалом, а не целью, и оба, сами не зная этого, совершали самоубийство.

— Наконец-то, — сказал Коломб вслух пораженному Браулю, — наконец-то я решил одну психологическую задачу — это относится, видите ли, к моей повести. В основу решения я положил свои собственные теперешние переживания. Поэтому-то она и не бросила снаряд, а даже помешала преступлению.

— Коломб, что с вами? Вы бредите? — испуганно вскричал Брауль.

Коломб не ответил. Он погрузился в беспмятство — следствие волнения и потери крови.

— Носилки готовы, — сказал, волоча грубое оружие, кавалерист. — Ну, в путь, да и поможет нам бог!

Коломб остался жив, и ему не только для повести, но и для него самого очень были полезны те размышления, в которых, ожидая смерти, он провел всего, может быть, с полчаса. Но и вся жизнь человеческая коротка, а полчаса, описанные выше, стоят иногда целой жизни.

1914

ЗАБЫТОЕ

I

Табарен был очень ценным работником для фирмы «Воздух и свет». В его натуре счастливо сочетались все необходимые хорошему съемщику качества: страстная любовь к делу, находчивость, профессиональная смелость и огромное терпение. Ему удавалось то, что другие считали невыполнимым. Он умел ловить угол света в самую дурную погоду, если снимал на улице какую-либо процессию или проезд высокопо-

ставленных лиц. Одинаково хорошо и ясно и всегда в интересном ракурсе снимал он все заказы, откуда бы ни пришлось: с крыш, башен, деревьев, аэропланов и лодок. Временами его ремесло переходило в искусство. Снимая научно-популярные ленты, он мог часами просиживать у птичьего гнезда, ожидая возвращения матери к голодным птенцам, или у пчелиного улья, приготовляясь запечатлеть вылет нового роя. Он побывал во всех частях света, вооруженный револьвером и маленьким съемочным аппаратом. Охоты на диких зверей, жизнь редких животных, битвы туземцев, величественные пейзажи, — все проходило перед ним, сперва в жизни, а затем на прозрачной ленте, и сотни тысяч людей видели то, что видел сперва один Табарен.

Созерцательный, холодный и невозмутимый характер его как нельзя более отвечал этому занятию. С годами Табарен разучился принимать жизнь в ее существе; все происходящее, все, что было доступно его наблюдению, оценивал он как годный или негодный материал зрительный. Он не замечал этого, но бессознательно всегда и прежде всего взвешивал контрасты света и теней, темп движения, окраску предметов, рельефность и перспективу. Привычка смотреть, своеобразная жадность зрения была его жизнью; он жил глазами, напоминая прекрасное, точно зеркало, чуждое отражаемому.

Табарен зарабатывал много, но с наступлением войны дела его пошатнулись. Фирма его лопнула, другие же фирмы сократили операции. Содержание семьи стало дорого, вдобавок пришлось уплатить по нескольким спешно предъявленным векселям. Табарен остался почти без денег; похудевший от забот, часами просиживал он в кафе, обдумывая выход из тягостного, непривычного положения.

— Снимите бой, — сказал однажды ему знакомый, тоже оставшийся не у дел съемщик. — Но только не

инсценировку. Снимите бой настоящий, в десяти шагах, со всеми его непредвиденными натуральными положениями. За негатив дадут прекрасные деньги.

Табарен почесал лоб.

— Я думал об этом, — сказал он. — Единственное, что останавливало меня, — это семья. Опасности привыкли ко мне, а я к ним, но быть убитым, оставив семью без денег, — нехорошо. Во-вторых, мне нужен помощник. Может случиться, что, раненный, я брошу вертеть ленту, а продолжать нужно. Наконец, вдвоем безопаснее и удобнее. В-третьих, надо получить разрешение и пропуск.

Они замолчали. Знакомого Табарена звали Ланоск; он был поляк, с детства живущий за границей. Настоящую фамилию его: «Ланской» — французы переделали на «Ланоск», и он привык к этому. Ланоск напряженно думал. Идея боевой фильма все более пленяла его, и то, что он высказал вслух, не было, по-видимому, внезапным решением, а ждало только подходящего случая и настроения. Он сказал:

— Давайте, Табарен, сделаем это вместе. Я одинок. Доход пополам. У меня есть небольшое сбережение; его хватит пока вашей семье, а потом сосчитаемся. Не беспокойтесь, я деловой человек.

Табарен обещал подумать и через день согласился. Тут же он развил перед Ланоском план съемок: лента должна быть возможно полной. Они дадут полную картину войны, развертывая ее кресчендо от незначительных, подготовляющих впечатлений до настоящего боя. Ленту хорошо сделать единственной в этом роде. Игра ва-банк: смерть или богатство.

Ланоск воодушевился. Он заявил, что тотчас поедет и заключит предварительное условие с двумя конторами. А Табарен отправился хлопотать о разре-

шении военного начальства. С большим трудом, путем множества мытарств, убеждая, доказывая, прося и умоляя, получил он наконец через две недели желанную бумагу, затем успокоил, как мог, жену, сказав ей, что получил недолгосрочную командировку обычного характера, и выехал с Ланоском на боевые поля.

II

Первая неделя прошла в усиленной и беспокойной работе, в посещениях местностей, затронутых войной, и выборе среди изобилия материала — самого интересного. Где верхом, где пешком, где на лодках или в солдатском поезде, часто без сна и впроголодь, ночуя в крестьянских избах, каменоломнях или в лесу, съемщики наполнили шестьсот метров ленты. Здесь было все: деревни, сожженные пруссаками; жители-беглецы, рощи, пострадавшие от артиллерийского огня, трупы солдат и лошадей, сцены походной жизни, картины местностей, где происходили наиболее ожесточенные бои, пленные немцы, отряды зуавов и тюркосов; словом — вся громада борьбы, включительно до переноски раненых и снимков операционных помещений на их полном ходу. Не было только еще центра картины — боя. Невозмутимо, как привычный хирург у операционного стола, Табарен вертел ручку аппарата, и глаза его вспыхивали живым блеском, когда яркое солнце помогало работе или случай давал живописное расположение живых групп. Ланоск, более нервный и подвижный, вначале сильно страдал; часто при виде разрушений, нанесенных немцами, проклятия сыпались из его горла столь же выразительным тоном, как плач женщины или крик раненого. Через несколько дней нервы его притупились, затихли, он втянулся, привык и примирился со своей ролью — молча отражать виденное.

Наступил день, когда съемщикам надлежало выполнить самую трудную и заманчивую часть работы; снять подлинный бой. Дивизия, близ которой остановились они в маленькой деревушке, должна была утром атаковать холмы, занятые неприятелем. Ночью, наняв телегу, Табарен и Ланоск отправились в цепь, где с разрешения полковника присоединились к стрелковой роте.

Ночь была пасмурная и холодная. Огней не разводили. Солдаты частью спали, частью сидели еще группами, разговаривая о делах походной жизни, стычках и ранах. Некоторые спрашивали Табарена — не боится ли он. Табарен, улыбаясь, отвечал всем:

— Я только одно боюсь: что пуля пробьет ленту. Ланоск говорил:

— Трудно попасть в аппарат: он маленький.

Они закусили хлебом и яблоками и улеглись спать. Табарен скоро уснул; Ланоск лежал и думал о смерти. Над головой его неслись тучи, гонимые резким ветром; вдали гудел лес. Ланоск не боялся смерти, но боялся ее внезапности. На тысячи ладов рисовал он себе этот роковой случай, пока с востока не побелел воздух и синий глаз неба скользнул кое-где среди серых, облачных армад, густо валившихся за холмистый горизонт.

Тогда он разбудил Табарена и осмотрел аппарат.

Табарен, проснувшись, прежде всего осмотрел небо.

— Солнца, солнца! — нетерпеливо вскричал он. — Без солнца все будет смазано: здесь некогда долго выбирать позицию и находить фокус!

— Я съел бы эти тучи, если бы мог! — подхватил Ланоск.

Они стояли в окопе. Слева и справа от них тянулись ряды стрелков. Лица их были серьезны и деловиты. Через несколько минут вой первой шрапнели огласил высоту, и в окоп после грозного треска

сыпнул невидимый град. Два стрелка пошатнулись, два упали. Бой начался. Гремели раскаты ружейного огня; сзади, поддерживая пехоту, потрясали землю артиллерийские выстрелы.

Табарен, установив аппарат, внимательно вертел ручку. Он наводил объект то на раненых, то на стреляющих, ловил целлулоидом выражение их лиц, позы, движения. Обычное хладнокровие не изменило ему, только сознание заработало быстрее, время как бы остановилось, а зрение удвоилось. По временам он топал ногой, вскрикивая:

— Солнца! Солнца!

На него не обращали внимания. Солдаты, перебегая, толкали его, и тогда он крепко цеплялся за аппарат, опасаясь за его целость. Ланоск сидел, прижавшись к стенке окопа.

По окопам, заглушаемая выстрелами, передалась команда. Отряд шел в атаку. Солдаты, перелезая через бруствер, бросились бежать к холмам, молча, стиснув зубы, с ружьями наперевес. Табарен, держа аппарат под мышкой, кинулся бежать за солдатами, пересиливая одышку. Ланоск не отставал: он был бледен, возбужден и на бегу не переставая кричал:

— Ура, Табарен! Лента и Франция увидят чертовский удар нашего штыка! А ловко я это выдумал, Табарен? Опасно... но, черт возьми — жизнь вообще опасна! Смотрите, что за молодцы бегут впереди! Как у этого блестят зубы! Он смеется! Ура! Мы снимем победу, Табарен! Ура!

Они слегка отстали, и Табарен пустился бежать изо всех сил. Пули срезывали у его ног траву, свистали над головой, и он страшной силой воли заставил молчать сознание, твердящее о внезапной смерти. Чем дальше, тем чаще встречались ему лежащие ничком, только что опередившие его в беге солдаты.

На гребне холма показались немцы, поспешно выбегая навстречу, стреляя на ходу и что-то выкрикивая. За минуту до столкновения Табарен вырвал у Ланоска треножник и быстро, задыхаясь от бега, установил аппарат. Руки его тряслись. В этот момент ненавистное, упрямое, милое солнце бросило в разрез туч желтый, живой свет, родив бегущие тени людей, ясность и чистоту дали.

Французы бились от Табарена в пятнадцати, десяти шагах. Мелькающий блеск штыков, круги, описываемые прикладами, изогнутые назад спины падающих, повороты и прыжки наступающих, движение касок и кепи, гневная бледность лиц — все, схваченное светом, несло в темную камеру аппарата. Табарен вздрагивал от радости при виде ловких ударов. Ружейные стволы, парируя и поражая, хлопались друг о друга. Вдруг странное смешение чувств потрясло Табарена. Затем он упал, и память и сознание оставили его, лежащего на земле.

III

Когда Табарен очнулся, то понял по обстановке и тишине, что лежит в лазарете. Он чувствовал сильную жажду и слабость. Попробовав повернуть голову, он чуть снова не лишился сознания от страшной боли в висках. Забинтованная, не смертельно простреленная голова требовала покоя. Первый вопрос, заданный им врачу, был:

— Цел ли мой аппарат?

Его успокоили. Аппарат подобрал санитар; товарища же его, Ланоска, убили. Табарен был еще слишком слаб, чтобы реагировать на это известие. Волнение, пережитое в вопросе о судьбе аппарата, утомило его. Он вскоре уснул.

Ряд долгих, скучных, томительных дней провел Табарен на койке, тщетно пытаясь вспомнить, как и при каких обстоятельствах получил рану. Пораженная память отказывалась заполнить темный провал живым содержанием. Смутно казалось Табарену, что там, во время атаки, с ним произошло нечто удивительное и важное. Кусая губы и морща лоб, подолгу думал он о том неизвестном, которое оставило памяти едва заметный след ощущений, столь сложных и смутных, что попытка воскресить их вызывала неизменно лишь утомление и досаду.

В конце августа он возвратился в Париж и тотчас же занялся проявлением негативов. То одна, то другая фирма торопили его, да и сам он горел нетерпением увидеть наконец на экране плоды своих трудов и скитаний. Когда все было готово, в просторном зале собрались смотреть боевую фильму Табарена агенты, представители фирм, содержатели театров и кинематографов.

Табарен волновался. Он сам хотел судить о своей работе в полном ее объеме, а потому избегал смотреть ранее этого вечера готовую уже ленту на свет. Кроме того, его удерживала от преждевременного любопытства тайная, ни на чем, конечно, не обоснованная надежда найти на экране, в связном повторении моментов, исчезнувший бесследно обрывок воспоминаний. Потребность в с п о м н и т ь стала его болезнью, манией. Он ждал и почему-то боялся. Его чувства напоминали трепет юноши, идущего на первое свидание. Усаживаясь на стул, он волновался, как ребенок.

В глубоком молчании смотрели зрители сцены войны, добытые ценой смерти Ланоска. Картина заканчивалась. Тяжело дыша, смотрел Табарен эпизоды штыкового боя, смутно начиная что-то припоминать. Вдруг он закричал:

— Это я! я!

Действительно, это был он. Французский стрелок, изнемогая под ударами пруссаков, шатался уже, еле держась на ногах; окруженный, он бросил вокруг себя безнадежный взгляд, посмотрел в сторону, за раму экрана и, падая, раненный еще раз, закричал что-то неслышное зрителям, но теперь до боли знакомое Табарену. Крик этот снова раздался в его ушах. Солдат крикнул:

— Помоги землячку, фотограф!

И тотчас же Табарен увидел на экране себя, подбегающего к дерущимся. В его руке был револьвер, он выстрелил раз, и два, и три, свалил немца, затем схватил выпавшее ружье француза и стал отбиваться. И чувства жалости и гнева, бросившие его на помощь французу, — снова воскресли в нем. Второй раз он изменил себе, изменил спокойному зрению и профессиональной бесстрастности. Волнение его разразилось слезами. Экран погас.

— Боже мой! — сказал, не отвечая на вопросы знакомых, Табарен. — Лента кончилась... в этот момент убили Ланоска... Он продолжал вертеть ручку! Еще немного — и солдата убили бы. Я не выдержал и плюнул на ленту!

1914

БАТАЛИСТ ШУАН

I

Путешествовать с альбомом и красками, несмотря на револьвер и массу охранительных документов, в разоренной, занятой пруссаками стране — предприятие, разумеется, смелое. Но в наше время смельчаками хоть пруд пруди.

Стоял задумчивый, с красной на ясном небе за-

рей — вечер, когда Шуан, в сопровождении слуги Матиа, крепкого, высокого человека, подъехал к разрушенному городку N. Оба совершали путь верхом.

Они миновали обгоревшие развалины станции и углубились в мертвую тишину улиц. Шуан первый раз видел разрушенный город. Зрелище захватило и смутило его. Далекой древностью, временами Аттилы и Чингисхана отмечены были, казалось, слепые, мертвые обломки стен и оград.

Не было ни одного целого дома. Груды кирпичей и мусора лежали под ними. Всюду, куда падал взгляд, зияли огромные бреши, сделанные снарядами, и глаз художника, угадывая местами по развалинам живописную старину или оригинальный замысел современного архитектора, болезненно щурился.

— Чистая работа, господин Шуан, — сказал Матиа, — после такого опустошения, сдастся мне, осталось мало охотников жить здесь!

— Верно, Матиа, никого не видно на улицах, — вздохнул Шуан. — Печально и противно смотреть на все это. Знаешь, Матиа, я, кажется, здесь поработаю. Окружающее возбуждает меня. Мы будем спать, Матиа, в холодных развалинах. Тсс! Что это?! Ты слышишь голоса за углом?! Тут есть живые люди!

— Или живые пруссаки, — озабоченно заметил слуга, смотря на мелькание теней в грудях камней.

II

Три мародера, двое мужчин и женщина, бродили в это же время среди развалин. Подлое ремесло держало их все время под страхом расстрела, поэтому ежеминутно оглядываясь и прислушиваясь, шайка уловила слабые звуки голосов — разговор Шуана и Матиа. Один мародер — «Линза» — был любовником женщины; второй — «Брелок» — ее братом; женщина носила

прозвище «Рыба», данное в силу ее увертливости и жалости.

— Эй, дети мои! — прошептал Линза. — Цыть! Слушайте.

— Кто-то едет, — сказал Брелок. — Надо узнать.

— Ступай же! — сказала Рыба. — Поди высмотри, кто там, да только скорее.

Брелок обежал квартал и выглянул из-за угла на дорогу. Вид всадников успокоил его. Шуан и слуга, одетые по-дорожному, не возбуждали никаких опасений. Брелок направился к путешественникам. У него не было еще никакого расчета и плана, но, правильно рассудив, что в такое время хорошо одетым, на сытых лошадях людям невысказанно скитаться без денег, он хотел узнать, нет ли поживы.

— А! Вот! — сказал, заметив его, Шуан. — Идет один живой человек. Поди-ка сюда, бедняжка. Ты кто?

— Бывший сапожный мастер, — сказал Брелок, — была у меня мастерская, а теперь хожу босиком.

— А есть кто-нибудь еще живой в городе?

— Нет. Все ушли... все; может быть, кто-нибудь... — Брелок замолчал, обдумывая внезапно сверкнувшую мысль. Чтобы привести ее в исполнение, ему требовалось все же узнать, кто путешественники.

— Если вы ищете своих родственников, — сказал Брелок, делая опечаленное лицо, — ступайте в деревушки, что у Милета, туда потянулись все.

— Я художник, а Матиа — мой слуга. Но — показалось мне или нет — я слышал невдалеке чей-то разговор. Кто там?

Брелок мрачно махнул рукой.

— Хм! Двое несчастных сумасшедших. Муж и жена. У них, видите, убило снарядам детей. Они рехнулись на том, что все обстоит по-прежнему, дети живы и городок цел.

— Слышишь, Матиа? — сказал, помолчав, Шунан. — Вот ужас, где замечания излишни, а подробности нестерпимы. — Он обратился к Брелоку:

— Послушай, милый, я хочу видеть этих безумцев. Проведи нас туда.

— Пожалуйста, — сказал Брелок, — только я пойду посмотрю, что они делают, может быть, они пошли к какому-нибудь воображаемому знакомому.

Он возвратился к сообщникам. В течение нескольких минут толково, подробно и убедительно внушал он Линзе и Рыбе свой замысел. Наконец они столкнулись. Рыба должна была совершенно молчать. Линза обязывался изобразить сумасшедшего отца, а Брелок — дальнего родственника стариков.

— Откровенно говоря, — сказал Брелок, — мы, как здоровые, заставим их держаться от себя подальше. «Что делают трое бродяг в покинутом месте и в такое время?» — спросят они себя. А в роли безобидных сумасшедших мы, пользуясь первым удобным случаем, убьем обоих. У них должны быть деньги, сестрица, деньги! Нам попадается много тряпок, разбитых ламп и дырявых картин, но где, в какой мусорной куче, мы найдем деньги? Я берусь уговаривать мазилку остаться ночевать с нами... Ну, смотрите же теперь в оба!

— Как ты думаешь, — спросил Линза, перебираясь с женщиной в соседний, менее других разрушенный дом, — трясти мне головой или нет? У сумасшедших часто трясется голова.

— Мы не в театре, — сказала Рыба, — посмотри кругом! Здесь страшно... темно... скоро будет еще темнее. Раз тебя показывают как безумца, что бы ты ни говорил и ни делал — все будет в чужих глазах безумным и диким; да еще в таком месте. Когда-то я жила с вертопрахом Шармером. Обокрав кредиторов и избегая суда, он притворился блаженньким; ему поверили, он достиг этого только тем, что ходил

всюду, держа в зубах пробку. Ты... ты в лучших условиях!

— Правда! — повеселел Линза. — Я уж сыграю рольку, только держись!

III

— Ступайте за мной! — сказал Брелок всадникам. — Кстати, в том доме вы могли бы и переночевать... хоть и безумцы, а все же веселее с людьми.

— Посмотрим, посмотрим. — спешиваясь, ответил Шуан. Они подошли к небольшому дому, из второго этажа которого уже доносились громкие слова мнимосумасшедшего Линзы: «Оставьте меня в покое. Дайте мне повесить эту картинку! А скоро ли подадут ужин?»

Матиа отправился во двор привязать лошадей, а Шуан, следуя за Брелоком, поднялся в пустое помещение, лишенное половины мебели и забросанное тем старым хламом, который обнаруживается во всякой квартире, если ее покидают: картонками, старыми шляпами, свертками с выкройками, сломанными игрушками и еще многими предметами, коим не сразу найдешь имя. Стена фасада и противоположная ей были насквозь пробиты снарядом, обрушившим пласты штукатурки и холсты пыли. На каминной доске горел свечной огарок; Рыба сидела перед камином, обхватив руками колени и неподвижно смотря в одну точку, а Линза, словно не замечая нового человека, ходил из угла в угол с заложенными за спину руками, бросая исподлобья пристальные, угрюмые взгляды. Молодость Шуана, его застенчиво-виноватое, подавленное выражение лица окончательно ободрили Линзу, он знал теперь, что самая грубая игра выйдет великолепно.

— Старуха совсем пришиблена и, кажется, уже ничего не сознает, — шепнул Шуану Брелок, — а ста-

рик все ждет, что дети вернуться! — Здесь Брелок повысил голос, давая понять Линзе, о чем говорить.

— Где Сусанна? — строго обратился Линза к Шуану. — Мы ждем ее, чтобы сесть ужинать. Я голоден, черт возьми! Жена! Это ты распустила детей! Какая гадость! Жану тоже пора готовить уроки... да, вот нынешние дети!

— Обоих — Жана и Сусанночку, — говорил сдавленным шепотом Брелок, — убило, понимаете, одним взрывом снаряда — обоих! Это случилось в лавке... Там были и другие покупатели... Всех разнесло... Я смотрел потом... о, это такой ужас!

— Черт знает что такое! — сказал потрясенный Шуан. — Мне кажется, что вы могли бы, схитрив как-нибудь, убрать этих несчастных из города, где их ждет только голодная смерть.

— Ах, господин, я их подкармливаю, но как?! Какие-нибудь овощи с покинутых огородов, горсть гороху, собранная в пустом амбаре... Конечно, я мог бы увезти их в Гренобль, к моему брату... Но деньги... ах, — как все дорого, очень дорого!

— Мы это устроим, — сказал Шуан, вынимая бумажник и протягивая мошеннику довольно крупную ассигнацию. — Этого должно вам хватить.

Два взгляда — Линзы и Рыбы — исподтишка скрестились на его руке, державшей деньги. Брелок, приняв взволнованный, пораженный вид, вытер рукавом сухие глаза.

— Бог... бог... вам... вас... — забормотал он.

— Ну, бросьте! — сказал растроганный Шуан. — Однако мне нужно посмотреть, что делает Матиа, — и он спустился во двор, слыша за спиной возгласы Линзы: — «Дорогой мой мальчик, иди к папе! Вот ты опять ушиб ногу!» — Это сопровождалось искренним, неподдельным хохотом мародера, вполне довольного собой. Но Шуан, иначе понимая этот смех, был сильно удручен им.

Он столкнулся с Матиа за колодцем.

— Нашел мешок сена, — сказал слуга, — но выбежал множество дворов. Лошади поставлены здесь, в сарае.

— Мы ляжем вместе около лошадей, — сказал Шуан. — Я голоден. Дай сюда сумку. — Он отделил часть провизии, велел Матиа отнести ее «сумасшедшим». — Я больше не пойду туда, — прибавил он, — их вид действует мне на нервы. Если тот молодой парень спросит обо мне, скажи, что я уже лег.

Приладив свой фонарь на перевернутом ящике, Шуан занялся походной едой: консервами, хлебом и вином. Матиа ушел. Творческая мысль Шуана работала в направлении только что виденного. И вдруг, как это бывает в счастливые, роковые минуты вдохновения, — Шуан ясно, со всеми подробностями увидел ненаписанную картину, ту самую, о которой в тусклом состоянии ума и фантазии тоскуют, не находя сюжета, а властное желание произвести нечто вообще грандиозное, без ясного плана, даже без отдаленного представления об искомом, не перестает мучить. Таким произведением, во всей гармоничности замысла, компоновки и исполнения, был полон теперь Шуан и, как сказано, весьма отчетливо представлял его. Он намеревался изобразить помешанных, отца и мать, сидящих за столом в ожидании детей. Картина разрушенного помещения была у него под руками. Стол, как бы накрытый к ужину, должен был, по плану Шуана, ясно показывать неумолимость стариков: среди разбитых тарелок (пустых, конечно) предлагал он разместить предметы посторонние, чуждые еде; все вместе олицетворяло, таким образом, смешение представлений. Старики помешаны на том, что ничего не случилось, и дети, вернувшись откуда-то, сядут, как всегда, за стол. А в дальнем углу заднего плана из сгущенного мрака слабо выступает осторожно намеченный кусок ограды (что как бы грезится ста-

рикам), и у ограды видны тела юноши и девушки, которые не вернутся. Подпись к картине: «Заставляют стариков ждать...», долженствующая указать искреннюю веру несчастных в возвращение детей, сама собой родилась в голове Шуана... Он перестал есть, увлеченный сюжетом. Ему казалось, что все бедствия, вся скорбь войны могут быть выражены здесь, воплощены в этих фигурах ужасной силой таланта, присущего ему... Он видел уже толпы народа, стремящегося на выставку к его картине; он улыбался мечтательно и скорбно, как бы сознавая, что обязан славой несчастьем — и вот, забыв о еде, вынул альбом. Ему хотелось немедленно приступить к работе. Взяв карандаш, нанес он им на чистый картон предварительные соображения перспективы и не мог остановиться... Шуан рисовал пока дальний угол помещения, где в мраке видны тела... За его спиной скрипнула дверь; он обернулся, вскочил, сразу возвращаясь к действительности, и уронил альбом.

— Матиа! Ко мне! — закричал он, отбиваясь от стремительно кинувшихся на него Брелога и Линзы.

IV

Матиа, оставив Шуана, разыскал лестницу, ведущую во второй этаж, где зловещие актеры, услышав его шаги, приняли уже нужные положения. Рыба села опять на стул, смотря в одну точку, а Линза водил по стене пальцем, бессмысленно улыбаясь.

— Вы, я думаю, все тут голодны, — сказал Матиа, кладя на подоконник провизию, — ешьте. Тут хлеб, сыр и банка с маслом.

— Благодарю за всех, — проникновенно ответил Брелок, незаметно подмигивая Линзе в виде сигнала быть настороже и, улучив момент, повалить Матиа. — Твой господин устал, надо быть. Спит?

— Да... Он улегся. Плохой ночлег, но ничего не поделаешь. Хорошо, что водопровод дал воды, а то лошадям было бы...

Он не договорил. Матиа, стоя лицом к Брелоку, не видел, как Линза, потеряв вдруг охоту бормотать что-то про себя, разглядывая стену, быстро нагнулся, поднял тяжелую дубовую ножку от кресла, вывернутую заранее, размахнулся и ударил слугу по темени. Матиа, с побледневшим лицом, с внезапным туманом в голове, глухо упал, даже не вскрикнув.

Увидав это, Рыба вскочила, торопя наклонившегося над телом Линзу:

— Потом будешь смотреть... Убил, так убил. Идите в сарай, кончайте, а я пообшарю этого.

Она стремительно рылась в карманах Матиа, громко шепча вдогонку удаляющимся мошенникам:

— Смотрите же, не сорвитесь!

Увидав свет в сарае, более осторожный Брелок замялся, но Линза, распаленный насилием, злобно потащил его вперед:

— Ты размяк!.. Струсил!.. Мальчишка!.. Нас двое!

Они задержались у двери, плечо к плечу, не более как на минуту, отдышались, угрюмо впиваясь глазами в яркую щель незапертой двери, а затем Линза, толкнув локтем Брелока, решительно рванул дверь, и мародеры бросились на художника.

Он сопротивлялся с отчаянием, утраивающим силу. «С Матиа, должно быть, покончили», — мелькнула мысль, так как на его призывы и крики слуга не являлся. Лошади, возбужденные суматохой, рвались с привязей, оглушительно топоча по деревянному настилу. Линза старался ударить Шуана дубовой ножкой по голове, Брелок же, работая кулаками, выбирал удобный момент повалить Шуана, обхватив сзади. Шуан не мог воспользоваться револьвером, не рас-

стегнув предварительно кобуры, а это дало бы маро-дерам тот минимум времени бездействия жертвы, какой достаточен для смертельного удара. Удары Линзы падали главным образом на руки художника, от чего, немея вследствие страшной боли, они почти отказывались служить. По счастью, одна из лошадей, толкаясь, опрокинула ящик, на котором стоял фонарь, фонарь свалился стеклом вниз, к полу, закрыв свет, и наступил полный мрак.

«Теперь, — подумал Шуан, бросаясь в сторону, — теперь я вам покажу». — Он освободил револьвер и брызнул тремя выстрелами наудачу, в разные направления. Красноватый блеск вспышек показал ему две спины, исчезающие за дверью. Он выбежал во двор, проник в дом, поднялся наверх. Старуха исчезла, услышав выстрелы; на полу у окна, болезненно, с трудом двигаясь, стонал Матиа.

Шуан отправился за водой и смочил голову пострадавшего. Матиа очнулся и сел, держась за голову.

— Матиа, — сказал Шуан, — нам, конечно, не уснуть после таких вещей. Постарайся овладеть силами, а я пойду седлать лошадей. Прочь отсюда! Мы проведем ночь в лесу.

Придя в сарай, Шуан поднял альбом, изорвал только что зарисованную страницу и, вздохнув, разбросал клочки.

— Я был бы сообщником этих гнусов, — сказал он себе, — если бы воспользовался сюжетом, разыгранным ими... «Заставляют стариков ждать...» Какая тема идет насмарку! Но у меня есть славное утешение: одной такой трагедией меньше, ее не было. И кто из нас не отдал бы всех своих картин, не исключая шедевров, если бы за каждую судьба платила отнятой у войны невинной жизнью?

ОГНЕННАЯ ВОДА

I

К главному подъезду замка Пелегрин, описав решительный полукруг, прибыл автомобиль жемчужного цвета — ландо.

В левом его углу с подчеркнутой скромностью человека, добровольно ставящего себя в зависимое положение, сидела молодая женщина с серьезным, мелких черт, лицом и тем оттенком улыбки, какой свойствен сдержанной душе при интересном эксперименте.

Она была не одна. Господин с лысиной, выходящей из-под цилиндра к затылку половиной тарелки, с завитыми вверх, лирой, усами и тройным подбородком, уронив, как слезу, в руку монокль, оступись, и, подхваченный швейцаром, вновь вскинул стекло в глазную орбиту, чопорно оглядываясь.

Швейцар звонком вызвал лакея, презрительно поджав нижнюю губу, что, впрочем, относилось не к посетителю.

— Нижайшее почтение господину нотариусу,— сказал он почтительным, но несколько фамильярным тоном сообщника. — Все в порядке.

— В порядке, — повторил нотариус Эспер Ван-Тегиус. — Шутки долой. Пока не пришел кто-нибудь из этой банды, говорите, как дела.

— Во-первых, идут какие-то проделки и стоит кавардак. Во-вторых, совещание докторов окончилось ничем. Я подслушивал у дверей с негром Амброзио. Смысл решений такой, что «нет никаких оснований».

— А... Это печально, — сказал Ван-Тегиус. — Профессор Дюфорс еще меня не известил обо всем этом. — Удар! Последнее средство... — Он обернулся и кивнул даме в автомобиле, махнувшей ему ответно концом вуали. — Ну, что еще? Настроение? Факты?

В даях заднего плана раскатисто заскакало эхоружейного выстрела, сопровождаемого резким криком.

— Факты? — сказал, вздрогнув, швейцар, и его гладстоновское лицо передернулось, как кисель. — Вот и факты. Утром он убил восемь павлинов, это девятый.

— Но что же...

— Тс-с...

Где-то вверху лестницы устался в ухо нотариуса пронзительный свисток, ему ответил второй, и по лестнице, припрыгивая и катясь ладонью по гладким мраморным перилам, спустился бритый человек с лицом тигра: его кожаная куртка и полосатая рубаха были расстегнуты; широкие штаны болтались вокруг огромных ботов с подошвой в три пальца. Копна полуседых, черных волос была стянута малинового цвета платком. Дым шел одновременно из трубки и рта, так что человек спустился как бы на облаке.

Невольно Ван-Тегиус увидел за его спиной призрак подобострастного маркиза в шелковых чулках и красной ливрее, но лакеев этого типа не найти было более в Пелегрине.

— Что здесь происходит? — спросил страшный слуга.

— Нет ни абордажа, ни драки дубовыми скамейками, — с ненавистью ответил швейцар, — просто посетитель, ничего более. Да. Может быть, вы взберетесь по вантам доложить о его прибытии? Нотариус Ван-Тегиус.

Страшилище почесало затылок.

— Я хочу видеть по делу владельца, Эвереста Монкальма, — заявил нотариус, намеренно избегая титула.

— Пойду скажу, — задумчиво ответил матрос, — не знаю, что будет.

Он исчез, шагая по три ступеньки; тем временем

швейцар сообщил еще кое-что интересное: уволено тридцать слуг, взамен их Монкальм выписал откуда-то человек двадцать матросов, которые и делают, что хотят. Этикет уничтожен; исчезло малейшее подобие знатности и величия. Недавно едва не затравили собаками директора кинематографической фирмы, приехавшего со свитой и актерами просить разрешения снять в древнем гнезде маленькую комедию. Жена Монкальма, эта «темная особа низкого происхождения», как выразился швейцар, вчера самолично руководила на кухне приготовлением кушанья, изобретенного ее мужем. Сам не терпит никаких возражений и указаний. Звонки заменены свистками и трубными сигналами. Все это хлынуло дождем безобразия за три недели, как только изгнанный пятнадцать лет назад за многочисленные художества Эверест по непонятному капризу его дяди стал полным и единственным наследником.

— Гм... гм... — сказал Ван-Тегиус, затем вышел к автомобилю, пошептался с дамой и вернулся в момент, когда ему сверху махнули рукой идти.

II

Он все-таки ожидал еще по старой привычке, так как не раз бывал здесь, что с блаженным и торжественным чувством погрузится в бездны темной стенной резьбы, простора внушительных и величественных предметов с гулким эхом шагов. Отчасти это и было так с той поразительной и всему придавшей иной вид разницей, что во всех помещениях стоял яркий, дневной свет. С удалением темных цветных стекол и заменой их прозрачными залы, казалось, сверкали вихрем желтых и голубых перьев. Чинно выступая вслед развалистой походке морского бродяги, Ван-Тегиус, несколько струсив, прошел сквозь строй коек, составленных пирамидой ружей, и матросов, игравших

в карты, прихлебывая вино, — это была охрана Монкальма. Вдали, на коротком просвете анфилады, промчалась горничная с паническим лицом. В одной гостиной стояла огромная палатка, внутри ее виднелась походная мебелировка пустыни; пальмы в кадках, сдвинутые вокруг, являли вид комнатных тропиков.

Следующая комната, путь к которой шел по небольшой лестнице, показала наконец Ван-Тегиусу более кроткое зрелище. Здесь, полулежа на ковре, подпирая маленькой смуглой рукой голову, расположилась пышно-непричесанная, но в бальном платье, шлейф которого был занят двумя книгами, женщина или, вернее, девочка, ставшая женщиной на семнадцатом году жизни. Все шкафы здесь были открыты, и их музейное содержание — фарфоровые фигурки зверей и людей — образовало перед лицом странной особы маленькую цветную толпу, которую она заботливо группировала в какие-то сцены, по-видимому, придавая этому большое значение. Увидев Ван-Тегиуса, она сердито смутилась и грациозно приподнялась, затем встала, сложив руки назад.

— Это пленник? — сказала она серьезно. — Что он сделал?

— Ничего, идет себе, — ответил матрос, — только это не пленник.

Нервно смеясь, угадывая, что видит жену Монкальма, нотариус отвесил театральный поклон и хотел назвать себя, но женщина, покраснев, махнула рукой.

— Идите, идите, я потом приду, — заявила она и отвернулась, очаровательно заалев.

Путь среди этих чудес был пыткой. Наконец она кончилась. Ван-Тегиус, расстроенный, но крепко решившийся, вошел в колоссальную библиотеку, где у раскрытого окна с винтовкой в руках стоял сам Эверест Монкальм, нелюбимый и изгнанный сын Монкальма, одного из трех великих дюжин страны.

III

Он был в турецком костюме, чалме и низких сафьяновых сапогах. Его широкое нервное лицо с прищуренным, как на солнце, взглядом отражало весь его беспокойный, неукротимый характер; сложенный красиво и сильно, он двигался, как порыв ветра, говорил громко и медленно.

— Ван-Тегиус, — сказал он, вывихивая рукопожатием плечо нотариуса. — Надоели павлины. Их крик ужасен. Что скажете?

Они сели, причем Монкальм уронил свою винтовку, но не поднял; стук, заставив нотариуса вздрогнуть, помог ему начать в темп встречи, — и сразу:

— Эверест, — сказал он, — я знал вас ребенком. Не будем говорить о печальных обстоятельствах...

— Что же печального? — перебил Монкальм. — Обыкновенный блудный сын. Деликатное изгнание с пенсией. Нежелание обручиться с девой, безрадостной, но богатой...

— Молодость Генриха Четвертого, — разрешил себе обобщить Ван-Тегиус, — побеги на рыболовных судах...

— Я откровенно скажу, — снова перебил Монкальм, — пятнадцать лет сделали меня таким, каков я теперь. Со мной Арита. Это моя жена. Я нашел ее в темном углу с пыльным золотым светом. Больше мне ничего не надо. Кстати, — сказал он таинственно, — заметили палатку?

— О, да.

— И военный постой?

— Хм... конечно.

— Ну, так это она. Ей хочется, чтобы все было «как на корабле». Вахта. И пустыня, где она не бывала; поэтому соорудили палатку. Не стоит мешать ей.

— Я удостоился, — с улыбкой сказал Ван-Тегиус, — удостоился вопроса, — «не пленник ли я?»

— Ну да, — ответил, быстро подумав, Эверест. — Это замок. У нее все спуталось в голове. Она, может быть, ждет драконов, — почему я знаю? Вы знаете, — просто сообщил он, — что здесь все смеются над нами. Однажды меня не было. Ей подали обед в парадном порядке, но с издевательством. От поклонов, услуг и титулования она не могла есть; она сидела и плакала, так как растерялась. Узнав это, я выгнал всех хамов и заменил их старыми своими знакомыми. Вас привел Билль. Он был, правда, пиратом, но мимо спальни проходит на цыпочках.

— К сожалению, — сказал нотариус, — ваш образ жизни, бесцеремонный уход с праздника у сестры вашей, герцогини Эльтрат, в сопровождении забулдыг, ваше нежелание посетить влиятельных лиц и многое другое — отвратило от вас много дружественных душ.

— О, — сказал Монкальм и наивно прибавил, — правда. Невероятно скучны эти кисляи. Я делаю, что хочу. Хотите, мы вам сейчас споем хором «Песню о Бобидоне, морском еже»?

— Нет, — вздохнул Ван-Тегиус. — Я уже стар. Монкальм, я приехал с кузиной вашей, Дорой дель-Орнадо. Она в автомобиле, так как боится войти.

Взгляд, подобный пощечине, и срыв Монкальма в хлопнувшую, как стрела, дверь был ответом. Ван-Тегиус пробыл один около десяти минут, пока Эверест вернулся в сопровождении легко и мило выступающей женщины, видимо, взволнованной тем, что предстояло сказать.

— Меня не надо бояться, — сказал Монкальм, двигая ударом ноги кресло для посетительницы.

Затем нотариус приступил к делу и рассказал, что, умирая, дядя Эвереста ввиду невозможности быстро переделать завещание, сделанное в пользу племянника, — призвал его, Ван-Тегиуса, и ее, Дору дель-Орнадо, и заставил поклясться, что устное его пожелание будет передано племяннику.

Оказалось, что игра вышла наверняка. Молодая женщина успела только сказать:

— Дорогой Эверест, мое положение тяжело. Я не посягаю на все и не имею права, но я прошу вас сделать, что можно.

В этот момент вошла Арита, робко потянув дверь. Эверест удержал ее рукой за плечо. Она прошла вперед, упираясь головой в подмышку гиганта, с застенчивым и прелестным лицом, полным неловкости.

— Душа моя, — сказал Монкальм, подмигивая нотариусу и кузине, — мы завтра уезжаем с тобой в Гедарк, в новое путешествие.

— При полном ветре, — сказала она. — И вы с нами?

Смех, короткое представление, два-три ненужных слова, — и посетители удалились.

— Ваш расчет верен, — сказала нотариусу Дора с чувством, смотря на его деловитое, улыбающееся лицо, когда автомобиль тронулся. — Нас даже не провозжали, однако.

— Как? Разве вы не видели? Впрочем, я понимаю ваше волнение. За нами шел Билль, этот мрак в образе человека.

— Итак, вы...

Она обернулась на Пелегрин с выражением охотника, повалившего тигра.

— Так просто, — сказал Ван-Тегуис. — Ох, уж эти романтики...

ВПЕРЕД И НАЗАД

(Феерический рассказ)

I

В конце мая и начале июля город Зурбаган посещается «Бешеным скороходом». Ошибочно было бы представить этого посетителя человеком даже самой сумасшедшей внешности: длинноногим, рыкающим и скорым, как умозаключение страуса относительно спасительности песка.

«Бешеный скороход» — континентальный ветер степей. Он несет тучи степной пыли, бабочек, лепестки цветов; прохладные, краткие, как поцелуи, дожди, холод далеких водопадов, зной каменистых почв, дикие ароматы девственного леса и тоску о неведомом. Его власть делает жителей города тревожными и рассеянными; их сны беспокойны; их мысли странны; их желания туманны и обаятельны, как видения анхорета или мечты юности. Самое большое количество неожиданных отъездов, горьких разлук, внезапных паломничеств и решительных путешествий падает на беспокойные дни «Бешеного скорохода».

5-го июля в сорока милях от Зурбагана три человека шли по узкой степной тропе, направляясь к западу.

Шедший впереди был крепкий, прямой, нервный человек, лет тридцати трех. Природа наградила его своеобразной цветистостью, отдаленно напоминающей редкую тропическую птицу: смуглый цвет кожи, яркие голубые глаза и черные, вьющиеся, с бронзовым отливом, волосы производили весьма оригинальное впечатление, сглаживая некрасивость резкого мускулистого лица, именно богатством его оттенков. Двигался он как бы толчками — коротко и отчетливо. На нем, как и на остальных двух путниках, был охот-

ничий костюм; за спиной висело ружье; остальное походное снаряжение — сумка, свернутое одеяло и кожаный мешочек с пулями — размещались вокруг бедер с толковой, удобной практичностью предусмотрительного бродяги, пользующегося, когда нужно, даже рельефом своего тела.

Этого звали Нэф.

Второй путник, развалисто поспешавший за первым, был круглолиц, здоров и неинтересен в той степени, в какой бывают неинтересны люди, созданные для работы и маленьких мыслей о работе других. Молодой, видимо, добродушный, но тугой и медлительный к новизне, он являлся того рода золотой серединой каждого общества, которая, по существу, неоспорима ни в чем, подобно столу или крепко пришитой пуговице. Сама природа отдыхает на таких людях, как голодный поэт на окороке. Второго путника звали Пек, а был он огородником.

Третий мог бы нагнать тоску на самого веселого клоуна. Представьте одушевленный гроб; гроб на длинных, как бы перекрученных, испитых ногах, с впавшим животом, вздернутыми плечами, впалыми, кислыми глазами и руками-граблями. Его рыжие усы висели как ножки мертвого паука, он шел размашисто и неровно, вяло шагая через воздух, как через ряд сундуков. Этого звали Хин. В Зурбагане он чистил на улице сапоги.

Все трое шли в полусказочные, дикие места Ахуан-Скапа за золотом, скрытым в тайной жиле Эноха. Умирая, Энох передал план тайников Нэфу¹. Хин, соблазняясь, истратил на снаряжение деньги из сберегательной кассы, а Пек шел как могучая рабочая сила, годная копать землю и вязать на переправах плоты.

¹ В единственной известной публикации вместо «Нэфу» напечатано «Эхору». (Ред.)

Когда стемнело, путники остановились у небольшой рощи, разожгли костер, поужинали и напились кофе.

Огромная ночь пустыни сияла цветными звездами, большими, как глаза на ужас и красоту. Запах сухой травы, дыма, сырости низин, тишина, еще более тихая от сонных звуков пустыни, дающей вздохи, шелест ветвей, треск костра, короткий вскрик птицы или обманчиво близкий лепет далекого водопада, — все было полно тайной грусти, величавой, как сама природа — мать ощущений печальных. Человек одинок; перед лицом пустыни это яснее.

Нэф развернул карту.

— Вот, братцы, — сказал он, отводя ногтем часть линии не более пяти миллиметров, — вот сколько мы сделали в первый день.

— А сколько осталось? — спросил, помолчав, Хин.

— Столько. — Нэф двинул рукой до противоположного края карты.

— Д-да, — сказал Пек.

Хин промолчал. Устремив глаза в тьму, бесцельно, но напряженно, как бы улетаая в нее к далекой цели, Нэф сказал:

— Помните, что путь наш не легок. Я уже говорил это. Нас будет рвать на куски судьба, но мы перешагнем через ее труп. Там глухо: леса, тьма, враги и звери; не на кого там оглянуться. Золото залегло в камне. Если хотите, чтобы ваши руки засветились закатом, как глаза, а мир лежал в кошельке, — не кряхтите.

Пек и Нэф вскоре уснули, но Хин даже не задремал. Беспokoйно, первый раз так опасно и реально,

представил он долгий-предолгий путь, дожди, голод, ветры и лихорадки; пантер, прыгающих с дерева на загрибок, магические глаза змей, стрелу в животе и пулю в сердце... Чей-то скелет среди глубокого ущелья... Он вспомнил красоту отделанного под орех ящика, на котором останавливается щедрая нога прохожего, солнечный асфальт, свою газету, свою кофейню и верное серебро. Он внутренне отшатнулся от того края карты, на котором, смеясь, Нэф положил ладонь; отшатнулся и присмирел.

Хин осторожно встал, собрался и, не разбудив товарищей, зашагал к Зурбагану, унося на спине взгляд догорающего костра. Так, человек, страдающий боязнью пространства, поворачивается спиной к площади и идет через нее, пятясь... Мир опасен везде.

III

Проснувшись, Нэф показал Пеку следы, обращенные к ночлегу пятками.

— Нас двое теперь, — сказал он. — Это лучше и хуже. — Пек выругался, невольно все-таки размышляя о причинах, заставивших Хина вернуться. Он был смущен.

Затем прошел месяц, в течение которого два человека пересекали Аларгетскую равнину с достоинством и упорством лунатиков, странствующих по желобу крыши, смотря на луну. Нэф шел впереди. Он говорил мало; часто задумывался; в хорошую погоду — смеялся; в плохую — кусал губы. Он шел легко, как по тротуару. Пек был разговорчив и скучен, жаловался на лишения, много ел и часто вздыхал, но шел и шел из любви к будущему своему капиталу.

Однажды вечером к поселку, расположенному на берегу большой реки, пришли два грязных бородастых

субъекта. Их ногти были черны, одежда в земле. Они вошли в небольшой дом, где молодцеватый, крупный старик и молодая девушка, красивая, как весенняя зелень, садились ужинать.

— Вы куда? — осведомился старик.

— К Серым горам, — сказал Нэф.

— Далеко.

— Пожалуй.

— Зачем?

— Слитки.

— Дураки, — заявил старик. — Туда многие ходят, да мало кто возвращается.

— Мало ли что, — возразил Нэф, — ведь я иду в первый раз.

Старик хмыкнул, как на лепет ребенка.

— Нерра, покорми их и положи спать, — сказал он дочери. — Пусть они во сне целуются с золотом, а наяву — со смертью.

— Шутки не наполняют кармана, — возразил Нэф.

Девушка засмеялась. Пек сел к пирогу со свиной; Нэф выпил водки, потом занялся и едой.

Ужин прошел в молчании. Затем Нерра сказала:

— Сумасшедшие, ваша постель готова.

— Ты любишь умных? — спросил Нэф.

— Должно быть, если не люблю глупых вопросов.

— Какой принести тебе подарок?

— Свой скальп, если ты разыщешь его.

— Бери сейчас. — Нэф нагнулся, подставив лохматую голову.

Старик, вынув изо рта трубку, густо захохотал. Девушка рассердилась.

— Идите спать! — вскричала она.

Нэф скоро заснул; Пек, ворочаясь, вспоминал круглые руки Нерры. Утром, когда Нэф занялся чисткой ружья, Пек вышел во двор и сел на бревно, осматриваясь.

Вдали, за цветущей изгородью, виднелись холмы хлебных полей. В сарае толкались свиньи, розовые с черными пятнами. На другом дворе бродили коровы великанского вида. Под ногами Пека сустились крупные цветные куры, болтливые индейки; вечно падающие гуси шипели, как тещи; синие с золотом и хохолками на голове утки охорашивались на солнышке.

Старик вышел из хлева. Увидев Пека, он подошел к нему и сказал:

— Любезный, в горах дико и дрянно, а у меня много работы. Два месяца назад утонул мой сын. Если хочешь, живи работником. Мы всегда спокойны и сыты.

В это время через двор прошла Нерра, улыбаясь себе, в солнце и ярком платье, богатая молодостью. Она скрылась. Вся картина знакомой фермерской жизни была для души Пека, как оттепель среди суровой зимы, — тоска мучительного и опасного странствования.

— Хорошо, — сказал Пек.

Старик подбросил лопату. Пек пошел в дом, где столкнулся с Нэфом, одетым и готовым к походу.

— Скорее, идем, — сказал Нэф.

— Нэф... я...

— Где же твое ружье?

— Послушай...

— Время дорого, Пек.

— Я здесь останусь работником.

Нэф отвернулся. Постояв с минуту, он прошел мимо Пека, как мимо пустого места. У ворот он обернулся, увидев Нерру, смотревшую на него из-под руки.

— Ну, я пошел, — сказал он.

— Прощай. Береги скальп.

Нэф досадливо отмахнулся. Девушка презрительно фыркнула и повернулась спиной к дороге, уходящей к горам.

IV

Жизнь знает не время, а дела и события. Поэтому без точного исчисления месяцев, разделивших две эти главы, мы останавливаемся у окна, только что вымытого Неррой до блеска чистой души. Около нее стоял Пек.

— Что же мне теперь делать?

— Купать лошадей.

— Нерра!

— Отстань, Пек. Твоей женой я не буду.

Он смотрел на ее гибкую спину, тяжелые волосы, замкнувшиеся глаза и маленькие, сильные руки. Так, как смотрит рыбак без удочки на игру форели в быстром ключе. Он вдруг озлобился, вышел и повел лошадей, а когда возвращался с ними, то заметил спускающегося по склону холма неизвестного человека в лохмотьях, так густо обросшего волосами, что сверкали только глаза и зубы. Человек шел сильно хромя.

— Пек! — сказал бродяга, взяв под уздцы лошадь.

— Нэф!!

— Я. Я и мое золото...

— Так ты не умер?

— Нет, но умирал.

Они вошли в дом. Пек привел старика, Нерру; все трое обступили Нэфа, рассматривая его с чувством любопытной тревоги.

Его вид был ужасен. В дырах рубища сквозило черное тело; шрамы на лице и руках, склеенные запекшейся кровью, казались страшной татуировкой; босые ноги раздулись, один глаз был завязан. Он снял мешок, ружье, тяжелый кожаный пояс и бросил все в угол, потом сел.

— Скальп цел, — кратко сообщил он.

Девушка улыбнулась, но ничего не ответила.

Ему дали еды и водки. Он сел, выпил; на мгновение заснул, сидя, и мгновенно проснулся.

— Рассказывай, — сказал старик.

— Для начала... — заметил Нэф, отворачивая левый рукав.

От плеча до кисти тянулись обрывки сросшихся мускулов — подарок медвежьей лапы. Затем, поправив рукав, Нэф спокойно, неторопливо рассказал о таких трудах, лишениях, муках, ужасе и тоске, что Пек, посмотрев в угол, где лежал мешок с кожаным поясом, почувствовал, как все это на взгляд стало приземистее и легче.

На другой день выспавшийся Нэф побрился, вымылся и оделся. Он перестал быть страшным, но вид его все же говорил красноречиво о многом.

Оставшись с ним наедине, Пек сказал:

— Ты меня предательски бросил здесь, Нэф. Я колебался... Ты не утащил меня, как следовало бы поступить верному другу. И вот — ты миллионер, а я — попрежнему нищий.

Нэф усмехнулся и развязал пояс. Взяв чайный стакан, он насыпал его до краев мутным, желтым песком.

— Возьми! — сказал он покрасневшему от жадности Пеку.

К вечеру Пек исчез. На кровати Нэф нашел его записку и показал Нерре.

«Жадный, вероломный приятель! Прибыв страшным богачом, ты дал мне, всегдашнему твоему спутнику, жалкую часть. Будь проклят. Я уезжаю от тебя и развратной девки Нерры к своему дяде, где постараюсь лет через пять разбогатеть больше, чем ты, хитрый бродяга».

— Закурим этой бумажкой, — весело сказал Нэф. — Не бледней, Нерра; знай, дурак кусает лишь воздух. Послушай... Я сберег скальп для тебя.

Она помолчала, затем положила на его плечо руку, а потом мягко перевела руку на вьющиеся волосы Нэфа.

— Через неделю будет пароход сверху, — сказала Нерра, — если хочешь, я поеду с тобой.

— Хочу, — просто ответил Нэф.

Так началась их жизнь. Одним мужем и одной женой стало больше на свете, богатым разными парами, но весьма бедном любовью и уважением.

У подъезда каменного зурбаганского театра сидел наш знакомый Хин, рассматривая по профессиональной привычке ноги прохожих; выше он почти никогда не поднимал глаз, считая это убыточным.

Прошло несколько времени. На ящик Хина ступила небольшая мужская нога в лакированном сапоге; после нее — другая. Хин заботливо их почистил и протянул руку.

То, что оказалось в руке, сначала удивило его своим цветом, цветом не ассигнаций. Цвет был коричневый с розовым. Развернув бумажку, Хин, встав, с трепетом и почтением прочел, что это чек на предъявителя, на сумму в пятьдесят тысяч. Подпись была «Нэф».

Он судорожно огляделся, и показалось ему, что в зурбаганской пестрой толпе легли тени пустыни и грозное дыхание диких мест промчалось над разогретым асфальтом, тронув глаза Хина свежестью неумолкающих водопадов.

СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ

I

Открытие алмазных россыпей в Кордон-Брюн сопровождалось тягой к цивилизации. Нам единственно интересно открытие блистательного кафе. Среди прочей публики мы отметим здесь три скептических ума, — три художественные натуры, — три погибшие души, несомненно талантливые, но переставшие видеть зерно. Разными путями пришли они к тому, что видели одну ш е л у х у.

Это мировоззрение направило их способности к мистификации, как призванию. Мистификация сделалась их религией. И они достигли в своем роде совершенства. Так, например, легенда о бриллианте в тысячу восемьсот каратов, ехидно и тонко обработанная ими меж бокалом шампанского и арией «Жоселена», произвела могучее действие, бросив тысячи проходимцев на поиски чуда к водопаду Альпетри, где, будто над водой, в скале, сверкало чудовище. И так далее. Стелла Дижон благодаря им получила уверенность, что безнадежно влюбленный в нее (чего не было) Гарри Эванс с отчаяния женился на девице О'Нэль. Произошла драма, позорный исход которой не сделал никому чести: Эванс стал думать о Стелле и застрелился.

Гарт, Вебер и Консейль забавлялись. Видения, возникающие в рисунке дыма из крепких сигар, определили их лукаво-беззаботную жизнь. Однажды утром сидели они в кафе в удобных качалках, молча и улыбаясь, подобно авгурам; бледные, несмотря на зной, приветливые, задумчивые; без сердца и будущего.

Их яхта еще стояла в Кордон-Руж, и они медлили уезжать, смакуя впечатления бриллиантового азарта среди грязи и хищного блеска глаз.

Утренняя жара уже никла в тени бананов; открытые двери кафе «Конго» выказывали за проулком дымные кучи земли с взлетающей над ней киркой; среди насыпей белели пробковые шлемы и рдели соломенные шляпы; буйволы тащили фургон.

Кафе было одной из немногих деревянных построек Кордон-Брюна. Здесь — зеркала, пианино, красного дерева буфет.

Гарт, Вебер и Консейль пили. Вошел Эммануил Стил.

II

Вошедший резко отличался от трех африканских снобов красотой, силой сложения и детской верой, что никто не захочет причинить ему ничего дурного, сиявшей в его серьезных глазах. У него большие и тяжелые руки, фигура воина, лицо простофили. Он был одет в дешевый бумажный костюм и прекрасные сапоги. Под блузой выпиралась рукоять револьвера. Его шляпа, к широким полям которой на затылок был пришит белый платок, выглядела палаткой, вместившей гиганта. Он мало говорил и прелестно кивал, словно склонял голову вместе со всем миром, внимающим его интересу. Короче говоря, когда он входил, хотелось посторониться.

Консейль, мягко качнув ногой, посмотрел на сухое уклончиво улыбающееся лицо Гарта; Гарт взглянул на мраморное чело и голубые глаза Консейля; затем оба перемигнулись с Вебером, свирепым, желчным и черным; и Вебер, в свою очередь, метнул им из-под очков тончайшую стрелу, после чего все стали переговариваться.

Несколько дней назад Стил сидел, пил и говорил с ними, и они знали его. Это был разговор внутреннего, сухого хохота, во весь рост, — с немного наивной верой во все, что поражает и приковывает

внимание; но Стилль даже не подозревал, что его вышутили.

— Это он, — сказал Консейль.

— Человек из тумана, — ввернул Гарт.

— В тумане, — поправил Вебер.

— В поисках таинственного угла.

— Или четвертого измерения.

— Нет; это искатель редкостей, — заявил Гарт.

— Что говорил он тогда о лесе? — спросил Вебер.

Консейль, пародируя Стиля, скороговоркой произнес:

— Этот огромный лес, что тянется в глубь материка на тысячи миль, должен таить копи царя Соломона, сказку Шехерезады и тысячу тысяч вещей, ждущих открытия.

— Положим, — сказал Гарт, поливая коньяком муху, уже опьяневшую в лужице пролитого на стол вина, — положим, что он сказал не так. Его мысль неопределенно прозвучала тогда. Но ее суть такова: «в лесном океане этом должен быть центр наибольшего и наипоразительнейшего неизвестного впечатления, некий Гималай впечатлений, рассыпанных непрерывно». И если бы он знал, как разыскать этот з е н и т, — он бы пошел туда.

— Вот странное настроение в Кордон-Брюне, — заметил Консейль, — и богатый материал для игры. Попробуем этого человека.

— Каким образом?

— Я обдумал вещичку, как это мы не раз делали; думаю, что изложу ее довольно у с т о й ч и в о. От вас требуется лишь говорить «да» на всякий вопросительный взгляд со стороны м а т е р и а л а.

— Хорошо, — сказали Вебер и Гарт.

— Ба! — немедленно воскликнул Консейль. — Стиль! Садитесь к нам.

Стиль, разговаривавший с буфетчиком, обернулся и подошел к компании. Ему подали стул.

III

Вначале разговор носил обычный характер, затем перешел на более интересные вещи.

— Ленивец, — сказал Консейль, — вы, Стилль! Огресли в одной яме несколько тысяч фунтов и успокоились. Продали вы ваши алмазы?

— Давно уже, — спокойно ответил Стилль, — но нет желания предпринимать что-нибудь еще в этом роде. Как новинка прииск мне нравился.

— А теперь?

— Я — новичок в этой стране. Она страшна и прекрасна. Я жду, когда и к чему потянет меня внутри.

— Особый склад вашей природы я заметил по прошлому нашему разговору, — сказал Консейль. — Кстати, на другой день после того мне пришлось говорить с охотником Пелегрином. Он взял много слоновой кости по ту сторону реки, миль за пятьсот отсюда, среди лесов, так пленяющих ваше сердце. Он рассказал мне о любопытном явлении. Среди лесов высится небольшое плато с прелестным человеческим гнездом, встречаемым неожиданно, так как тропическая чаща в роскошной полутьме своей неожиданно пресекается высокими бревенчатыми стенами, образующими заднюю сторону зданий, наружные фасады которых выходят в густой внутренний сад, полный цветов. Он пробыл там один день, встретив маленькую колонию уже под вечер. Ему послышался звон гитары. Потрясенный, так как только лес, только один лес мог расстилаться здесь, и во все стороны не было даже негритянской деревни ближе четырнадцати дней пути, Пелегрин двинулся на звук, и ему оказали теплое гостеприимство. Там жили семь семейств, тесно связанные одинаковыми вкусами и любовью к цветущей заброшенности — большей заброшенно-

сти среди почти недоступных недр конечно трудно представить. Интересный контраст с вполне культурным устройством и обстановкой домов представляло занятие этих Робинзонов пустыни — охота; единственно охотой промышляли они, сплавливая добычу на лодках в Танкос, где есть промышленные агенты, и обменивая ее на все нужное, вплоть до электрических лампочек.

Как попали они туда, как подобрались, как устроились? Об этом не узнал Пелегрин. Один день, — он не более, как вспышка магния среди развалин, — поймано и ушло, быть может, существенное. Но труд был велик. Красивые резные балконы, вьющаяся заросль цветов среди окон с синими и лиловыми маркизами; шкура льва; рояль, рядом ружье; смуглые и беспечные дети с бесстрашными глазами героев сказок; тоненькие и красивые девушки с револьвером в кармане и книгой у изголовья и охотники со взглядом орла, — что вам еще?! Казалось, эти люди сошлись петь. И Пелегрин особенно ярко запомнил первое впечатление, подобное глухому рисунку: узкий проход меж бревенчатых стен, слева — маленькая рука, махающая с балкона, впереди — солнце и рай.

Вам случалось, конечно, провести ночь в незнакомой семье. Жизнь, окружающая вас, проходит отрывком, полным очарования, вырванной из известной книги страницей. Мелькнет не появляющееся в вечерней сцене лицо девушки или старухи; особый, о своем, разговор коснется вашего слуха, и вы не поймете его; свои чувства придадите вы явлениям и вещам, о которых знаете лишь, что они приютили вас; вы не вошли в эту жизнь, и потому овеяна она странной поэзией. Так было и с Пелегрином.

Стиль внимательно слушал, смотря прямо в глаза Консейля.

— Я вижу все это, — просто сказал он, — это огромно. — Не правда ли?

— Да, — сказал Вебер, — да.

— Да, — подтвердил Гарт.

— Нет слов выразить, что чувствуешь, — задумчиво и взволнованно продолжал Стиль, — но как я был прав! Где живет Пелегрин?

— О, он выехал с караваном в Ого.

Стиль провел пальцем по столу прямую черту, сначала тихо, а затем быстро, как бы смахнул что-то.

— Как называлось то место? — спросил он. — Как его нашел Пелегрин?

— Сердце Пустыни, — сказал Консейль. — Он встретил его по прямой линии между Кордон-Брюн и озером Бан. Я не ошибся, Гарт?

— О, нет.

— Еще подробность, — сказал Вебер, покусывая губы, — Пелегрин упомянул о трамплине, — одно-стороннем лесистом скате на север, пересекавшем диагональю его путь. Охотник, разыскивая своих, считавших его погибшим, в то время как он был лишь оглушен падением дерева, шел все время на юг.

— Скат переходит в плато? — Стиль поворачивался всем корпусом к тому, кого спрашивал.

Тогда Вебер сделал несколько топографических указаний, столь точных, что Консейль предостерегающе посматривал на него, насвистывая: «Куда торопишься, красотка, еще ведь солнце не взошло...» Однако ничего не случилось.

Стиль выслушал все и несколько раз кивнул своим теплым кивком. Затем он поднялся неожиданно быстро, его взгляд, когда он прощался, напоминал взгляд проснувшегося. Он не замечал, как внимательно схватываются все движения его шестью острыми глазами холодных людей. Впрочем, трудно было решить

по его наружности, что он думает, — то был человек сложных движений.

— Откуда, — спросил Консейль Вебера, — откуда у вас эта уверенность в неизвестном, это знание местности?

— Отчет экспедиции Пена. И моя память.

— Так. Ну, что же теперь?

— Это уж его дело, — сказал смеясь Вебер, — но поскольку я знаю людей... Впрочем, в конце недели мы отплываем.

Свет двери пересекла тень. В двери стоял Стилль.

— Я вернулся, но не войду, — быстро сказал он. — Я прочел порт на корме яхты. Консейль — Мельбурн, а еще...

— Флаг-стрит, 2, — так же ответил Консейль. — И...

— Все, благодарю.

Стилль исчез.

— Это, пожалуй, выйдет, — хладнокровно заметил Гарт, когда молчание сказало что-то каждому из них по-особому. — И он найдет вас.

— Что?

— Такие не прощают.

— Ба, — кивнул Консейль. — Жизнь коротка. А свет — велик.

IV

Прошло два года, в течение которых Консейль побывал еще во многих местах, наблюдая разнообразие жизни с вечной попыткой насмешливого вмешательства в ее головокружительный лет; но наконец и это утомило его. Тогда он вернулся в свой дом, к едкому наслаждению одиночеством без эстетических судорог дез-Эссента, но с горем холодной пустоты, которого не мог сознать.

Тем временем воскресали и разбивались сердца; гремел мир; и в громе этом выделился звук ровных шагов. Они смолкли у подъезда Консейля; тогда он получил карточку, напоминавшую Кордон-Брюн.

— Я принимаю, — сказал после короткого молчания Консейль, чувствуя среди изысканной неприятности своего положения живительное и острое любопытство. — Пусть войдет Стиль.

Эта встреча произошла на расстоянии десяти сажен огромной залы, серебряный свет которой остановил, казалось, всей прозрачной массой своей показавшегося на пороге Стиля. Так он стоял несколько времени, присматриваясь к замкнутому лицу хозяина. В это мгновение оба почувствовали, что свидание неизбежно; затем быстро сошлись.

— Кордон-Брюн, — любезно сказал Консейль. — Вы исчезли, и я уехал, не подарив вам гравюры Морада, что собирался сделать. Она в вашем вкусе, — я хочу сказать, что фантастический пейзаж Сатурна, изображенный на ней, навевает тайны вселенной.

— Да, — Стиль улыбался. — Как видите, я помнил ваш адрес. Я записал его. Я пришел сказать, что был в Сердце Пустыни и получил то же, что Пелегрин, даже больше, так как я живу там.

— Я виноват, — сухо сказал Консейль, — но мои слова — мое дело, и я отвечаю за них. Я к вашим услугам, Стиль.

Смеясь, Стиль взял его бесстрастную руку, поднял ее и хлопнул по ней.

— Да нет же, — вскричал он, — не то. Вы не поняли. Я сделал Сердце Пустыни. Я! Я не нашел его, так как его там, конечно, не было, и понял, что вы шутили. Но шутка была красива. О чем-то таком, бывало, мечтал и я. Да, я всегда любил открытия, трогающие сердце подобно хорошей песне. Меня называли

чужаком — все равно. Признаюсь, я смертельно позавидовал Пелегрину, а потому отправился один, чтобы быть в сходном с ним положении. Да, месяц пути показал мне, что этот лес. Голод... и жажда... один; десять дней лихорадки. Палатки у меня не было. Огонь костра казался цветным, как радуга. Из леса выходили белые лошади. Пришел умерший брат и сидел, смотря на меня; он все шептал, звал куда-то. Я глотал хину и пил. Все это задержало, конечно. Змея укусила руку; как взорвало меня, — смерть. Я взял себя в руки, прислушиваясь, что скажет тело. Тогда, как собаку, потянуло меня к какой-то траве, и я ел ее; так я спасся, но изошел потом и спал. Везло, так сказать. Все было, как во сне: звери, усталость, голод и тишина; и я убивал зверей. Но не было ничего на том месте, о котором говорилось тогда; я исследовал все плато, спускающееся к маленькому притоку в том месте, где трамплин расширяется. Конечно, все стало ясно мне. Но там подлинная красота, — есть вещи, о которые слова бьются, как град о стекло, — только звенит...

— Дальше, — тихо сказал Консейль.

— Н у ж н о было, чтобы он был там, — кротко продолжал Стилль. — Поэтому я спустился на плоте к форту и заказал с стационанером нужное количество людей, а также все материалы, и сделал, как было в вашем рассказе и как мне понравилось. Семь домов. На это ушел год. Затем я пересмотрел тысячи людей, тысячи сердец, разъезжая и разыскивая по многим местам. Конечно, я н е м о г не найти, раз есть такой я, — это понятно. Так вот, поедemте взглянуть, видимо, у вас дар художественного воображения, и мне хотелось бы знать, т а к ли в ы представляли.

Он выложил все это с ужасающей простотой мальчика, рассказывающего из всемирной истории.

Лицо Консейля порозовело. Давно забытая музыка прозвучала в его душе, и он вышагал неожиданное

волнение по диагонали зала, потом остановился, как вкопанный.

— Вы — турбина, — сдавленно сказал он, — вы знаете, что вы — турбина. Это не оскорбление.

— Когда ясно видишь что-нибудь... — начал Стель.

— Я долго спал, — перебил его сурово Консейль. — Значит... Но как похоже это на грезу! Быть может, надо еще жить, а?

— Советую, — сказал Стель.

— Но его не было. Не было.

— Был. — Стель поднял голову без цели произвести впечатление, но от этого жеста оно кинулось и загремело во всех углах. — Он был. Потому, что я его нес в сердце своем.

Из этой встречи и из беседы этой вытекло заключение, сильно напоминающее сухой бред изысканного ума в Кордон-Брюн. Два человека, с глазами, полными оставленного сзади громадного глухого пространства, уперлись в бревенчатую стену, скрытую чащей. Вечерний луч встретил их, и с балкона над природной оранжереей сада прозвучал тихо напевающий голос женщины.

Стель улыбнулся, и Консейль понял его улыбку.

1923

ПО ЗАКОНУ

I

Наконец я приехал в Одессу. Этот огромный южный порт был, для моих шестнадцати лет, — дверью мира, началом кругосветного плавания, к которому я стремился, имея весьма смутные представления о морской жизни. Казалось мне, что уже один вид ко-

рабля кладет начало какому-то бесконечному приключению, серии романов и потрясающих событий, овеянных шумом волн. Вид черной матросской ленты повергал меня в трепет, в восторженную зависть к этим существам тропических стран (тропические страны для меня начинались тогда от зоологического магазина на Дерибасовской, где за стеклом сидели пестрые, как шуты, попугаи), все, встречаемые мной, моряки и, в особенности, матросы в их странной, волнующей отблесками неведомого, одежде, — были герои, гении, люди из волшебного круга далеких морей. Меня пленяла фуражка без козырька с золотой надписью «Олег», «Саратов», «Мария», «Блеск», «Гранвиль»... голубые полосы тельника под распахнутым клином белой, как снег, голландки, красные и синие пояса с болтающимся финским ножом или кривым греческим кинжальчиком с мозаичной рукояткой, я присматривался, как к откровению, к неуклюжему низу расширенных длинных брюк, к загорелым, прищуренным лицам, к простым черным, лакированным табакеркам с картинкой на крышке, из которых эти, впущенные в морской рай, безумно счастливые герои вынимали листики прозрачной папиросной бумаги, скручивая ее с табаком так ловко и быстро, что я приходил в отчаяние. Никогда не быть мне настоящим морским волком! Я даже не знал, удастся ли поспитить мне на пароход.

Довольно сказать вам, что я приехал в Одессу из Вятки. Контраст был громаден! Я проводил дни на улицах, рассматривая витрины или бродя в порту, где, на каждом шагу, открывал Америку. Здесь бился пульс мира. Горы угля, рев гудков и сирен, заставляющий плакать мое сердце зовом в Америку и Китай, Австралию и Японию, — по океанам, по проливам, вокруг мыса Доброй Надежды! Вот когда география совершила злое дело. Я рылся в материках, как в щепках, но даже простой угольный пароход отвергал мои

предложения, не говоря уже о гигантах Добровольного флота или изящных великанах Русского общества. Было лето, стояла душливая жара, но, в пыли и зное, обливаясь потом, выхаживал я каждый день мокрым, останавливаясь перед вновь прибывшими пароходами и, после колебания, взбирался на палубу по трапу, сотрясаемому шагами грузчиков. Обычно у трюма, извергающего груз под грохот лебедки, под отчаянный крик турка: «Вира!» или «Майна!», торчала фигура старшего помощника с накладными в руках, и он, выслушав мой вопрос: «Нет ли вакансии», — рассеянно отвечал: — «Нет». Иногда матросы осыпали меня насмешками, и, должно быть, действительно казался я смешон с моей претензией быть матросом корабля дальнего плавания, я, шестнадцатилетний, безусый, тщедушный, узкоплечий отрок, в соломенной шляпе (она скоро потеряла для меня иллюзию «мексиканской панамы»), ученической серой куртке, подпоясанный ремнем с медной бляхой и в огромных охотничьих сапогах.

Запас иллюзий и комических представлений был у меня вообще значителен. Так, например, до приезда к морю я серьезно думал, что на мачту лезут по ее стволу, как по призовому столбу, и страшился оказаться несостоятельным в этом упражнении. Рассчитывая, по крайней мере, через месяц, попасть в Индию или на Сандвичевы острова, я взял с собой ящичек с дешевыми красками, чтобы рисовать тропических птиц или цветы редких растений. Поступить на пароход казалось мне так же легко, как это происходит в романах. Поэтому крайне был озадачен я тем, что на меня никто не обращает внимания, и ученики мореходных классов, красивые юноши в несравненной морской форме, которых я встречал повсюду, казались мне рожденными не иначе, как русалками, — не может обыкновенная женщина родить такого счастливого.

II

Подъезжая к Одессе, я разговорился в вагоне с подозрительным человеком. На мой взгляд, он был опасный международный авантюрист, из тех, что хладнокровно душат старух, присваивая бриллианты и золото. Поэтому я отправился в соседнее купе, чтобы предупредить там пожилую еврейку с большим количеством багажа. С ней я тоже свел знакомство. Вообще в поезде все знали, что я еду «на море», и я у всех допытывался, как поступить на пароход. Я сказал ей, чтобы она остерегалась, так как рядом со мной сидит несомненный жулик. Она горячо благодарила меня и, кажется, поверила.

Все произошло оттого, что я никогда не видел таких людей, как этот самоуверенный, хлыщеватый господин с остроконечной бородкой, в золотом пенсне, щегольском клетчатом костюме, лиловых носках и желтых сандалиях. Он так разваливался, картавил, делал такие капризные широкие жесты, что я принял его за мошенника благодаря еще обилию брелоков и колец, так как читал, что червонные валеты унизируются драгоценностями. Между тем это был всего-навсего главный бухгалтер Одесской Мануфактуры Пташникова, человек безобидный и добрый. Узнав, что я еду с одним рублем, что о море и морской жизни имею не более представления, чем о жизни в пампасах, он дал мне письмо к бухгалтеру Карантинного Агентства Русского Общества с просьбой обратить на меня внимание. Но, до момента вручения письма, я был непоколебимо уверен, что письмо включает какую-то ловушку или страшную тайну, хранить которую меня обяжут под клятвой, угрожая револьвером. Однако именно благодаря этому письму второй бухгалтер устроил мне приют и полное матросское содержание, — правда, без жалованья, — в так называемой «береговой команде».

«Береговой командой» были матросы, кочегары и другие мелкие служащие Общества, почему-либо неспособные временно находиться на корабле. Это был полуазарет-полубогадельня. Можно здесь было встретить также загулявшего и отставшего от рейса матроса или живущего в ожидании места какого-нибудь старого служащего. Всего жило человек двадцать, по койкам, как в казарме; днем, кто хотел, работал носильщиком в складах пристани, а ночью нес очередную вахту около пакгаузов Общества.

Отсюда-то и совершал я свои путешествия в порт, упиваясь музыкой рева и грома, свистков и криков, лязга вагонов на эстакаде и звона якорных цепей, — и голубым заревом свободного, за волнорезом, за маяком синего Черного моря. Я жил в полусне новых явлений. Тогда один случай, может быть незначительный в сложном обиходе человеческих масс, наполняющих тысячи кораблей, — показал мне, что я никуда не ушел. что я — не в преддверии сказочных стран, полных беззаветного ликования, а среди простых, грешных людей.

III

В казарму привезли раненого. Это был молодой матрос, которого товарищ ударил ножом в спину. Поссорились они или, подвыпивши, не поделили чего-нибудь — этого я не помню. У меня только осталось впечатление, что правда на стороне раненого, и я помню, что удар был нанесен внезапно, из-за угла. Уже одно это направляло симпатии к пострадавшему. Он рассказывал о случае серьезно и кратко, не выражая обиды и гнева, как бы покоряясь печальному приключению. Рана была не опасна. Температура немного повысилась, но больной, хотя лежал, — ел с аппетитом и даже играл в «шестьдесят шесть».

Вечером раздался слух: «доктор приехал, говорить будет».

Доктор? Говорить? Я направился к койке раненого.

Доктор, пожилой человек, по-видимому, сам лично принимающий горячее участие во всей этой истории, сидел возле койки. Больной, лежа, смотрел в сторону и слушал.

Доктор, стараясь не быть назойливым, осторожно и мягко пытался внушить раненому сострадание к судьбе обидчика. Он послан им, пришел по его просьбе. У него жена, дети, сам он — военный матрос, откомандированный на частный пароход (это практиковалось). Он полон раскаяния. Его ожидают ка-торжные работы.

— Вы видите, — сказал доктор в заключение, — что от вас зависит, как поступить — «по закону» или «по человечеству». Если «по человечеству», то мы замнем дело. Если же «по закону», то мы обязаны начать следствие, и тогда этот человек погиб, потому что он виноват.

Была полная тишина. Все мы, сидевшие, как бы не слушая, по своим койкам, но не проронившие ни одного слова, замерли в ожидании. Что скажет раненый? Какой приговор изречет он? Я ждал, верил, что он скажет: «по человечеству». На его месте следовало простить. Он выздоравливал. Он был лицом типичный моряк, а «моряк» и «рыцарь» для меня тогда звучало неразделимо. Его руки до плеч были татуированы фигурами тигров, змей, флагов, именами, лентами, цветами и ящерицами. От него несло океаном, родной больших душ. И он был так симпатично мужествен, как умный атлет...

Раненый помолчал. Видимо, он боролся с желанием простить и с каким-то ядовитым воспоминанием. Он вздохнул, поморщился, взглянул доктору в глаза и нехотя, сдавленно произнес:

— Пусть... уж... по закону.

Доктор, тоже помолчав, встал.

— Значит, «по закону»? — повторил он.

— По закону. Как сказал, — кивнул матрос и закрыл глаза.

Я был так взволнован, что не вытерпел и ушел на двор. Мне казалось, что у меня что-то отняли.

С этого дня я стал присматриваться к морю и морской жизни с ее внутренних, настоящих сторон, впервые почувствовав, что здесь такие же люди, как и везде, и что чудеса — в самих нас.

1924

ЧУЖАЯ ВИНА

I

Лесная дорога, соединяющая берег реки Руанты с группой озер между Конкаибом и Ахуан-Скапом, проложенная усилиями одного поколения, была, как все такие дороги, скупа на прямые перспективы и удобна более для птиц, чем для людей, однако по ней ездили, хоть и не так часто. Еще утром этой дорогой скакал почтальон, крепко сложенный женатый человек тридцати пяти лет, но встретил неожиданное препятствие.

Его оседланная лошадь спокойно бродила по озаренной солнцем дороге, обрывая губами листья дикой акации. Хвост животного мерно перелетал с бедра на бедро, гоня мух, которые, прекрасно изучив ритм этих конвульсий, взлетали и садились, не рискуя ничем.

В чаще залегло солнце. Стояла знойная тишина опущенной в дневной зной неподвижной листвы.

На дороге, лицом вниз, словно рассматривая из-под локтя лесную жизнь, лежал труп человека с едва заметно разорванным на спине сукном куртки. Из раз-

жатых пальцев правой руки вывалился револьвер. Плоская фуражка с прямым клеенчатым козырьком лежала впереди головы, пустотой вверх, и через нее переползал жук.

Над трупом кружилось облако мух, привлеченных запахом сырого мяса, шедшим из-под этого плотного, тяжелого тела, где земля была еще липко влажная.

У седла лошади при каждом шаге вздрагивала откиннутая крышка сумки, откуда, скользя друг по другу и перевертываясь на краю кожаного борта, сваливались запечатанные конверты. Копыта время от времени наступали на них, превращая в уродливые розетки.

Обрывая ветки, лошадь подвигалась к трупу все ближе и ближе. Заметив лежащего, она, казалось, припомнила недавнюю суматоху и коротко проржала; затем попятилась, неуверенно ставя задние ноги и взмахивая головой, как будто перед ее глазами стоял кулак. Сильный грудной храп вылетел из ноздрей. Она скакнула на месте, потом замерла, настороженно опустив голову; левый глаз дико косил.

В это время из леса, раздвинув ветви прямым, сильным движением обеих рук, вышел и ступил на дорогу человек в меховой бараньей жилетке, надетой кожей вверх на пеструю сатиновую рубашку, в серой шляпе, высоких горных сапогах. Он был небрит, с быстрым взглядом и худощавым, равнодушным лицом. Увидев, что находится перед ним, он повернулся и исчез, как пружинный, с быстротой появления.

Некоторое время его неподвижно белеющее лицо смотрело из сумерек чащи. Он всматривался и ждал.

Затем снова протянулась рука, расталкивая зеленый плетень, и человек вышел вторично, бросая вокруг внимательные взгляды. Ничто не угрожало ему. Лошадь, отойдя, продолжала обрывать листья.

Еще два письма выпали из седельной сумки.

На затылке трупа стояло солнечное пятно.

II

Неизвестный подошел к мертвому и, присев на корточки, уперся тылом ладони в его лоб, осматривая лицо.

— Вот почему стреляли в этой стороне, — сказал он, вставая. — Гениссер больше не будет возить почту. Стало быть, вез деньги и не давался живой. Несчастливая твоя жена, Гениссер!

Он покачал головой, вздохнул и навел беглое следствие, как сделал бы это всякий случайный прохожий: обошел труп, поднял револьвер и удостоверился, что в одном гнезде нет пули. Всего один раз успел выстрелить почтальон.

Уважение к смерти вызвало в неизвестном минуту задумчивости. Он потускнел, щелкнул пальцами, затем стал подбирать письма, набрав их полную руку.

Время от времени он вертел какой-нибудь конверт, прочитывая незнакомые и знакомые имена с интересом человека, имеющего свободное время.

Он поднял еще одно письмо, внезапно отступил, продолжая держать его перед глазами, затем бросил все собранные письма, кроме последнего, и, поискав взглядом в воздухе решительного указания, как поступить в этом непредвиденном случае, стал очень нервен. Тяжелая, пристальная озабоченность не сходила с его лица. Тонкое лезвие стыда болезненно рвалось в нем навстречу другому чувству, бывшему сильнее всех, какие когда-либо посещали его.

Обстоятельства этого случая могли ввести в грех даже менее импульсивную натуру. Инстинкт требовал вскрыть письмо. Неизвестный был человек инстинкта. После короткой, борьбы он уступил невероятному искушению и разорвал конверт неверным движением первого воровства.

Прочтя лист, исписанный торопливым мужским почерком, он аккуратно вложил письмо в конверт, су-

нул в карман и хлопнул по карману рукой, как бы утверждая и замыкая этим движением факт во всей его железной отчетливости. Очнувшись, он приметил камень и сел на него.

— Так, — шумно сказал он, начиная обдумывать.

Опустив голову, он сцепил пальцами руки, локти положил на расставленные колени. В таком положении просидел он некоторое время, иногда встряхивая сжатые руки и повторяя свое «так...» все тише, задумчивее, пока весь ход мыслей и представлений не выразился отчетливой потребностью в действии.

Еще раз тряхнув руками, слегка потянувшись, человек поднял лицо и встал. Казалось, он пережил что-то приятное, так как вышел на дорогу с улыбкой. Это была улыбка бессознательная и странная. Продолжая хранить ее, он стал ловить лошадь, бросая ей на голову свою просторную меховую жилетку. После некоторых неудачных попыток он схватил наконец повод, взлетел на седло и обратил голову артачащегося животного в сторону Конкайба.

Лошадь попятилась, потом подалась вперед. Удар в бок окончательно вывел ее из равновесия, и, яростно мотнув гривой, она стала выделять стремительное «та-ра-па-та», «та-ра-па-та» вдоль летящих в глаза ветвей.

Всадник не нашел удовлетворения даже в таком карьере, хотя дышал острым ветром хлещущего пространства. Он оскорбил лошадь резкими замечаниями и стал выжимать всю быстроту, на какую способна здоровая трехлетка хорошей крови.

III

Так он скакал час и два, иногда приходя в ярость, отчего лошадь, начинавшая уже тяжело одолевать подъемы, с хрипом взлетала на них, из последних сил

натягиваясь в струну. При спусках всадник и лошадь составляли одно сумасшедшее живое существо, несшееся с быстротой падения. Худые мостики, перекинутые кое-где над трещинами и потоками, подскакивали и изгибались, как будто копыта били в живое тело. Иногда, отразив подкову, камень отлетал сам. Когда кончился лесной склон, начались луга с более мягким грунтом, лошадь пошла тяжелее, но ударами ног и страстным напряжением всех человеческих сил ей приказано было от исступления перейти к подвигу. Она сделала это. В ее глазах отражался пар сгорающих легких. Шея была вытянута безумным усилием. Вид старой крыши среди тростников поманил ее ложной целью, она пробежала шагов сто и перешла в рысь, потом, затрепетав, как от пулевой раны, грохнулась, вся в мыле, издыхая и колотя копытами воздух.

Ездок даже на мгновение не склонился над ней.

Он соскочил с нее, как с пошатнувшегося бревна, и так уверенно быстро, как будто все было предусмотрено, а потому не могло вызвать задержек и колебания, побежал к впадине берега, над линией которого двигалась, скрываясь и появляясь, рыжая меховая шапка. Там, стоя в лодке, загорелый старик вбивал кол в речное дно; он, подняв голову, увидел человека, стоящего на обрыве с поднесенным к виску револьвером.

Эта сцена произошла как видение.

Рука с револьвером дрогнула коротким толчком, звук выстрела осадил фигуру стреляющего, он склонил голову и упал навзничь.

Заостренно прищурясь, старик бросил деревянный молот и с криком, означающим внезапный перерыв мыслей, тремя взмахами достиг берега.

Хватаясь руками за земляные глыбы обрыва, взобрался он наверх быстро, как белка, и был уже близко от трупа, как самоубийца, воспряв, неожиданно кинулся вниз, завладел лодкой и отплыл в тот момент, когда

пальцы старика, менее проворного, чем судорожная работа веслом, на дюйм лишь не достигнув борта, остались протянутыми к убегающей лодке.

— Орт Ганувер! — сказал старик, стоя по колени в воде. — Я тебя узнал. Тебя все равно поймают. Поймают! — повторил он и, неторопливо выйдя на берег, услышал хмурый ответ.

— Лодка была нужна.

IV

Старик ничего не ответил и, топнув ногой, побежал к дому. Решась наказать похитителя, он взял ружье и поднялся на крышу дома по приставной лестнице.

Ганувер плыл с гоночной быстротой вниз по течению. Лодка, раскачиваясь, как скорлупа, отскакивала при гибком упоре весел мерными размашистыми движениями, и, когда гребец обогнул поворот, его кивающая фигура выказалась на блестящей воде.

Рядом со стариком стоял мальчик лет восьми, хмурый, белоголовый, деловито выглядывая из-под руки. Он вскарабкался на крышу с куском хлеба в зубах.

— Клади его на месте! — посоветовало отцу дитя ртом, полным пищи.

На линии выстрела гребец поднял весло, прикрыв его лопастью голову, и невольно нагнулся, когда, дернув весло, пуля унеслась в тростник. Тотчас стал он грести еще поспешнее, почти выйдя уже из угрожающего пространства к защите левого берега, но стукнул второй выстрел; лязгнув по уключине, пуля снесла мизинец.

Не чувствуя стгоряча боли, гребец тупо смотрел на искалеченную левую руку, от которой стекала по веслу тонкая струя крови, капая в воду. На отдалении, миновав другой поворот, он наспех перевязал руку платком и посмотрел на солнце.

Солнце показывало пятый час на исходе.

— Еще миля, — сказал он, снова начав грести с прежней неутомимостью и трясая головой, чтобы удалить заливающий глаза пот. Платок на его руке покрылся черными пятнами; там билась острая боль, властная, как ожог.

— Стоит ли возвращать лодку, — пробормотал он, все чаще поглядывая на солнце, — мизинец мне не купить даже и за сто таких лодок.

Наконец показались темные сараи, сады, лесопильная, мельница, площадь и вывески. Орт Ганувер выехал под сваи мостков, выбросился из лодки на песчаный откос и, более не заботясь о лодке, поспешил к противоположной стороне города.

V

Все эти две сотни крыш можно было оглянуть с высоты барочной мачты одним взмахом ресниц; не хуже любого жителя края Ганувер мог вперед сказать, какое зрелище представится ему за любым углом любой улицы. Но он был в том особом положении, когда знакомое населенное место измеряется лишь масштабом стиснутого опасностью пульса, когда вся внешняя известность этого места ничто пред неизвестностью — какой характер примет первая случайная встреча. Тем не менее Орт Ганувер взялся за дело, требующее забыть о себе. Увидя распахнутые двери гостиницы, он не стал выискивать окольных путей, так как дорожил каждой минутой. Пробегая мимо гостиницы, он заметил несколько человек, стоявших тут, и по тому выражению внезапной мысли, с каким кое-кто из людей этих передвинул сигару в другой угол рта, рассматривая его открыто, в упор, он понял, что его узнали. Если бы Ганувер обернулся, он увидел бы сквозь пыль и лучи, как все взгляды направились ему вслед; впрочем, он знал это, не оборачиваясь.

Он был разгорячен, заверчен своим бешеным путешествованием, а потому думал о неизбежном преследовании лишь сквозь видение дома, дверь которого торопился открыть еще больше, чем полчаса назад, так как услышал первый гудок парохода. Когда он наконец открыл дверь, навстречу ему вышла суровая старуха и, наклонив голову, взглянула поверх стекла.

Она узнала его. Всякое ненавистное явление наполняло ее строгим молчанием. Ее лицо приняло категорическое выражение висячего замка, а желтая рука нервно указала дверь комнаты, где женский голос напевал песенку о весенних цветах.

Собравшись с духом, пряча за спину раненую руку, Ганувер предстал перед молодой девушкой, посмотревшей на него взглядом великого изумления. В ее лице проступил внезапный румянец, но без улыбки, без живости: сухой румянец досады.

По-видимому, она укладывалась, только что кончив собирать мелочи. Раскрытый большой чемодан стоял на полу.

Ганувер сказал только:

— Не бойтесь, Фен, это я.

Его глаза искали в ее лице мнение о себе, но не нашли. Молча он протянул письмо.

Наградой за это был долгий взгляд, пытливый и немилостивый. Она резко взяла письмо, прочла и вышла из равновесия. Вся, всем существом восстала она против удара, еще не зная, что сказать, как и куда двинуться, но Орт, видя теперь ее лицо, сам взволновался и отступил, готовя множество слов, которым в смятении не суждено было быть сказанными.

Девушка села, прикрыв глаза маленькой, крепкой рукой, но, вздохнув, тотчас увела слезы обратно.

— Лучше бы вы убили меня, Орт! — сказала она. — И вы еще читали это письмо... Как назвать вас?!

— Но иначе я не был бы здесь, — поспешно возразил Ганувер. — Выслушайте меня, Фен. Я не знал, клянусь вам, какое место в вашей жизни занимает этот Фицрой. Знай я, — я, может быть, простил бы ему добрую половину того, что он наговорил мне. Дело прошлое: оба мы были пьяны, и вся эта история произошла под вывеской «Трех медведей». Слово за слово. Последним его словом было, что я негодая, последним движением — бросить в меня стакан. И тут я спустил курок, что сделали бы и вы на моем месте. Правда, из-за таких же историй я должен был отсюда бежать, но разве помнишь это, когда кипит кровь? Как видите, Фицрой ранен, и жив, и зовет вас. Надо было торопиться, пока вы не сели на пароход. Что вы с е г о д н я должны поехать, узнал я из этого же письма. Я не терял времени. Пусть весь стыд останется мне, но я рад, что вы узнали обо всем вовремя.

— Скажете ли вы, наконец, как попало к вам это письмо?

— Скажу. Я поднял его на дороге. Я переходил дорогу. Я не знаю, кто отделал Гениссера, но вся его контора была рассыпана на пространстве двадцати — тридцати шагов. Гениссер был мертв. Грязное дело, и я не знаю, кто ограбил его. Когда я собирал письма, то увидел ваше имя... При других обстоятельствах я не... не читал бы письмо. Но тогда...

Он хотел сказать, что поддался внушению совпадений, — странности случая, вырезанного ужасным ударом, — но не нашел для этого слов, умолк и прислонился к стене, смотря на девушку с раскаянием и тревогой.

— Вскрыть письмо?! — сказала она, ударяя ладонью по столу. — О, черт возьми! Я еще не знала вас хорошо, Орт!

— Палка о двух концах, — возразил он, слегка обозлясь. — В противном случае вы бы не знали о положении дел.

— Да, но это сделали вы!

— Увы, я! И вот сплелся круг; как хотите, так и судите.

— Однако вам попадет за Гениссера, — сказала, помолчав, Фен. — И за все вообще.

— Не я убил Гениссера, — отвечал Ганувер, — я уже сказал вам.

Он нахмурился и прислонился к стене, толкнув нечаянно спрятанную за спиной руку. Он побледнел, согнулся от боли.

— А э т о что? — подозрительно сказала она, указывая на бинт.

— Ничего, — ответил Ганувер, стягивая зубами и правой рукой размотавшуюся повязку. — Прощайте, Фен. Скажите... Скажите Фицрою, что я очень жалею... Я...

Он застенчиво посмотрел на нее и, махая шляпой, направился к выходу.

— Зачем вы сделали это? — услышал он на пороге. Голос прозвучал, как мог, сухо.

— Я уже объяснил, — сказал Ганувер, оборачиваясь с болезненным чувством, — что эти оскорбления...

— Не валяйте дурака, Орт. Я спрашиваю о другом.

— Н-ну, — сказал он, пожимая плечами и запинаясь, — потому, что я вас люблю, Фен, о чем вы хорошо знаете. Не стоило спрашивать.

— Не стоило... — повторила она в раздумье. — Видел вас кто-нибудь?

— Должно быть.

— На всякий случай я выпущу вас другим ходом, а там — что будет.

Он прошел за ней по короткому коридору к раме раскрытых дверей с вставленной в нее картиной цветника и собаки, смотревшей, натянув цепь, кровавыми загорающимися глазами на человека в меховом жилете. Он знал, что за дверью открылась не жизнь, а

картина жизни, которую он может вызвать в памяти перед тем, как его повесят. Чувство опасности остро разлилось в нем.

Выходя, он обернулся и увидел, как женская рука плотно прикрыла дверь.

Орт Ганувер направился было к воротам, но, раздумав, повернул в противоположную сторону, перескочил невысокую каменную ограду и прошел углом соседнего огорода к выходу на другую улицу. Он был теперь ненормально спокоен и вял, хотя еще полчаса назад рвался повернуть и устранить все, мешающее вручить письмо. Реакция была так же сильна, как было строго и беспощадно напряжение встречи. Он чувствовал, что теряет способность соображать.

Постояв в нерешительности, хотя сознавал, что медлить опасно, он наконец тронулся с места, перешел улицу и стал пробираться к реке.

VI

Вечером следующего дня редактор «Южного Курьера» взял у метранпажа стопу гранок и перебрал их, бормоча сам с собой. «Землетрясение в Зурбагане», «Спектакли цирковой труппы Вакельберга», «Очередной биржевой коктейль», «Арест Ганувера»...

Отложив эту заметку, он взял карандаш и прочел: «Сегодня вечером арестован на улице города Кнай Орт Ганувер, дела которого, надо сказать прямо, не блестящи. Он обвиняется в убийстве и ограблении почтальона. Кроме того, старые грехи этого молодца, обладающего горячим характером, образуют величественную картину разнузданности и дикости, а потому...»

Остальное было в этом роде, и, молча прочтя конец, редактор подписал сверху гранки:

«Арест Ганувера».

«Грабитель почты понесет заслуженное наказание».

«Мрачный, но необходимый пример получают все, ставшие врагами общества и порядка».

— Вот так, — сказал он, передавая корректуру сотруднику. — Остальное тоже пустить в машину.

Сотрудник, разобрав материал, подошел к редакторскому столу.

— Которая заметка пойдет? — сказал он. — У меня две заметки о Ганувере.

— Например?..

— Вот та; а вот вторая, о которой я говорю.

Эта вторая заметка была составлена так:

«Арест О. Ганувера вызвал в нашем городе много толков и пересудов. Его обвиняют в убийстве и ограблении почтальона. Между тем установлено путем предъявления следствию бесспорных доказательств, что О. Ганувер явился в Кнай передать одному лицу найденное на дороге письмо. Мы не знаем, как отзовется это обстоятельство на приговоре суда, но считаем делом справедливости печатно установить непричастность Ганувера к ужасному и печальному делу».

— Кто отдал это в набор? — спросил редактор. — Должно быть, вы, Цикус?

— Да. Потому что вас не было.

— Кем подписан оригинал?

— Он подписан...

Говоря это, молодой, рыжий, как морковь, человек разыскал на столе и подал листочек, подписанный: «Ф. О'Терон».

— Звучит несколько интимно, несколько легкомысленно, — сказал редактор, ни к кому не обращаясь и взглядывая поочередно на обе заметки. — Суд есть суд. Газета есть газета. И я думаю, что первая заметка выигрышнее. Поэтому пустите ее, а что касается письма Ф. О'Терон, редакция ответит ей в частном порядке.

СОДЕРЖАНИЕ

Алые паруса. <i>Феерия</i>	3
Блистающий мир. <i>Роман</i>	83
Золотая цепь. <i>Роман</i>	271

РАССКАЗЫ

Человек с человеком	428
Повесть, оконченная благодаря пуле	435
Забывтое	451
Баталист Шуан	459
Огненная вода	469
Вперед и назад. (<i>Феерический рассказ</i>)	476
Сердце пустыни	485
По закону	494
Чужая вина	500

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОКИ

Советская литература

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ГРИН

Алые паруса. Блистающий мир

Золотая цепь

Рассказы

Редактор В. Фадеева. Художественный редактор А. Моисеев. Технический редактор Л. Синицына. Корректоры Г. Верхогляд, Н. Пехтерева. ИБ № 4774. Сдано в набор 25.10.85. Подписано в печать 05.03.86. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага офс. № 2. Гарнитура «Тип. Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,67. Усл. кр.-отт. 19,12. Уч.-изд. л. 23,44. Доп. тираж 800 000 экз. (2-й завод 400 001—800 000). Изд. № 1-2288. Заказ 574. Цена 1 р. 90 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 170024, г. Калинин, просп. Ленина, 5.

1 р. 90 к.



Советская литература



А. Грин АЛЫЕ ПАРУСА • БЛИСТАЮЩИЙ МИР
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ • РАССКАЗЫ

